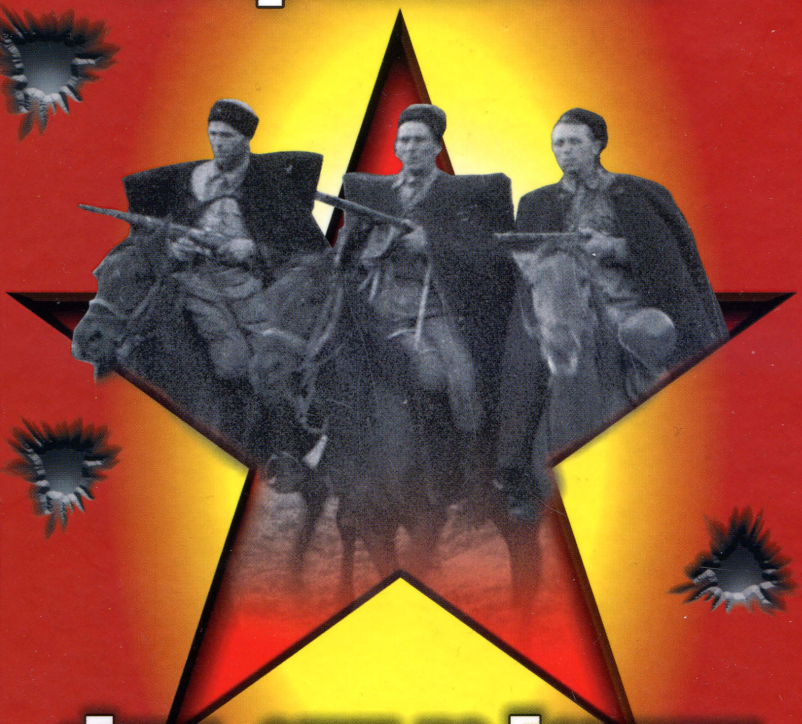
Евлампий ПОНИКАРОВСКИЙ

С шашкой против Вермахта



«Едут, едут по Берлину наши казаки...»

ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА:



КРАСНАЯ АРМИЯ ВСЕХ СИЛЬНЕЙ

ЕВЛАМПИЙ ПОНИКАРОВСКИЙ

С ШАШКОЙ ПРОТИВ ВЕРМАХТА

«ЕДУТ, ЕДУТ ПО БЕРЛИНУ НАШИ КАЗАКИ...»

Москва
«ЯУЗА»
«ЭКСМО»
2010

УДК 355/359
ББК 68
П 56

Оформление серии *П. Волкова*

Фото на обложке: *Озерский* / РИА-Новости

Поникаровский Е. С.

П 56 С шашкой против Вермахта. «Едут, едут по Берлину наши казаки...» / Евлампий Поникаровский. — М. : Яуза : Эксмо, 2010. — 416 с. — (Вторая Мировая война. Красная Армия всех сильней!).

ISBN 978-5-699-45821-9

После катастрофических потерь 1941 года, когда Красная Армия утратила прежнее превосходство в бронетехнике, командованию РККА пришлось сделать ставку на кавалерию, увеличив количество кавдивизий в семь раз. Но, что бы там ни врала антисоветская пропаганда, красная конница никогда не ходила с шашками наголо в самоубийственные атаки на танки – кавалерийские корпуса Великой Отечественной имели тяжелое вооружение и огневую мощь, несравнимую с конармиями Гражданской войны. Так, автор этой книги был командиром минометной батареи 37-го гвардейского Донского казачьего полка, который с боями прошел тысячи километров от Кавказа до Австрийских Альп. Эти мемуары полностью опровергают расхожее мнение, что кавалерия якобы «безнадежно устарела» еще до начала Второй Мировой, воздавая должное советским казакам, поившим коней из Одера, Дуная, Шпрее и Эльбы.

УДК 355/359
ББК 68

ISBN 978-5-699-45821-9

© Поникаровский Е.С., 2010
© ООО «Издательство «Яуза», 2010
© ООО «Издательство «Эксмо», 2010

ОТ АВТОРА

Летом 1945 года я и пропагандист полка гвардии капитан М.Н. Михайлов были вызваны в штаб к командиру полка. В кабинете гвардии подполковника Михаила Федоровича Ниделевича находился его заместитель по политической части гвардии майор А.Я. Ковальчук.

— Наш тридцать седьмой гвардейский Донской казачий кавалерийский полк, — сказал Михаил Федорович, — заслуживает того, чтобы его след остался в истории Великой Отечественной войны.

— Вам, как ветеранам полка, — добавил Антон Яковлевич Ковальчук, — мы предлагаем написать боевую историю части.

— Но мы не историки-летописцы, не литераторы, — возразили было мы с Михайловым.

— Вы свою биографию когда-нибудь писали?

— Приходилось.

— Теперь надо написать биографию полка.

Словом, нас убедили и командой «По коням!» благословили на большую, необычную и непривычную работу. В наше распоряжение были даны необходимые штабные документы: «Журнал боевых действий полка», боевые приказы, карты, рапорты, донесения штаба полка командованию дивизии. Работа началась.

Через четыре месяца мы доложили командованию полка о готовности «Биографии». М.Ф. Ниделевич и А.Я. Ковальчук, ознакомившись, высоко оценили наш труд. Ми-

хайлову и мне приказом была объявлена благодарность. Кроме того, удовлетворена просьба: тому и другому на память оставлено по экземпляру «Биографии». Мое желание иметь экземпляр «Биографии» вызывалось не только тем, что я был одним из ее авторов. Во мне бродила мысль, хотя еще не очень ясная, что когда-нибудь по материалам «Биографии» я напишу книгу воспоминаний о войне, расскажу в ней о своих друзьях-товарищах. Но занятость работой, заочная учеба в институте, семья с малыми детьми не оставляли свободного времени. До книги руки не доходили. И так тянулось в течение многих лет.

В 1975 году, в 30-летие Великой Победы, Урюпинский горком КПСС и горисполком Волгоградской области устроили встречу ветеранов нашего 37-го гвардейского Донского орденов Красного Знамени и Богдана Хмельницкого (II степени) Дебреценского казачьего кавалерийского полка. В Урюпинске родился наш полк.

Не стану подробно рассказывать, сколь радостной и волнующей была та встреча однополчан. Но не могу не упомянуть добрым и благодарным словом ее организаторов. В первую очередь второго секретаря горкома партии Юрия Витальевича Райдугина, возглавившего инициативную группу, и учительницу русского языка и литературы средней школы № 7 Марию Капитоновну Чеботареву, создавшую школьный музей боевой славы. Это она со своими ребятами разыскала адреса более двухсот ветеранов полка, живущих ныне в разных местах нашей огромной страны.

На встречу, на «казачий круг» смогли приехать восемьдесят три ветерана. Почетные гости города! Среди гостей, к общей радости, были приехавшие из Ростова-на-Дону бывший командир дивизии, а затем командир корпуса гвардии генерал-лейтенант в отставке Сергей Ильич Горшков и бывший комиссар, заместитель командира полка по политчасти гвардии майор Антон Яковлевич Ковальчук. Из Саратова приехал бывший секретарь

партбюро полка гвардии капитан Василий Яковлевич Быков.

Ах время, что оно делает с людьми! Некогда молодые, сильные, бравые казаки, считавшие особым шиком иметь пышные усы и чубы, кокетливо выглядывавшие из-под сбитых набекрень и чуть заломленных фуражек, кубанок или черных лохматых папах, стали стариками. Согбенные спины. Головы, сплошь покрытые серебром или голые как коленки. Изрезанные глубокими морщинами лица. А в руках вместо плеток и стеков тросточки-посошки или костыли.

Мы с трудом узнавали друг друга. Но и таких нас, старых и неуклюжих, с великой любовью, восторгом и восхищением принимало благодарное население Урюпинска. А ребятишки, вездесущие юные казачата, те просто льнули к нам, завороженно заглядываясь на наши мундиры и пиджаки, увешанные боевыми и трудовыми отличиями — орденами и медалями.

Для меня поездка в Урюпинск имела свою особенность. На встречу с однополчанами я привез «Биографию» — боевую историю полка — и кое-какие наброски наконец-то начатых мною воспоминаний. Познакомившись с ними, боевые друзья сказали, что неостывающая память о тех героических и горьких днях, неоплаченный долг перед живыми и мертвыми велят продолжать работу над книгой. Она нужна не только нам, живущим, но прежде всего нашим потомкам — детям, внукам, правнукам.

Таким образом, я как бы вновь получил команду «По коням!» и на многие годы «сел в седло». И все эти годы за моей работой внимательно следили товарищи по оружию. И не просто следили — подталкивали, ободряли и вдохновляли, неустанно напоминая, что мы гвардейцы, а гвардия, как бы трудно ни было, своих позиций не сдает, не отступает, что если взялся за гуж, то не говори, что не дюж.

И вот книга готова. Книга воспоминаний, документальная повесть-хроника о пройденных дорогах, о пережитом

на войне. Все, о чем рассказывается в ней, — не выдумка и не плод фантазии автора. Только факты, только истинные события.

Для меня, бывшего штабного работника (короткое время) и командира минометной батареи, сектор обзора был невелик. Из окопа, с огневой позиции, с батарейного командного и наблюдательного пунктов, с седла мне не виделись действия дивизии и корпуса, не виделась вся война в целом. Но я видел действия непосредственных исполнителей войны — моих батарейцев-минометчиков, артиллеристов, пулеметчиков, сабельников. И потому пишу лишь о событиях, свидетелем, очевидцем и участником которых я лично был.

Я назвал книгу «Долгий рейд». Складываясь из коротких и затяжных рейдов, для нашего казачьего кавалерийского полка (дивизии и корпуса) он стал действительно долгим — в три года длиной, в 1100 дней и ночей. Самый главный вывод, вынесенный нами, конниками, из того рейда: кавалерия, как и другие рода войск, тоже сказала свое слово в минувшей войне, внесла вклад в Великую Победу. И слово конников было достаточно громким.

Работая над «Долгим рейдом», я не пытался срезать так называемые острые углы. Что греха таить: хоть и редко, единицами, но встречались люди, не умеющие достойно нести высокое звание советского солдата, советского офицера. Говоря об этом, я имею в виду некоторых бездумных служак, откровенных трусов и т.д. По вполне понятным причинам имена и фамилии таких людей я изменил. Одни из них за свою безграмотность и ошибки расплатились самой высокой платой — кровью и жизнью, другие стали хорошими воинами.

Давным-давно окончен бой. Война стала Историей. О ней написаны исторические исследования, создана большая мемуарная литература, выпущены замечательные художественные произведения. Но, думаю, о войне еще далеко не все сказано. Буду рад, если своей книгой

открою, пусть в малой степени, еще одну героическую страницу нашей военной истории.

Сорок восемь однополчан прислали мне свои воспоминания. Я глубоко признателен и благодарен всем товарищам. В первую очередь — командиру дивизии, затем командиру корпуса гвардии генерал-лейтенанту в отставке С.И. Горшкову, заместителю командира полка по политчасти гвардии майору А.Я. Ковальчуку, отсекру партийного бюро полка гвардий капитану В.Я. Быкову, начальнику штаба полка гвардии майору Д.С. Петренко, одному из первых командиров полка гвардии майору Е.В. Данилевичу, моим батарейцам, командирам взводов гвардии лейтенанту А.И. Мостовому, гвардии младшему лейтенанту А.Е. Рыбалкину, гвардии старшему сержанту Н.П. Комарову, сержантам и казакам батареи А.Ф. Руденко, В.М. Шабельникову, С.А. Музыченко, Л.А. Полякову, А.В. Куликову, П.А. Мазурик и многим другим.

Глава первая

ДВЕ ФРОНТОВЫЕ НЕДЕЛИ

27 июля 1942 года на станицу Лабинскую Краснодарского края немцы сделали массированный воздушный налет. Школа, в которой размещался наш эвакогоспиталь, вздрагивала и качалась. С треском и звоном вылетали оконные рамы и сыпалось стекло. Известь и мелкая красная пыль наполняли палаты — не продохнешь. Все ходячие прятались в щелях, вырытых возле здания. Лежачие, тяжелые, оставались в палатах и со страхом ждали своей участи. На войне, пожалуй, нет ничего более страшного, чем оказаться перед врагом бессильным и беспомощным. Прямых попаданий в школу-госпиталь, к счастью, не было. Но большое здание в станице слишком приметно, и было ясно, что фашистские летчики не оставят его в покое.

28 июля с утра госпиталь начал свертываться. Нас погрузили в машины и повезли в город Минеральные Воды. Подальше от фронта, подальше от беды.

В пути, под станцией Ярославской, нашу автоколонну воздушные гитлеровские разбойники бомбят и обстреливают. Чувство такое, что за нами, за госпиталем, они специально охотятся.

Я ходячий, в выздоравливающей команде. Решаю выписаться из госпиталя и пристать к какой-нибудь воинской части. Если госпитальное начальство будет воз-

ражать, то сбегу. А почему оно должно возражать, рассуждаю сам с собой, баба с воза — кобыле легче. Рана моя затянулась, хотя боль в левой ноге все еще сильная. Но ходить, пусть с палкой-подпоркой, я могу. Могу держать оружие в руках и могу сражаться.

Но начальство решительно воспротивилось. И тогда я, пользуясь суматохой после бомбежки, тихонько сматываюсь. В станицу Ярославскую. Через станицу как раз проходит какая-то часть. Разыскиваю штаб и узнаю: 25-й казачий кавалерийский полк 15-й Донской казачьей кавалерийской дивизии.

Первая встреча в штабе — с комиссаром полка, батальонным комиссаром Михаилом Федоровичем Ниделевичем. Он смотрит мой партийный билет и командирское удостоверение.

— Справки о выписке из госпиталя нет? — резко спрашивает комиссар.

— Нет.

— Сбежал?

— Сбежал.

Ниделевич строго смотрит мне в глаза, потом, хлестнув плеткой по голенищу сапога, бросает:

— Стало быть, так... Сойдет!

И дает распоряжение штабникам о зачислении меня в полк.

Меня беспокоит мысль: в кавалерии придется воевать, а я ведь даже не знаю, с какой стороны подходить к лошади. Но выбора у меня уже нет: госпитальная колонна ушла, и мои «мосты сожжены».

На первом большом привале, перед станцией Ладожской, меня вызывает к себе начальник штаба полка капитан Поддубный. Он среднего роста, чисто выбритый, с вьющимся светлым чубом, выпущенным из-под кокетливо сдвинутой на правый висок фуражки. Лицо открытое, красивое. Одет в чистую гимнастерку со свежим подворотничком. Тонкая талия туго перетянута ремнем. Хромовые сапоги со шпорами начищены до блеска. Франт, да и

только! Я несколько удивлен: как в многодневном походе можно сохранять такой щегольской вид?

Разговор со мной начальник штаба начинает неторопливо и ведет его, словно со старым другом. Это сразу настраивает на непринужденность, откровенность и доверительность. Рассказываю, где родился-крестился, где, в какой части и сколько времени воевал, когда и при каких обстоятельствах был ранен. Склонив чуть голову, капитан слушает, изредка кивает, встряхивая вьющимся чубом. Узнав, что я был штабным работником и знаком с делопроизводством, предлагает занять должность помощника начальника штаба полка по шифровальной службе.

— Понимаешь, тебя к нам сам бог послал, — улыбается капитан.

— Ну, если бог, — принимаю шутку начальника штаба, — то как не согласиться. Тем более, дело знакомое.

— А на коне умеешь ездить? — все с той же улыбкой спрашивает капитан, сам внимательно и не без лукавства смотрит мне в глаза.

— Приходилось в детстве, — неопределенно отвечаю я, а сам думаю: «Приходилось-то приходилось, а вот в седле ни разу не сидел. В нашей деревне Печенкино, что на Кировщине, крестьяне коней имели, а седел совсем не знали. Наверное, необходимости в них не было. Ну да ладно, научусь как-нибудь».

— Быть тебе казаком, — почему-то смеется капитан и тут же одному из штабных командиров приказывает подыскать мне коня с седлом и подобрать расторопного ординарца.

До того как попасть в кавалерийский казачий полк, воевать мне пришлось на Крымском фронте, и очень недолго — всего две недели. Но за эти фронтовые две недели я узнал всю тяжесть войны.

Наш 151-й укрепрайон (УР) формировался и готовился к боям в небольшом уральском городке. Я, тогда лейтенант, был назначен на должность начальника штаба 343-го ОПАБ (отдельного пулеметно-артиллерийского батальона). Стояли лютые морозы первой военной зимы. Бушевали вьюги. Городок не мог, не в силах был предоставить УРу каких-либо помещений — он под завязку был забит эвакуированными. Место нам отвели в пригородном лесу. Обживая его, мы строили шалаши, ставили палатки, копали землянки. И усиленно, днем и ночью, учились воевать.

Наш УР формировался из уральцев и сибиряков.

Уральцы и сибиряки! Уже только одно это как бы олицетворяет человеческую твердость, закалку, выносливость, мужество. Но было еще одно замечательное качество у наших воинов: высокая сознательность, беззаветная преданность партии, Родине, народу. Восемьдесят процентов личного состава батальонов составляли коммунисты и комсомольцы.

2 апреля 1942 года всем УРом мы погрузились в вагоны и двинулись на запад. В пути мы гадали об одном: куда нас кинут, на какое направление, на какой участок? Огромный фронт гремел от Баренцева до Черного моря.

Кинули нас на юг. В двадцатых числах апреля мы были в Тамани, на берегу Керченского пролива. Память подсказывала: «Тамань — самый скверный городишко из всех приморских городов России». Но мы «скверного городишка» не увидели. Ночью приехали, ночью разгрузились, ночью зарылись в землю на берегу.

Вечером следующего дня получили первую боевую задачу: всем трем ОПАБам, входящим в состав 151-го УРа, приготовиться к переправе через пролив, после переправы сосредоточиться в селах Чалтырь, Марфовке, Камыш-Буруне, чтобы потом скрытно занять на Ак-Манайском перешейке укрепполосу — доты, дзоты, траншеи, открытые огневые позиции — и намертво стать в оборону.

Переправа! Я очень ее боялся. Плавать я совсем не умел, не научился в детстве. В родном селе Печенкино нет ни ладного озера, ни сколько-нибудь мало-мальской реки, а есть речушка с милым названием Шеньга. Речушечка эта такая, что куры ее перебродят, не замочив брюха. В жаркое время она совсем пересыхает. А тут морской пролив. Случись что — пойдешь на дно колуном.

Немецкая авиация, хотя и с больших высот, но постоянно бомбила город Керчь, пролив, Тамань. В Тамани мы хорошо укрылись. В светлое время на поверхности земли не показывались. Всякие передвижения были строжайше запрещены. Но удастся ли так же скрытно от противника переехать пролив? В случае обнаружения немцы могут крепко выкупать нас, а то и за милую душу отправить на корм рыбам, что со многими случалось до нас. Погибать же, не вступив даже в бой, ой как не хотелось!

Нам повезло. Переправились мы благополучно. За две ночи весь 151-й УР был на Керченском полуострове. Наш 343-й ОПАБ расположился в селе Чалтырь.

Примерно через полчаса, после того как я со штабом явился в Чалтырь, мне доложили, что в погребе одного дома обнаружен пучок разноцветных проводов. Вывод из погреба не оборван, а тщательно зарыт в землю и уходит куда-то вдоль улицы. Доклад сержанта-связиста встревожил и насторожил меня. Подозрительный провод! Я вызвал начальника связи батальона и приказал подключиться к тому пучку. Подозрение мое подтвердилось: по проводу велся разговор на немецком языке.

Не медля ни минуты, я доложил об этом начальнику штаба УРа капитану Монастырскому, а тот — в штаб Крымского фронта. Оттуда последовала команда: начальнику штаба УРа и мне явиться во фронтовое управление.

Нас встретил дежурный по штабу, подполковник. Проверив документы, коротко бросил:

— Вас примет сам Мехлис!

Слово «сам» подполковник подчеркнул интонацией голоса.

Мехлис — это армейский комиссар первого ранга, начальник Главного политического управления Красной Армии, заместитель наркома обороны, представитель Ставки Верховного Главнокомандования на Крымском фронте. Ого!

Признаюсь, мы — говорю о себе и Монастырском — изрядно перетрухнули. Начальник штаба УРа еще по дороге в штаб дважды меня спрашивал: «Там ничего не напутали твои охламоны-связисты? — и предупредил: — Ну, смотри, Поникаровский! В случае чего — головы тебе не сносить». Я и сам понимал: за дезинформацию на войне в самом прямом смысле можно лишиться головы. Только я был уверен в своих «охламонах».

Дежурный по штабу провел нас в приемную Льва Захаровича Мехлиса. Здесь в напряженном ожидании сидели несколько генералов и полковников. Тишина — слышишь пролетающую муху.

Мы сидели в приемной четыре часа. Адъютант армейского комиссара одного за другим приглашал в кабинет ожидающих.

Услышав свою фамилию, вызываемый военный испуганно вскакивал, одергивал китель и скрывался за дверью. Все вызванные на прием к начальству военные — солидные, далеко не молодые — сейчас, здесь, напоминали провинившихся школьников, вызванных к директору школы. Из кабинета Мехлиса все военачальники выскакивали раскрасневшимися, как из жаркой бани. Наблюдая такую непривычную обстановку, прямо скажу, мне и капитану Монастырскому было не по себе. Но раз мы здесь, то надо нести свой крест и терпеливо ждать вызова.

Подошла, наконец, и наша очередь. Ступили в кабинет, застыли на мягком ковре, как положено, представились. Армейский комиссар нахмурился, пронзительным взглядом просверлил нас, резко бросил:

— Ну, докладывайте, каких шпионов вы там нашли?

С дрожью в голосе я доложил о немецком проводе.

— Вражеская связь действующая! — заключил я.

Мехлис нажал кнопку звонка. В дверях появился адъютант.

— Начальника связи и особиста ко мне.

Мы предполагали, что заместитель наркома, начальник Главного политуправления РККА и представитель Ставки поинтересуется нашим УРом, спросит о дороге до Тамани, о переправе, о боеготовности части. Ни о чем не спрашивал нас армейский комиссар первого ранга. Он стоял за столом, все более хмурился и молчал. По стойке «смирно» стояли и мы, не решаясь вылезать с докладом о своем УРе. Минут через пять в кабинет вошли два полковника. Доложились. Не глядя на них, армейский комиссар распорядился:

— Поезжайте вот с этими, — кивнул на нас, — оба. Зачем — в дороге выясните. Завтра в двенадцать ноль-ноль доложите мне о принятых мерах. Все, свободны!

Мы, как и те, кто был до нас, из кабинета представителя Ставки вылетели пулей. И только в машине облегченно вздохнули и утерли со лбов пот. Я, кажется, даже перекрестился. Слава богу, пронесло!

Начальник связи фронта и начальник особого отдела — НКВД фронта — сразу же после прибытия в Чалтырь убедились в достоверности нашего доклада. Связь была вражеская, шпионская. Тотчас же они вызвали из фронтового управления связистов и контрразведчиков. Связисты подключились к немецкому проводу и потянули линию к штабу фронта, а контрразведчики во главе с особистом пошли по немецкой линии (ее след был заметен) к городу Керчи.

В ночь с 30 апреля на 1 мая, тщательно соблюдая правила маскировки, походным порядком батальоны пришли в полосу укреплений и заняли свои участки. Тяжелое вооружение: пушки, минометы, пулеметы, а также бое-

припасы — в эту же ночь доставили машинами, выделенными нам тылом фронта. Со скрытностью до сих пор нам везло.

Теперь надо было освоиться и обжиться в своем доме. Времени отпускалось немного. По разведданным, с которыми нас познакомило командование УРа, противник готовится к наступлению и начнет его примерно 12 мая.

С утра 1 мая работники штаба нашего 343-го батальона занялись проверкой связи с огневыми точками, а гарнизоны дотов и дзотов устанавливали пушки и пулеметы, уточняли секторы наблюдения и обстрела. Командир батальона капитан Михайлов и я отправились на командный пункт стрелкового полка, занимавшего предполье перед огневым рубежом ОПАБа, чтобы представиться командованию, договориться о связи и взаимодействии в бою, получить дополнительные сведения о противнике.

В лабиринте траншей и окопов мы с большим трудом отыскали КП. Нашим соратником оказалась Азербайджанская стрелковая дивизия, прибывшая сюда месяц назад. Бойцы этой дивизии помогали населению достраивать объекты УРа.

Дивизия была необстрелянная, командиры и бойцы в боях еще не участвовали. Сведения о противнике у наших соседей были недельной давности. Узнали мы, что сейчас противник ведет себя тихо, его почти не видно и не слышно. Правда, когда помогали достраивать огневые точки УРа, то немцы изредка постреливали из пушек. «Вон с той горы, из леса». Да только стреляли никудышно. Ни один снаряд не попал ни в дот, ни в дзот, ни в КП. «То недолеты, то перелеты. Мазилы!»

Вот это-то последнее нас с Михайловым насторожило и очень расстроило. «То недолеты, то перелеты»?! Да они же пристрелку вели, в вилку брали! Ну и ну! «Мазилы» эти еще покажут себя, видимо, мы узнаем от них, где раки зимуют. Покажут еще и потому, что сами доты и дзоты буграми торчат на местности и что бойницы-

амбразуры в этих буграх как нарочно выложены из белого туфа.

— Руки бы отсохли у тех, кто строил, особенно у тех, кто руководил сооружением таких огневых точек, — негодовали мы.

Выяснилось, что строители УРа сильно торопились. К тому же у них не хватало строительных материалов. Вот они и использовали для ускорения работ то, что находили под рукой.

Нарастала тревога: не сражаться с нами будут немцы, а выковыривать нас из земли, расстреливать. Вся наша прежняя скрытность, которой в душе гордились, здесь ничего не стоила. Мы были открыты, открыта вся огневая система УРа. Образно говоря, заняв УР, мы уселись на мушку вражеского оружия. Врагу остается только нажать на спусковой крючок. Надо было срочно что-то предпринимать. Но что?

Расстроенные, мы собрались уходить. Однако любезные хозяева преградили нам дорогу.

— Э, нэт, так нэ пойдет! Будем обидеться!

Наши друзья-соседи азербайджанцы в этот первомайский день ждали появления приехавших к ним земляков — делегацию из Баку. Боевых своих товарищей обижать нельзя, и мы вынуждены были принять их приглашение. А их гости не заставили нас ждать. Через несколько минут в ходах сообщения послышались громкие и веселые голоса. Делегация оказалась людной. В ней были представители партийных и советских органов, рабочие, нефтяники, рыбаки Каспия, виноградари и чаеводы. Каждый из гостей что-то нес. У одних в руках мешки, у других — ящички или бочонки, у третьих — курдючки или кульки, жбаны, да и просто бутылки.

Встреча земляков была радостной и шумной. А застолье, организованное здесь же на КП дивизии и в прилегающих к нему траншеях, было еще шумнее. Заздравные тосты не смолкали. Пили, забыв все, даже и то, что ря-

дом, под самым носом, стоит враг и весь этот шум ему, наверное, слышен.

Я и комбат Михайлов, опрокинув по одному бокалу-кружке редкого по вкусу вина, поспешили к себе. Нам было не до пира.

Назавтра, когда была налажена телефонная связь с соседями-стрелками, я позвонил на их КП и попросил к телефону кого-либо из командования. Мне ответили, что все командиры сейчас находятся в подразделениях. Скорее всего, все они продолжали праздновать. С КП нашего ОПАБа это было видно и без бинокля — как наши соседи большой группой повылазили из ходов сообщения и под звуки рожков и дудок, вперемешку с гостями, лихо отплясывали на полянке.

Болью сжималось сердце. Ведь противнику достаточно было сделать только один залп батареи пушек или минометов, и праздник, встреча с земляками, обагрится кровью. К их счастью, этого не произошло.

Немцы, видимо, тоже с удовольствием наблюдали этот «спектакль». И, вероятно, думали: «...а расправиться с вами мы еще успеем».

С наступлением темноты гости из Баку покинули своих земляков.

Время торопило нас. До начала предполагаемого немецкого наступления оставалось все меньше дней, а сделать надо было многое. Мы совершенствовали огневые точки и, насколько возможно, маскировали их. Замазывали грязью «белые окошечки», убирали с них «красоту». Усиливали телефонную связь. Углубляли траншеи и копали дополнительные щели. Снова и снова уточняли секторы наблюдения и обстрела. Проверяли оружие и готовили боеприпасы.

Подготовку УРа мы планировали завершить к двенадцатому — штаб фронта по-прежнему ориентировал нас на эту дату. Но противник не стал ждать двенадцатого. Может, наша фронтовая разведка прошляпила или была

введена в заблуждение, обманута? Как бы то ни было, удар немцев для нас был неожиданным. Его пушки загремели на рассвете восьмого мая.

Вздрогнула и качнулась земля. Воздух разорвался и заполнился неимоверным грохотом. Комбат Михайлов, комиссар Кондратьев и я — мы жили на командном пункте — вскочили как оглашенные. Наступление или короткий артиллерийский налет? Но гадать не приходилось. Надо было организовать ответный огонь. Надо было давить вражеские батареи. Но давили они нас. С самых первых минут боя на приборной доске стали загораться красные сигнальные лампочки. Нам эти лампочки говорили о многом: о выходе из строя огневых точек. Особенно неладная обстановка складывалась на флангах. Принимаемые мною доклады из действующих дотов и дзотов не радовали: огонь немецкой артиллерии очень точен. Вот они, «недолеты-перелеты». Не вслепую били немцы, а по хорошо им известным, нанесенным на планшеты, пристрелянным целям.

Иметь полную ясность в обстановке, предпринять что-то, помочь молодым командирам в налаживании ответного огня, наконец, видом своим, спокойствием, словом подбодрить бойцов, да и командиров тоже — бой-то для всех был первым! — можно было только на месте. И командир батальона принимает решение: ему идти на правый фланг, комиссару — на левый, мне оставаться на КП.

Комбат и комиссар ушли.

Артиллерийская канонада гремела до 7.30 — два с половиной часа. В ходе нее я с тревогой и горечью поглядывал на приборную доску. Красные сигналы на ней прибавлялись и прибавлялись. Один за другим прекращали свое существование наши доты и дзоты, гибли артиллерийские и минометные батареи, стоящие на открытых огневых позициях. В душу заползала недобрая мысль: выстоит ли, выдержит ли наш УР?

В самом конце артподготовки, словно в завершение ее, двумя тяжелыми снарядами был разбит наш КП. Из строя вышли узел связи и пост наблюдения. Убиты два моих помощника, три связиста, два наблюдателя. Пять бойцов ранено. Невредимыми остались пятеро: я, врач, один наблюдатель, два связиста. Потери не только невосполнимые — страшные. Батальон остался без связи со штабом УРа, с предпольем, с соседними батальонами, со своими огневыми точками. Радио для дубляжа и на случай выхода из строя проводной связи у нас не было. А вот о связи «живой», через посыльных, заранее мы как-то не подумали. И в этом, видимо, была моя ошибка. Начальник штаба обязан был предусмотреть! Не предусмотрел. Не догадался. Тут сказалась, как сейчас думаю, моя неопытность. Призван-то я был из запаса. К тому же почти сразу оказался на таком высоком посту. И никто не подсказал. Но все это — слабое утешение.

Ошибка печальная. Исправить же ее я уже не мог: в моем распоряжении не осталось людей.

Артиллерийский обстрел оборвался внезапно. Наступила звенящая тишина. Перепаханная снарядами и тяжелыми минами земля дымилась. Потихоньку оседала поднятая к небу пыль. Из ближайших дотов и дзотов начинали появляться бойцы. Теперь надо организовывать разборку завалов, извлечь из-под обломков убитых, оказать помощь раненым, наладить хоть какую-то связь и подготовить донесение в штаб УРа об обстановке. Но ничего не удается сделать. Над полем катится возглас:

— Воз-дух!

Час от часу не легче.

Со стороны Черного моря, со стороны города Феодосии на нас идут фашистские бомбардировщики. Сколько их — кто сосчитает? Много, очень много. Армада. С тревогой я шарю глазами по небу, ищу свои самолеты, которые должны бы встретить эту армаду. Но их нет, нет ни одного краснозвездного истребителя во всем большом

небе. Противовоздушные средства нашего батальона маломощные. Всего лишь четыре крупнокалиберных пулемета ДШК. Много ли они сделают? Да и живы ли?

Немцы разворачиваются в боевой порядок, группами становятся в круг, начинают крутить «карусель», сыпать бомбами, обстреливать из пушек и пулеметов. Одна группа отбомбится, ее сменяет другая, третья. Земля становится на дыбы. В полосе наших укреплений и в предполье — ад кромешный.

Отбомбив нас с юга, немцы заходят с севера. А потом утюжат как бы по диагонали. Наши зенитные пулеметы давно молчат. Разбиты, покорежены. Пулеметные расчеты погибли. И по-прежнему в небе нет ни одного нашего истребителя.

Немцы ходят по нашим головам два часа подряд...

Я, начальник штаба, теперь не знаю, остались ли в живых хоть один дот или дзот, хоть одна артиллерийская или минометная батарея. И никто не знает. Не видно никакого движения и в нашем предполье. Вот она, расплата за беспечность!

Я не отлучаюсь от разбитого КП. Врач ушел в ближайший дот. Со мною три бойца: два связиста и наблюдатель. Они сидят возле меня. В их глазах я читаю молчаливый вопрос: «Что будем делать дальше?» Я и сам думаю об этом. Поглядываю в бинокль на правый и левый фланги, на ходы сообщения и жду прихода командира батальона и комиссара. Только вместе мы можем решить, что делать. Я еще не знаю, что комиссар погиб под бомбежкой, командир батальона погибнет через полчаса под танком. Эту тяжелую весть мне принесут позднее их ординарцы.

Так что же делать? Горькая мысль толкнулась и кольнула в сердце: «Решение принимай сам, если... если ты еще начальник штаба». Пытаюсь усмехнуться, но усмешка получается кривая. «Кто ты теперь: командир без войск или рядовой без командира?»

Издали нарастает моторный грохот и лязг гусениц. Бойцам жестко говорю:

— Готовьте гранаты!

...Я сижу на берегу Керченского пролива в двух десятках шагов от кромки воды. Справа от меня поселок Еникале и пристань. Над проливом снуют «мессеры». У меня страшно болит левая нога. Почти до самой коленки она вздулась и похожа на толстое березовое полено. Ступня, раздавленная гусеницей танка, полыхает огнем. Чтобы успокоить боль, я засыпаю ступню мокрым и холодным песком. Сам думаю о случившемся. Час за часом пытаюсь восстановить события вчерашнего дня и минувшей ночи.

Вражеские танки, замеченные нами, появились из-за левой окраины поселка Долгая Пристань сразу после бомбежки. Они шли колонной. Боец-наблюдатель доложил: танков не менее полусотни. Перед предпольем они замедлили ход и развернулись по фронту. Потом, стреляя из пушек и пулеметов, рванулись в нашу сторону. В полосе предполья сколько-нибудь заметного сопротивления не встретили. Но на какое-то время задержались. Кружили, стреляли, утюжили стрелковые ячейки и окопы, по-видимому, добивали оставшихся еще в живых бойцов.

Начали оживать некоторые наши огневые точки. Двумя орудиями стеганула батарея, стоящая на открытой позиции недалеко от КП. Батареей командует решительный и смелый старший лейтенант Герасименко. Человек этот до самозабвения влюблен в артиллерию и своих пушкарей. Ростом старший лейтенант — богатырь. От многих других командиров батарей Герасименко отличала какая-то бесшабашная, неуемная веселость. Где он — там байки, шутки, смех. В свободные часы Герасименко любил забредать в штаб, просто так, на огонек. Смотришь — он уже в окружении бойцов и командиров. Прислушаешь-

ся — травит баланду, вроде того, что убить его на войне никак не могут, потому что он заговорен бабкой, а заговор бабки сильнее всякой брони и даже нашего УРа. При рассказе конопатое лицо Герасименко, в детстве крепко изрытое оспой, как бы озарялось внутренним светом и становилось красивым. Неистощимый на выдумки и веселье, старший лейтенант иногда забывался. Спохватившись, говорил:

— Ну ладно, ребята, делу — время, потехе — час. Наш потешный час кончился.

Бойцы батареи любили своего командира и готовы были идти за ним в огонь и в воду. Это его пулеметчик, фамилию которого я запамятовал, обороняя батарею и фланг нашего участка от высадившихся десантников морской пехоты противника, выпустил 30 пулеметных дисков и отправил на тот свет на воде и на берегу более сотни гитлеровцев. О героизме пулеметчика мне рассказал ординарец комиссара батальона Кондратьева — он был очевидцем того боя.

Орудийные расчеты били точно. Выстрел — танк горит. Выстрел — еще танк горит или ползает, как кружалая овца, по собственному следу с перебитой гусеницей. Почти с каждым выстрелом в небо взвивался султан черного дыма. Молодцы, батарейцы!

Но в азарте боя ни старший лейтенант, ни бойцы орудийных расчетов не заметили, как к батарее почти вплотную с тыла подкрались три немецких танка. Когда увидели — было поздно. Танки плеснули огнем. Пушки были разбиты первыми же вражескими снарядами, а израненные бойцы погибли под гусеницами. Под танком погиб и командир батареи старший лейтенант Герасименко.

Два фашистских танка внезапно выскочили к нашему КП и ударили по смотровым окнам. Затем, пройдя по верху КП, обрушили его, заживо похоронив под глыбами железобетона всех раненых, которые находились там.

Гитлеровцы заметили меня с тремя бойцами и хлестнули из пулеметов. Пули просвистели высоко над нами.

«Мертвое» пространство уберегло нас. Тогда один танк развернулся, прибавил газу и попер на нас. Мои ребята сыпанули в ход сообщения. А я замешкался. И чтобы не попасть под гусеницу, как-то изловчился и нырнул под танковое брюхо. Меня обдало бензиновой вонью и жаром перегретого железа.

В руках у меня по гранате-эргэдэшке. Но что с ними делать под этой тяжелой железной «крышей»? Танк тем временем тормознул и, двигая одной гусеницей, стал поворачиваться на месте. А я, работая локтями, коленками, всем туловищем, извивался, как змей. Не извивайся — разотрет в порошок, оставит мокрое место.

Но вот танк газанул и съехал с меня. Я приподнялся и кинул одну за другой гранаты. Хлопки эргэдэшек оказались комариными укусами. Танк устремился вперед.

Я оглянулся назад, и — о ужас! На меня пер второй танк. «Нырять» под него мне больше уже не хотелось. Спасибо, испытал судьбу. Вскочил, чтобы прыгнуть в ход сообщения, но тут же упал: левую ногу пронизала дьявольская боль. Вгорячах, под танком, я не почувствовал ее, но сейчас она свалила меня. Все-таки тот танк своей железной лапой наступил на мою левую ногу. А этот уже совсем близко. Стремительным рывком, если можно назвать стремительным рывок у пластуна, я добрался до хода сообщения и мешком свалился туда. От боли в ноге у меня померк свет в глазах и померкло сознание. Я не видел, скорей только чувствовал, как надо мной лязгают гусеницы, как меня засыпает обрушенная земля.

...Не раз мне приходилось читать, где человека описывают в состоянии прострации, когда над ним нависла смертельная опасность. Якобы он в этот момент вспоминает дом, родных и близких, мать, отца и мысленно с ними прощается. Я не верю этому.

В минуту смертельной опасности не до воспоминаний и прощальных поклонов. Человек в такой момент, если он не потерял соображения от страха, действует. Он борется за свою жизнь, за свое спасение.

Когда я вьюном вертелся под брюхом танка, то думал лишь о том, как бы не угодить под гусеницы, как бы выкрутиться. А может, и такой мысли не было. Все делалось подсознательно и инстинктивно ради своей защиты.

Но как же тогда с возгласом-вскриком гибнущего человека, произносящего тоже инстинктивно — ма-а-ма!! Слышал такой вскрик и я, и чаще всего от молодых бойцов. Думаю, что этот вскрик бездумный, автоматический, оставшийся в памяти с детства, когда единственным надежным защитником была его мать.

Стояла глухая тишина. Ни воя моторов, ни лязга гусениц, ни грохота разрывов, ни человеческих голосов. Где я и что со мною?

Все как в дурном тягучем сне.

Потихоньку прихожу в себя, отряхиваюсь, сгребаю с себя глину и песок. Смотрю на ногу. Из порванного сапога сочится кровь. Ступня горит. Чувство горше некуда: я беспомощен. Но надо что-то делать, как-то действовать.

Действую. Отстегиваю от рукоятки нагана шнур. Один конец его просовываю под коленкой и потихоньку подтягиваю ногу. Перочинным ножом сверху вниз разрезаю голенище сапога, освобождаю стопу. Смотреть жутко: стопа опухла и покрылась кровяной коркой. Долго вожусь с санпакетом, долго, с передышками, перевязываю. На этом силы мои кончаются. Кружится голова. Во всем теле слабость от потери крови. Откидываюсь к стенке и... засыпаю.

Просыпаюсь от боли. Она током прошила и ногу, и сердце, и мозг. Меня ворочают какие-то люди. Не фашисты ли? Тянусь к нагану. Но слышу русскую речь. Открываю глаза: свои! Бойцы моего батальона и те оставшиеся бойцы, обслуживающие КП, с ними и ординарцы комбата и комиссара.

— Зачем же вы, братцы, как чурку ворочаете меня?

— Хотели убедиться, жив ли.

— УР — как? — тихо спрашиваю я.

— УРа нет. Его сровняли с землей. Надо уходить.

— Но приказа на отход нет.

— Его не будет. Кроме вас, некому приказ отдавать. Теперь мы под вашей командой. Ведите!

— Куда?

— Одна дорога — к проливу, к Керчи.

— Как же я поведу? — Я горестно качаю головой и гляжу на ребят: на одного, на другого, третьего. Всего их с десяток — все с автоматами, с гранатами. Говорю: — Командование группой возлагаю на сержанта Крутовертова.

Сержант Крутовертов — смышленый, толковый парень. Мое приказание-просьбу он принимает как должное и не медлит. Тут же приказывает двум бойцам подхватить меня на руки. И не успеваю я опомниться, как оказываюсь на плечах бойцов.

Двигались медленно. Я понимал: сдерживаю всю группу, являюсь для бойцов обременительной ношей. Но если бойцы не оставили меня там, в траншее, то не оставят и здесь, даже если придется вступить в бой. Наша армия воспитана на святом законе, живущем еще с давних суворовских времен: «Сам погибай, а товарища выручай». Командира — тем паче.

Нам повезло — группу нагнала грузовая машина. Остановили ее, устроились в кузове и скоро были возле Марфовки. За село шел жаркий бой. По нему били немецкие танки, его бомбила авиация. В селе полыхали пожары. Угодить из огня да в полымя — мало приятного.

— Попытаемся объехать справа, по берегу моря, — решает рассудительный сержант Крутовертов, — возможно, проскочим.

Шофер послушно сворачивает на малонаезженную дорогу. Мы «проскакиваем» и оказываемся в расположении тылов кавалерийского корпуса. Корпус только сегодня переправился через пролив и сразу же попал под

удары немецкой авиации. Дивизии, полки, эскадроны, тылы — все здесь перепуталось, перемешалось.

Гитлеровские летчики гоняются за людьми, лошадьми, машинами и расстреливают, расстреливают. Упиваются смертью, захлебываются чужой кровью. Вот когда ко мне приходит злость и ненависть. «Ну, погодите, сволочи, придет и наш час!» Я теперь знаю: ненависть к врагу не отпустит меня до конца войны.

А пока... На нашу машину налетает «мессер» и лупит длинной беспощадной очередью. Машина загорается. Мы горохом сыплемся из кузова и укрываемся в придорожной канаве. Потом в неглубокой ямке хороним безвестного шофера. Вот и еще одна мать где-то в глубине России или Сибири получит бумагу с казенным штампом и казенными словами: «Пропал без вести».

Наступает ночь. От села Марфовки до рабочего поселка Еникале, в обход Керчи, я снова еду на плечах моих товарищей.

Вот мы уже на «Турецком валу», горе Митридат, возвышающейся над городом Керчь. Этот вал и гора служили в далеком прошлом неприступной обороной города с моря и из степей полуострова. Сейчас здесь пусто, ни одного окопа, ни одного солдата. Поднимаемся на вершину горы. Отсюда виден как на ладони весь пролив, соединяющий Черное и Азовское моря, а за проливом и таманский берег до Темрюка и Анапы, а на запад — весь Керченский полуостров до Ак-Манайских высот. Видны и все селения полуострова. Сейчас они горят и зарево их пожаров окрашивает крымское небо. Трудно переоценить это место для долговременной обороны полуострова и города Керчи. Но увы, для этого ничего здесь не сделано. Город Керчь тоже горит, немцы его методично бомбят, терзают.

Перед рассветом выходим к поселку Еникале, на берег Керченского пролива. Отходящие войска разбитого Крымского фронта здесь переправляются на косу Чушку, оттуда идут на Темрюк. К Еникале выходят и немцы. Кажется, от них нигде нет спасения...

По коже пробегает дрожь и сейчас, когда ненароком вдруг вспомнятся Еникале и переправа через пролив. Немцы бомбят поселок. Их самолеты днем и ночью висят над проливом. Из степи давят автоматчики.

По проливу туда и сюда снуют катера. Еникале — коса Чушка, Чушка — Еникале. В паузах, когда у причала нет катеров, кто-нибудь из отважных офицеров поднимается и громко объявляет:

— Товарищи! Давайте отгоним фрицев!

На зов откликаются сотни воинов. Они тут же стремительно карабкаются в гору, бесстрашно атакуют и отгоняют противника на два-три километра в степь, потом возвращаются к пристани. Немцы тоже возвращаются, но уже осторожнее — спесь на какое-то время у них сбита.

В одну из таких операций уходят и мои ребята во главе с сержантом Крутовертовым.

По берегу, по проливу, по поселку гуляет смерть. Для «косой» здесь раздолье. Весь берег усыпан трупами. Из пяти работающих на переправе катеров к исходу вторых суток остается два...

Я сижу и поглядываю на причал. Войск здесь сбилось много. Дойдет ли до меня очередь? Передо мной стоит грузовик. Около машины безотлучно находится ее водитель. Он тоже поглядывает на причал. Но у него, пожалуй, нет никакой надежды, что машину погрузят на катер. До машины ли, когда надо спасать людей? Шофер мог бы бросить ее где-то в степи, как бросали многие другие. Но, видно, не мог. Жалко. Может, он вместе с машиной был мобилизован в армию из какого-то колхоза. Что он потом скажет своим односельчанам, когда вернется домой?

Шофер задумчиво ходит вокруг грузовика, насвистывая мотив старинной сибирской песни «Славное море — священный Байкал». Вот он носком сапога стучит по скатам, вот осматривает радиатор, вот гладит капот, как крестьяне гладят холку коню. Потом, остолбенев, долго смотрит на пролив. С его языка срывается уже не свист, а сама песня: «Славное море — священный Байкал, слав-

ный корабль — омулевая бочка...» Фразу об омулевой бочке он повторяет несколько раз. И вдруг, словно о чем-то догадавшись, решительно подходит к кабине, рвет дверцу на себя и оттуда, из кабины, выкидывает спинку и сиденье. Достает домкрат, кривой гаечный ключ, монтировку, насос.

Мне интересно наблюдать за шофером. Я пытаюсь понять его поступки и действия. Он же, подмигнув мне, начинает снимать задние колеса. Откидывает одно, принимается за другое. Вывертывает ниппеля. С шипеньем и свистом из баллонов выходит воздух. Шофер усердно действует монтировкой. Вытащив камеры, накачивает одну из них. До меня вдруг доходит весь смысл работы шофера.

— Друг, — окликаю я, — уж не персональный ли катер себе готовишь?

— Так точно! — весело отвечает шофер. — Если при крайней нужде какая-то омулевая бочка может стать кораблем, то почему камера не может стать катером?

Одна камера накачана. Шофер принимается за другую. «Видно, запаску готовит. Предусмотрительный парень». Но шофер отрывается от насоса и смотрит на меня.

— Слушай, батя... Один персональный катер могу уступить тебе. Двинешь на этом катере... к самой едрене матери, — шофер скалит зубы. — До Чушки доберешься. Лично я рассчитываю добраться.

Я боюсь воды. Но предложение шофера настолько заманчивое, что у меня вдруг появляется желание двинуться на «катере», пусть даже и к «едрене матери». С отчаянной лихостью я говорю:

— Качай. Согласен!

Не проходит и получаса, как «катера» наши готовы. Шофер помогает мне добраться до воды. Раздеваемся, разуваемся. Шофер надевает на себя баллон. Некоторое время смотрит на пролив, на низкую косу Чушку и со

словами: «Эй, баргузин, пошевеливай вал» — кидается в воду.

Я медлю. Потом из кармана гимнастерки перекладываю в фуражку партийный билет, другие документы. Фуражку нахлобучиваю на голову, ремешок с нее опускаю под подбородок. В карман брюк — их я оставил на себе — перекладываю печать несуществующего 343-го ОПАБа. Наган в кобуре вешаю на ремешке через плечо. Теперь я готов в путь. И тут как прострел: а что, если мой катер-поплавок пробьют пулей? По телу пробегают мурашки. Плыть, не плыть? А, будь что будет. Двум смертям не бывать, а одной не миновать. Я залезаю в поплавок и отталкиваюсь от берега.

Плыву медленно, с передышками, устают руки. Где-то на середине пролива ко мне просится «пассажир».

— Выдыхаюсь, братец. Дай немножко отдохнуть.

Он руками держится за поплавок. Я работаю руками. Потом парень начинает работать ногами. Скорость нашего движения заметно прибавляется.

— Ты уж держись до конца. Смотришь, и доедем.

Пока мы плыли, трижды на бреющем пролетал «мессер». Я опасливо косился: саданет или не саданет по поплавку? Не саданул. Бил, гад, по катерам, как бочки сельдью, набитым людьми. Часа через полтора-два мы причалили к берегу на косе Чушке. Надо же! Я верил и не верил такой удаче. Но ведь вот она, милая Чушка. Ох, как она хороша!

Не верится, что и мне удалось одолеть это водное пространство шириною более 4 километров.

«Пассажир» помог мне выйти из воды. Тут мы с ним и расстались. Я, намочив раненую ногу соленой водой, растравил ее и почувствовал себя совсем худо. Решил дождаться какого-нибудь транспорта. И — опять удача! Подошла машина. Может, даже мой «пассажир» позаботился обо мне. Я до слез растрогался: сколько же хороших людей в нашей армии, в нашем государстве.

Через полчаса я был в Темрюке, в комендатуре. Здесь, на медпункте, промыли мне ногу, перевязали и уложили в постель — спи! Целые сутки я беспробудно спал.

Отоспался я знатно. Любой солдат мечтает о трехстах минутах, чтобы подавить ушко. А тут целых 1440 минут, да не на сырой земле, а на кровати и в чистой и мягкой постели. Отоспался за все прошлое и, кажется, кусочек от будущего отхватил.

Теперь надо доложиться коменданту. Только вот мой наряд не очень бравый. Натянул штаны, надел фуражку — и все. Недостает самой малости: гимнастерки, нательной рубахи, ремня, шинели и сапог. Ну да ладно, хоть стыд прикрыт. Иные совсем голенькими являются. Главное — батальонную печать нигде не посеял и свои документы сберег. Все честь по чести.

С палкой в руках предстаю перед комендантом. Он глядит на меня с усмешкой. Небось думает: «Ничего себе, вояка». Мне обидно, но обиды своей не выказываю. Повсякому люди перебираются через пролив. Кто с полным комфортом, кто умывшись кровью, а кто... Словом — переправа. «Кому память, кому слава, кому темная вода...»

В комендатуре нашлась кое-какая одежонка. Мне выдали солдатскую гимнастерку, сапог на правую ногу, ремень. Теперь, вновь оглядев меня с ног до головы, комендант не усмехался. Вид мой был божеский.

— Можешь топать в свой УР, — сказал он. — Сборный пункт его в третьей школе.

Екнуло у меня сердце от радости: выбрались наши ребята. С помощью палки я поскакал в школу. И тут радость погасла: из 343-го ОПАБа офицеров оказалось не более десятка да десятка два рядовых. Но люди подходили. К концу дня из батальона собралось 93 человека, всего же из УРа — 350. Триста пятьдесят из четырех тысяч!

Ночью у меня поднялась температура, и я оказался в Темрюкском эвакогоспитале. Через пару суток меня перевезли в эвакогоспиталь, что находился в станице Лабинской.

Госпитальные дни — хорошее время и для раздумий. Я мучительно размышлял над последними своими фронтовыми неделями, хотел понять и не находил ответа —почему так быстро и бесславно, считай за одни сутки, погиб наш 161-й УР, состоящий из отборных, мужественных и стойких воинов? Почему вместе с УРом погибла Азербайджанская дивизия? Почему, наконец, стала возможной трагедия всего Крымского фронта?

Ответ на свои недоумения я нашел только через много лет, в вышедшей в свет «Истории Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.».

Глава вторая
ОТ ОПОЛЧЕНИЯ — К ГВАРДИИ

Мутные серо-зеленые потоки немецко-фашистских войск захлестывали кубанские и северокавказские земли. Сдерживать их, остановить, завернуть назад у нас не хватало сил. С болью в сердце продолжаем отходить все дальше на юг.

На утренней заре, до восхода солнца, останавливались на дневку, рассредоточивались по садам, балкам, оврагам, рощам и замирали, словно и нашего духу здесь нет.

Всех нас измучили ночные марши. К неимоверной усталости примешивалось плохое настроение.

Не предвиделось легкой жизни и впереди. Мы уже все сознавали, что впереди нас ожидают испытания еще тяжелее. Командиры подразделений были настороже. Их заботило лишь одно — кто бы не заснул и не свалился бы с коня, кто бы не свернул с дороги, не выбился из колонны и не отстал бы.

За спиной оставалась родная земля. Давно уже прошли станицы Каниловскую, Кореневскую, Ладожскую, Тбилисскую. На каком-то рубеже останавливались, занимали оборону, но снова следовал приказ «По коням!» — и снова мы на марше. Через станицы и хутора проходили с угрюмыми лицами, с поникшими головами, с виновато-стыдливыми взглядами.

Видели, как у ворот своих хат и на околицах стоят и

молча, с печалью, провожают нас взглядом древние деды, женщины и дети. Мы чувствуем, что они хотят нас спросить: «Что с вами случилось? Почему вы пятитесь и отходите не с пограничной Белорусской или Молдавской земли, а с трижды благословенной Кубанской и Северо-Кавказской?»

Что может быть для нас горше этого и обиднее на себя? Нам пока сказать им нечего. Мы тоже пока молчим, хотя верим, крепко верим, и хочется во всю силу закричать: «Будет и у нас и у вас праздник, дорогие люди. Скоро, очень скоро захватчики умоются своею кровью. Мы это вам обещаем крепко».

У меня как-то даже мелькнула пугливая мысль: неужели тяжелые бои за Кущевскую казаков надломили? Но эту мысль я сразу отмел. Нет, не надломили. В тех боях казаки сражались как львы. В боях они показали, что умеют бить немцев, что первое испытание выдержали с честью, проявив мужество, отвагу и доблесть. Через много лет военные историки отметят: «2 августа противник перешел в атаку в районе Шкуринской (20 километров северо-западнее Кущевской) и вклинился в нашу оборону, но контратаками советских войск был выбит с захваченных позиций. В момент отхода немецких войск два казачьих кавалерийских полка, поддержанные танками, в конном строю атаковали противника. В короткой схватке казаки уничтожили до 1800 вражеских солдат и офицеров, захватили 18 орудий и 25 минометов».

День, говорят, меркнет ночью, а человек — печалью. Печалились о потерях. Многих своих земляков урюпинцы оставили на поле боя. Но война без потерь не бывает. Казаков печалили думы о Родине, о ее судьбе. В первое военное лето отход наших войск был как-то объясним. Внезапность и вероломность нападения. Превосходство врага в технике. Другие причины... Горько и больно было тогда. Но после разгрома немцев под Москвой, под Ростовом, на других фронтах трудно было понять и объяс-

нить этот страшный прыжок гитлеровцев к Сталинграду и в предгорья Северного Кавказа.

Равнины Кубани остались позади. Теперь по узким и крутым горным проселкам и тропам в предгорьях Кавказа и Причерноморья мы карабкались вверх, в поднебесье, потом спускались в темные и мрачные ущелья, где с ревом и грохотом мчатся речки, и снова карабкались вверх.

...«Быть тебе казаком», — в первый день пребывания в полку сказал мне начальник штаба капитан Поддубный. Я тогда еще не предполагал, что отныне и до конца войны казачий кавалерийский полк станет моим родным домом, а воины его — казаки — крепкой и хорошей семьей. Не знал я, что с ними я буду делить все радости и огорчения, что с ними я дойду до самого светлого дня — Дня Великой Победы.

Наши переходы действительно чертовски тяжелые, а для таких новичков, как я, — вдвойне. Но ничего не попишешь, назвали тебя казаком — становись им и учись всему, что требуется от воина-кавалериста. Обкатка седлом для меня была мучительной. Проехав в одну из ночей шестьдесят километров, я едва сполз с коня. То уважаемое всеми место, на котором сидят, я сбил так, что не мог далее ни сидеть, ни ходить. В глазах темнело от каждого шага. Но хуже было другое. Осматривая моего коня, полковой ветеринарный врач, капитан П.И. Козин, хотя и незлобиво, но довольно резко выговаривал мне:

— Ездок, ядрена шишка. Всадник без головы. Спину-то набил Казаку. Да за такое знаешь, как наказывают? Спешивают. Седло снимают с коня и вешают на загривок всаднику. И пусть он топает на своих двоих. Конька же в поводу ведет. Пусть и конек поглядит на тебя, заседланного. Вот так, мил-человек. А как же иначе? Нет, дальше на Казаке ехать не позволю. О чем и доложу твоему прямому и непосредственному начальнику Ивану Николаевичу Поддубному.

Мне нечего было возразить конскому доктору, и я помалкивал.

Начальник штаба — человек деликатный. Он мельком глянул на коня, укоризненно покачал головой, вздохнул:

— Ах, казак, казак...

А я не понял, к кому относились слова Ивана Николаевича: к коню ли, который носил кличку Казак, ко мне ли, совсем расклеившемуся кавалеристу, казаку-неумехе.

Помначштаба Корней Ковтуненко назвал меня джигитом и, балагуря, пытался утешить:

— Не огорчайся, Евлампий. Твоя драгоценная ж... — не лицо невесты, смотрин на нее никто устраивать не будет. Поболит да перестанет. Так что терпи, казак, атаманом станешь.

Наказывать меня, тем более по-казачьи, никто не стал. Но хуже всякого наказания и стыднее мне было перед своим коноводом Семеном Коломийцем. Он слова не сказал, но я видел, спиной чувствовал его осуждающие взгляды, которые он бросал.

Казак перешел ко мне от командира первого эскадрона Василия Петровича Горшкова, раненного под Кущевской. Вместе с конем перешел под мою команду ординарец и коновод Горшкова, Семен Коломиец, который горячо любил и гордился своим лихим и отважным командиром.

Замечательной кавалерийской выучки был Казак. Жеребец гнедой масти, иноходец арабской породы, ростом в два метра и три сантиметра, он понимал все команды голосом. Мог зайти в любой дом, по лестнице мог взобраться на любой этаж. Он обладал великолепной рысью — на расстоянии пяти километров не отставал от машины, идущей на третьей скорости. Легко брал препятствия шириной до трех, а высотой до двух метров. Не боялся винтовочной и автоматной стрельбы и грохота снарядов и мин. Скоро я влюбился в этого славного коня, и он прошел со мной весь путь до конца.

Но это позднее. Теперь же я, кругом виноватый, вынужден был молчаливо сносить бурчанье велеречивого конского доктора, грубоватые шутки ПНШ Корнея Ковтуненко и осуждающие взгляды коновода Семена Коломийца.

Следующий переход в пятьдесят километров — до станицы Горячий Ключ — я ехал в лежачку на штабной бричке, а расседланного Казака вел в поводу Семен Коломиец. На мое счастье, новый переход весь полк двигался пешком, и за двое суток я успел мало-мальски поправиться. Теперь, хотя и нараскоряку, но наравне со всеми я мог топать. Отдохнул от неловкого и неумелого седока и поправился мой Казак.

С первых дней пребывания в 25-м казачьем полку я старался как можно скорее познакомиться с его командирами и бойцами. Казак должен знать свой дом и свою семью. Делая штабную работу, я частенько наведывался в эскадроны, батареи, во взводы специального назначения. И чем больше я узнавал, тем больше дивился этому воинству.

Дивился, прежде всего, возрастной пестроте людского состава подразделений. Рядом с безусыми, едва оперившимися юнцами, у которых, как говорится, материнское молоко на губах еще не обсохло, служило здесь немало сивобородых дедов. И как-то даже странным было видеть на гимнастерках у одних значки «ГТО» и «Ворошиловский стрелок», у других — кресты Георгиевских кавалеров или первые советские ордена Красного Знамени. Во взаимоотношениях людей было такое, чему я тоже немало дивился.

Как-то скоро я сошелся с патриархами полка — Никитой Фокиевичем Концовым и Петром Степановичем Бирюковым. Они и стали меня просвещать.

— Так, стало быть, взаимными отношениями интересуешься? — поглаживая седой ус и хитровато щурясь, начинал неторопливый разговор Никита Фокиевич. — Тут,

брат, особая статья. И идет она от установлений в донском и хоперском казачестве.

Продолжая развивать мысль, Никита Фокиевич рассказывал о том, что дисциплина и порядок в полку держатся и крепко стоят не только на уставах, но и на родственных связях, на послушании младших.

— В наших семьях принято особо почитать старших: старшего брата, отца, деда. Так и тут. Полк-то наш родился из ополчения. Люди в него пришли родственные. Тут и родные, двоюродные и троюродные братья, деды и внуки, кумовья и сваты. Командиры? Они проводят уставную линию. Но и к голосу старших прислушиваются.

— Значит, устав плюс борода?

— Стало быть, так. А как же иначе?

Рассказы ветеранов-стариков занимали меня и вызывали еще больший интерес к полку и необычной истории его рождения.

3 июля 1941 года жители города Урюпинска Сталинградской области слушали речь И.В. Сталина. У репродукторов на центральной площади стояла, как бы застыв, огромная толпа. Ловилось каждое слово, выговариваемое неспешно и размеренно. Устами Сталина говорила с народом Коммунистическая партия, ее Центральный Комитет. Призыв партии — всеми силами встать на защиту своей матери-Родины — звал к действию.

Сразу же после выступления Сталина начался митинг. В самый разгар его на площади возник шум и послышались голоса: «Дорогу, дорогу Никите Фокиевичу!»

Никита Фокиевич Концов — старый уважаемый казак, ветеран Первой Конной армии, активный участник коллективизации сельского хозяйства, заслуженный человек. С высоко поднятой головой и горящими глазами он пробирался к трибуне. Пышные седые усы его торчали в стороны, и он как бы раздвигал ими толпу.

Никита Фокиевич поднялся на трибуну, отодвинул в сторону смутившегося юного оратора, шевельнул усами: «Гутарить хочу».

— Станишники! — громко крикнул он, снимая старый казацкий картуз. — С немцами я воевал на русско-германском фронте. В тысяча девятьсот восемнадцатом бился с ними на Украине и на Дону. Старые раны, полученные от них, сегодня мне велят: бери в руки оружие и снова ступай сражаться за родную землю, за наш Тихий Дон, за Советскую власть. На врага мы должны подняться всем миром. Мое слово такое: на коней, казаки!

Никита Фокиевич нахлобучил картуз, оглядел гудящую толпу и, повернувшись к председателю горисполкома, потребовал:

— Доставай бумагу и пиши меня первым в казацкое ополчение.

В тот же день в Урюпинске, в станицах и хуторах района, в соседних районах началась запись добровольцев в ополчение. Зашумел Дон, затревожился Хопер. Казаки и казачки вытаскивали из укромных мест старинные сундуки, в которых бережно хранились оставшиеся еще от отцов и дедов казакины, башлыки, папахи, бурки. Во дворах застучали вальки и скалки: женщины, собирая на войну мужей, отцов и сыновей, выхлопывали многолетнюю пыль из походной одежды. Мужчины ревизовали конскую амуницию: седла, стремена, переметные сумы, уздечки, попоны. С утра до позднего вечера в колхозных кузнях не смолкал перестук молотков — готовили подковы, ремонтировали брички и тачанки.

Ополченцы, сведенные в сотни и отряды, начали занятия. Они изучали стрелковое дело, гранатометание, штыковой бой, приемы борьбы с танками. Ну, а в первую очередь овладевали кавалерийской наукой: управлением конем в строю, рубкой, взятием препятствий, джигитовкой.

В августе — сентябре казачьи ополченские формирования перевели на структуру кавалерийских частей Красной Армии. Создается Урюпинский полк. В него вошли, кроме урюпинцев, ополченцы Новониколаевского, Добринского, Нехаевского, Хоперского районов. Три каза-

чьих полка — Урюпинский, Новоаннинский и Михайловский — сводятся в Донскую казачью кавалерийскую дивизию ополчения. Ополченцы переходят на казарменное положение и с первых дней октября начинают организованную боевую учебу.

Командиром Урюпинского полка назначается бывший конармеец, управляющий урюпинским отделением Госбанка Думенко Александр Иванович, а комиссаром назначается бывший комиссар одного из полков Червонной казачьей дивизии Первой конной армии Харламов Сергей Филиппович.

Ноябрь 1941 года выдался дождливым и холодным. Он принес непредвиденные заботы и хлопоты. Резко встал вопрос о теплой одежде и обуви. Да и домашние дела беспокоили. Казаки все чаще стали отпрашиваться домой. Кому надо заменить пальто, телогрейку или белье, кому починить прохудившиеся сапоги или ботинки — ополченское воинство было одето во все домашнее. Что-то надо было сделать для семей. Одним заготовить топливо на зиму, другим — подремонтировать дворы-базы для скота, третьим — подвезти сена, соломы. Крестьянских работ осенью немало, и почти все они требуют мужских рук.

Перед командованием полка встала почти неразрешимая задача: отпускать казаков нельзя и не отпускать нельзя. В отпусках, хотя и кратковременных, люди часто задерживались.

В один из ноябрьских дней в Урюпинске остановился проездом полковник Сергей Ильич Горшков. Урюпинский он родом. А ехал из Москвы в Сталинград, в распоряжение штаба военного округа. Возможно, он знал, что ему придется командовать Донской казачьей дивизией ополчения, поэтому сразу захотел познакомиться с одним из ее полков. Полковник встретился с командованием и казаками Урюпинского полка.

В беседах с земляками он узнал нужды ополченцев и пообещал доложить о них командованию округа и обкому

партии. Главной просьбой ополченцев была одна: перевести их в кадры Красной Армии. Тогда все нужды отпадут сами собой.

Приезд земляка и его встреча с ополченцами не остались бесследными. 24 декабря обком партии и Сталинградский городской Комитет обороны дали согласие командованию военного округа на передачу в действующую армию дивизии народного ополчения. Она была зачислена в кадровый состав Красной Армии под наименованием 15-й Донской кавалерийской казачьей дивизии. Командиром ее был назначен полковник С.И. Горшков, комиссаром — батальонный комиссар В. З. Юрченко. Теперь отпали проблемы с обеспечением ополченцев обмундированием, продовольствием, фуражом, экипировкой. Жизнь полков стала такой, какой она была во всех кадровых частях Красной Армии в ту суровую и тяжелую пору.

В Урюпинский полк (он стал называться 25-м) стало прибывать командирское пополнение из частей Красной Армии и из запаса. На должность командира полка приехал капитан Евгений Васильевич Данилевич. На первом же партийном собрании по просьбе казаков-коммунистов он доложил «свою жизнь с самого начала».

Родился в городе Белостоке в семье рабочего-текстильщика в 1910 году. С началом Первой мировой войны отец оказался в окопах на русско-германском фронте. Погиб отец командиром Красной Армии в девятнадцатом под Иркутском в боях с колчаковцами. Мать в четырнадцатом году, собрав малых детишек — Женьку, Ленку и Шурку, — из прифронтовой полосы бежала в глубь России. Пристанище нашла в городе Богородицке Тульской губернии. Прокормить малых детей у матери не было сил. Женьке пришлось батрачить у богатых огородников, а часто надевать суму и отправляться по миру, собирая куски. В школу ходил шесть зим. В 1927 году семнадцатилетним парнем Евгений спустился в шахту на Бобрик-Донском руднике Подмосковного бассейна. Стал

рабочим человеком. Был подсобником, крепильщиком, помощником машиниста врубовки. В двадцать девятом молодого шахтера призвали в армию и направили в Тверскую кавалерийскую школу имени Коминтерна. Окончил ее с отличием в тридцать втором. Получил назначение в Забайкалье, в кавалерийскую часть. Служил в Нерчинске, затем в Даурии, командуя кавалерийским взводом, эскадроном, полковой школой на протяжении восьми лет. Там же закончил десятилетку. В сороковом году перевели в Новочеркасск Ростовской области. На курсах среднего командного состава ведал физической подготовкой, потом преподавал тактику кавалерии. В Урюпинский полк приехал из Чкалова, из кавалерийской школы.

Почти в одно и то же время с капитаном Данилевичем в полк приехали: из Забайкалья — капитан Иван Николаевич Поддубный, его назначили начальником штаба; из Донбасса на должность комиссара полка — старший политрук из запаса Михаил Федорович Ниделевич; отсекром партбюро стал Василий Яковлевич Быков, партийный работник из Саратова. И еще десятки кадровых и командиров-запасников возглавили подразделения и различные полковые службы.

Все прибывшие командиры и политработники умело возглавили подразделения, хорошо наладили боевую и политическую учебу казаков и скоро заслужили у них высокий авторитет. А бывшие командиры сотен и взводов стали хорошими их помощниками.

Боевая учеба, напряженная, до отказа заполненная полевыми занятиями, шла, как и положено ей идти, всю зиму. Но в марте 1942 года произошло событие, подобное раскату грома при ясном, безоблачном небе. Солдатский телеграф принес ошеломляющую весть, и она, как камень, брошенный в омут, подняла всю донную муть: дивизия расформировывается, расформировываются и полки! Личный состав отдельными командами передается на пополнение действующих на фронте частей.

Заволновались казаки. Они против расформирования. Казачья вольница готова собраться на казачий круг. Но казачьи круги остались в далеком прошлом. Действовать теми методами в новой обстановке негоже. Но как поступить теперь? Решают действовать через партийные организации подразделений.

В пулеметном эскадроне 25-го Урюпинского полка по требованию казаков-коммунистов созывается партийное собрание. Слово берет 62-летний казак Петр Степанович Бирюков.

— В каких-то высоких штабах, — говорит он, — не понимают, что наш полк и наша дивизия созданы народом, что здесь служат семьями. Со мною, к примеру, служат два сына и зять. Двадцать пятый полк целиком состоит из казаков-земляков, спаянных совместным трудом в колхозах. Мы поднялись на защиту родного Дона, матушки-России добровольно. Мы крепко, по-казачьи готовимся к боям — и вот тебе на, нас расформировывают. Надо немедленно жаловаться. Самому Сталину. Послать к нему ходоков, как посылали в гражданскую к Ленину. Прошу казаков: поручите это нам с Никитой Фокиевичем Концовым. Мы поедем в Москву и лично обскажем Иосифу Виссарионовичу все, как надо. Я уверен: приказ о расформировании будет отменен.

Бирюкова поддержали другие коммунисты. Командир эскадрона Волков и политрук растеряны. Само собрание, обсуждение и осуждение приказа высшего командования, к тому же еще не обнародованного, некоторые военачальники могут расценить как организованное недовольство и как массовое неподчинение. И окончится все это плохо. Выступая, политрук эскадрона просит коммунистов не принимать пока никакого решения. Он же с командиром эскадрона, как положено, по инстанции, доложит о мнении коммунистов командованию и партийным органам.

Коммунисты согласились с таким предложением.

На второй день солдатский телеграф уточняет: командир дивизии срочно выехал в Сталинград, в обком партии и округ, чтобы отстоять от расформирования соединение и добиться отмены приказа. А комиссар дивизии послал телеграмму лично Сталину об этом же. Она сохранилась в архиве Министерства обороны. Вот ее текст:

« Москва. Кремль. Сталину И. В.

Решением высшего командования 15-я кавдивизия расформировывается. Дивизия [в] настоящее время — уже крепкий боевой организм. Дивизии не хватает орудий, минометов, обуви. Один-полтора месяца учебы — после этого, ручаюсь своей партийностью, дивизия примет любое боевое задание.

Комиссар 15-й кавдивизии Юрченко».

Решение о расформировании полков и дивизии, как позднее стало известно, было принято, да к тому же без согласия областных партийных органов, некоторыми военачальниками управления Сталинградского фронта, не верившими, что семейное и земляческое казачье войско может стать серьезной и надежной силой.

Смелым человеком и честнейшим коммунистом показал себя комиссар дивизии. На свой страх и риск он послал телеграмму, в которой поручился самым высоким, что есть у человека и коммуниста, — своей партийностью.

Ждать ответа из Москвы долго не пришлось.

«Сталинградский военный округ.

Военкому 15-й кавдивизии Юрченко.

15-я Донская кавалерийская дивизия не расформировывается. Она включается в состав 17-го кавалерийского корпуса.

Нарком обороны Сталин.

20. 3. 1942»

(ЦАМО СССР, ф. 48-а, оп. 1, д. 70, л. 57.)

Ах, какой это был хороший светлый весенний день! Казаки ликовали. Во всех подразделениях прошли со-

брания, на которых казаки благодарили Сталина, партию за доверие, за второе рождение казачьей дивизии и обещали с еще большей энергией овладевать военными знаниями и готовиться к предстоящим боям.

Командование и партийное бюро вечером 21 марта от имени казаков полка направило Сталину письмо. В нем говорилось:

«Казаки Хопра и Дона, создав из добровольцев кадровую казачью кавалерийскую дивизию, в предстоящих боях с честью оправдают доверие... Мы обещаем не посрамить данного нам оружия. Скоро враг испытает острие наших клинков, меткие пули. Мы скоро из ополченцев будем, обязательно будем гвардейцами».

Не прошло и полгода, как это заявление казаки претворили в жизнь. А пока... Пока снова учеба, снова обычные солдатские будни, в которых нередко вспоминались те трое мартовских суток, покуда не была получена телеграмма от Сталина. Полковые острословы окрестили их как трое суток смутного времени.

Боевой приказ гласил: 25-му полку выйти к станции Ходыженской, оседлать железную дорогу, запереть ущелье Пшиш и не дать противнику выйти на побережье Черного моря, прорваться к городу Туапсе.

Последний переход невероятно труден. Со всем вооружением и обозом, составляющим не одну сотню повозок, чуть ли не по звериной тропе надо подняться на гору Шаумян, высота которой достигла почти двух тысяч метров, затем, перевалив хребет, спуститься в ущелье реки Пшиш.

Полк спешился. Разгрузили все повозки, тачанки, брички. Боеприпасы, минометы, пулеметы, снаряжение, продовольствие и фураж приторочили вьюками к седлам лошадей. В пустые повозки и брички запрягли до пяти пар лошадей, а в передки пушек — от восьми до двенадцати пар.

Перед тем как дать команду на подъем, командир полка, придерживая рукой кубанку, долго глядел вверх, на вершину горы.

— Это тебе не даурские степи, — сказал Данилевич штабникам, — крутовата горочка, крутизна, пожалуй, градусов под семьдесят будет. Но должны осилить. Только бы вот...

Командир полка не стал договаривать. Он снова поглядел вверх, в небо. Теперь уже с тревогой. Тревога Евгения Васильевича нам была понятна. Только бы вражеская воздушная разведка не обнаружила полк на подъеме. Если обнаружат, то неминуемы налет, бомбардировка и — гибель. Укрыться и спрятаться негде, с тропы не свернешь. Ночью форсировать перевал — нечего и думать. Приходится рисковать, надеяться на счастливый случай, на везенье. А тут солнце, как на грех, светит во все завертки.

К исходу дня мы одолели четыре километра, поднявшись на высоту 1500 метров. На этом четырехкилометровом переходе люди и лошади вымотались больше, чем на сорокакилометровом. От неимоверной усталости у лошадей дрожали коленки, с крупов стекала мыльная пена. Здесь, на большой лесной поляне, разбили бивак и, наскоро поужинав, завалились спать.

С рассветом двинулись дальше. Все вооружение и походное имущество теперь разложили по повозкам, бричкам, тачанкам. Подъем здесь был менее крутым и обозначилась хорошая наезженная дорога. Скоро вышли к городу Нефтегорску, раскинувшемуся на самом перевале, и, не останавливаясь, по дороге-серпантину стали спускаться в ущелье, чтобы к вечеру достичь станции Ходыженской.

Разведку называют глазами и ушами армии. Командир полка капитан Данилевич, комиссар Ниделевич и начальник штаба капитан Поддубный к разведке относились с особым пристрастием. Впереди отходящего полка всег-

да двигался усиленный разведотряд, который при необходимости мог вести бой до подхода главных сил полка. Возглавлял этот отряд обычно ПНШ-1 старший лейтенант Ковтуненко. Человек он был решительный, смелый, не теряющий головы и рассудка в самой трудной обстановке. Казаки к таким людям относились с полным доверием.

Полк, да что полк — всю дивизию воздушная разведка противника не могла обнаружить до самых гор Кавказа. На переходах нас укрывали ночи, а на дневках леса, сады и овраги. После того как немцы получили от казаков по зубам в районе станицы Кущевской и хутора Бирючий, они потеряли нас и долго недоумевали, куда же делись эти «Черные дьяволы» с просторов Кубани?

Вечером мы заняли оборону у Ходыженской. А на второй день, едва солнце вылезло из-за гор, на дороге Белореченская — Туапсе появилась механизированная разведка противника. В ней было около двух десятков мотоциклов и пять бронетранспортеров.

Передовой пост полка, выставленный в двух километрах от станции, встретил гитлеровцев как полагается: в короткой стычке уничтожил пять мотоциклов и два бронетранспортера. Гитлеровцы оставили на дороге 18 трупов и четырех раненых. Потом в течение шести дней ни один гитлеровец не совал к нам носа.

Третий эскадрон, усиленнный взводом минометчиков и одной пушкой, был нами оставлен в Нефтегорске, на перевале. Он как бы нес сторожевую службу: не подпускал гитлеровцев к дороге, по которой прошел полк. Проберись они на гору Шаумян, станция Ходыженская могла оказаться под прямым обстрелом артиллерии и минометов. Да и автоматчики могли нас атаковать.

Другие эскадроны и две батареи артиллеристов и минометчиков держали оборону на горе Лысой. Огневые позиции здесь были очень удобными — просматривались железная и шоссейная дороги от станции Сосновка до города Белореченска, уже занятые противником..

Дорогу, идущую по узкому ущелью реки Пшиш, и само ущелье полк закрывал собою, как бутылку пробкой. Штаб полка удобно разместился на самой станции.

На нашем участке противник пока активных действий не предпринимал, усиленно вел разведку.

Почти каждую ночь небольшие группы гитлеровцев подбирались к нашей обороне. Но подразделения их сразу же отгоняли. Противник вел артиллерийский обстрел позиций полка. По артналетам, методичным, с чисто немецкой пунктуальностью, можно было сверять часы — в 9.00 и в 23.00. Огонь немецкой артиллерии мало нас беспокоил: он был неприцельным, и полк от него почти не страдал.

Больше чем кто-либо другой из штабных работников я был привязан к своему сундучку с документами и картами. Когда выпадали свободные от дел минуты, я в первую очередь брался за «Журнал боевых действий» и охотно листал его страницы. Они мне рассказывали о всех важнейших событиях в жизни полка — это была его биография. Продолжать биографию полка сейчас доверено мне. С большим интересом читаю скупые записи жизни полка.

«..21 апреля 1942 года полк поднят по тревоге, ночью погрузился в вагоны, попрощались с Урюпинском и поехали в южном направлении. Через двое суток прибыли в город Сальск Ставропольского края. Такая переброска — «подальше от войны» многих из нас озадачила, ожидали, что наконец-то нас везут, видимо, ближе к передовой. Надо же фашистов останавливать, не замышляется ли какой-либо новой каверзы? Выяснили, что нет, новой каверзы не предвидится, а перевезли сюда на довооружение и сколачивания боевых порядков полка, приближенных к боевой обстановке».

«В середине июня покинули и уютные берега реки Сал, здесь мы располагались лагерем. Поднялись по боевой тревоге и совершили трехсоткилометровый марш.

Достигли станицы Кисляковской уже Краснодарскрго края. Здесь было приказано подготовить оборонительный рубеж по левому берегу реки Ея. Сводки Информбюро сообщают, что противник продолжает движение на юг. Недалека, видимо, и наша встреча с врагом. На душе радостно и неспокойно. Лица казаков стали еще суровее. От слов сводок Совинформбюро все сильнее закипала ненависть, они звали в бой к мести. А вечерами казаки подходили молча к своим парторгам и так же молча подавали тетрадные листки, обертки от махорки или концентратов с короткими, карандашными строками: — «Скоро и мы пойдем в бой, прошу принять меня в ряды большевистской партии. В бой хочу пойти коммунистом», и еще короче — «В бою считайте меня коммунистом».

Еще в Сальске парторганизация полка выросла на 197 человек. Среди вновь вступивших в партию были: командир 2-го эскадрона И.П. Ходарцев, командир саперного взвода А.О. Оболенцев, отец и сын Мериновы, командир взвода 1-го эскадрона И.И.Кизин, минометчики М.М.Пантелеев, К.Ф.Рудиченко, артиллеристы Киреев и Битюков, пулеметчики Першиков и Бузулуцкий и многие, многие другие. На оборонительном рубеже на реке Ее стали полностью партийно-комсомольскими: взвод полковой разведки, первый и пулеметный эскадроны и минометная батарея. Это уже сила!

24 июля 1942 г. немецко-фашистские войска ворвались в Ростов и переправились через Дон в нижнем его течении. Началось наступление врага на Кубань. Эта оглушающая весть нам стала известна через день. Вечером 28 июля, оставив приготовленные позиции по реке Ея, полк ускоренным маршем двинулся навстречу врагу, чтобы на высотах перед станицей Кущевской занять оборону.

Казаки сражались с лихостью и отвагой и за Кущевскую, и за соседние со станицей хутора. В «Журнале», правда, очень скупо, но записаны боевые эпизоды и названы имена героев боев.

Эскадроны 25-го атакуют хутор Бирючий. По балке, справа и слева от нее, казачья цепь медленно, но упорно подбирается к хутору. Противник ведет шквальный ружейный, пулеметный и минометный огонь. Простреливается, кажется, каждый метр. В наступающей цепи находится командир дивизии полковник Горшков. Он специально приехал к урюпинцам. Бой этот для казаков первый, и он не хочет, чтоб его земляки дрогнули.

И вдруг недалеко от себя комдив видит: двое седобородых, усатых казаков идут вперед неспешным шагом и изредка постреливают из карабинов. Ни перебежек, ни переползаний по-пластунски. Вокруг взвизгивают пули, с треском лопаются мины, а им хоть бы что: шагают себе, словно на утиной охоте. Полковник рывком бежит к «охотникам», прыгает в воронку. Он в гневе, подзывает их к себе, приказывает укрыться в воронке, сам сверлит яростным взглядом.

— Ага, узнаю землячков... Никита Фокиевич Концов и Георгий Иванович Шурыгин?

— Так точно, они самые и есть.

— Геройствуете? Смотрите, мол, как бесстрашно идут в атаку бойцы легендарной Первой Конной. И пулям не кланяются, и смерти не боятся, а?

— Мы уже стары, Сергей Ильич, — сдержанно отвечает Никита Фокиевич, — стары, говорю, чтоб кланяться фашистским пулям. И не пужливы.

— А тебе, Сергей Ильич,— добавляет Георгий Иванович,— поостеречься надо бы, не пихать голову куда не след. Не рядовой. Не за себя думай — за всех. Спросится!

— Ха, они учить взялись меня!

— Ладно, хватит гутарить. Пойдем, Фокиевич.

И они пошли, оставив в воронке оторопевшего комдива. Отличившихся в этом первом бою было немало. В полосе наступления первого эскадрона лежало поле созревающего подсолнуха и кукурузы. Вести стрельбу из пулемета лежа нельзя — не видно цели. Тогда командир

взвода младший лейтенант Иван Першиков подставил свое плечо пулеметчику Бузулуцному. И тот стоя расстреливал немцев, обеспечивая продвижение своему эскадрону. Но вражеский пулеметчик скосил очередью обоих смельчаков.

Командир орудия-сорокапятки сержант Иван Киреев со своим расчетом следовал в боевых порядках наступающих. С короткой дистанции он подбил один танк и две бронемашины. Помощник командира взвода минометной батареи сержант Алексей Рыбалкин осколком вражеской мины был ранен в голову. Наскоро перевязавшись, он продолжал руководить расчетами. У 64-летнего казака пулеметного эскадрона Г.В. Меринова вражеским снарядом разбило пулемет. На поле боя казак подобрал два ручных пулемета, вооружил ими пулеметчиков Бондарева, Линева, Караваева и Руденко, и они до конца боя расчищали путь наступащим казакам.

Уезжая из Бирючьего, комдив высказал удовлетворение действиями казаков и попросил командование полка особо отличившихся представить к правительственным наградам. Напомнил при этом, чтобы в представлении не были забыты имена казаков Концова и Шурыгина.

Свыше ста казаков и командиров, живых и мертвых, были удостоены правительственных наград. А первыми кавалерами ордена Красной Звезды стали пулеметчик Бирюков и командир 45-мм орудия Киреев.

Удивительное, незабываемое это зрелище — атака в конном строю, поддержанная танками. Два казачьих полка, развернувшись фронтально, атаковали подступы к станице Кущевской. Кони летят галопом. Над ними, словно большие крылья неведомой птицы, развеваются и трепещут черные бурки казаков. Оголенные клинки молниями сверкают на солнце. В молниях — смерть. Земля гудит под копытами озверевших коней, а воздух сотрясается от протяжного, более чем тысячеголосого крика «ура!».

Немцы сначала пытались бить по атакующим конникам из всех видов оружия. Но черная лава стремительно, неумолимо, неотвратимо надвигалась, накатывалась. Немцы дрогнули и побежали — одни в станицу, чтобы где-то в домах, за заборами, в садах укрыться, спрятаться, спастись, другие — в чистое поле. Даже танки, эти стальные чудовища, тоже стали пятиться, разворачиваться и поспешно уходить. Видать, нервы гитлеровских танкистов оказались слабоватыми. Все те, что оказались в чистом поле, сразу нашли свою смерть. А в станице, куда на плечах гитлеровцев ворвались конники, завязался бой. Большой населенный пункт — не степной простор. В нем не развернешься с конем и клинком. Пришлось спешиваться. Гитлеровцы успели опомниться и цеплялись за каждый дом, за каждый двор, за каждую улицу.

Бой в станице затягивался. Командование ввело новые силы. К концу третьих суток немцев прижали к окраине. И вдруг... В любом сражении, большом или малом, этих неожиданных «вдруг» бывает много. Но это «вдруг» поразило. Почти полностью освобожденную станицу было приказано оставить и отойти на исходные позиции. При отходе обнаружилось: нет командира первого эскадрона Василия Петровича Горшкова. Тяжело раненный в начале боя, он был помещен в одну из хат, а при суматошном отходе о нем забыли. К первому эскадрону скачет комиссар полка Ниделевич. Он в ярости. Все знали капитана Горшкова. Ветеран полка, бывший красный конник, старый коммунист, душевный человек, отличный воин, слава и гордость полка. Но комиссар ничего этого не говорит. От эскадрона молча отделяются два сабельных взвода и скачут в Кущевскую. Там из-под носа у немцев выхватывают командира, кладут его на носилки между двух коней и под огневым прикрытием все еще находящегося в станице взвода минометчиков сержанта Рыбалкина вывозят Горшкова. Последними оставили Кущевскую минометчики Рыбалкина. Их вывезли из станицы на двух танках, приданных полку.

Оставить Кущевскую заставил прорыв немцев крупными силами у Батайска. В районе Кущевской создавалась угроза окружения не только 15-й Донской дивизии, но и всего 17-го казачьего корпуса. Но об этом казаки узнали позднее.

В дни боев за хутор Бирючий и станицу Кущевскую стояла оглушающая жара. Всех казаков страшно мучила жажда. Фляжки с водой, висевшие на поясах, были отданы раненым или вылиты в кожухи станковых пулеметов. В окружности же примерно двадцати километров не было ни ручьев, ни озер. Воду можно было брать только из хуторских и станичных колодцев, но за хутора и станицы шли непрерывные бои. Так что жажду нередко приходилось утолять листьями травы подсолнуха, кукурузы. С едой тоже не все ладно было. Старшины могли подвозить ее только ночью. И все это сильно вымотало казаков, но не могло сломить их боевого духа.

При «тихой войне» оказался беспечным какой-то пост, а может, сильная наша уверенность в том, что горы и скалы Кавказа для немцев не проходимы, а может, все это, вместе взятое, нас привело к тому, что 25 августа в Ходыженскую проникла вражеская разведка. Да не куда-нибудь, а прямо в расположение штаба полка. И не глубокой ночью, когда все, кроме караула, спят, а вечером, сразу после заката солнца.

Лазутчики — их было десятка полтора — побывали возле домов, в которых размещались саперный и комендантский взводы, возле штабной кухни, около санитарной части, во дворе дома, занятого под штаб. Обнаружили их случайно. Один из командиров по нужде вышел из дома, где он жил с другими командирами, и у ворот увидел человека, одетого в гражданский плащ. Командир знал, что все население поселка эвакуировано и никого в гражданской одежде здесь не должно быть. Он потребовал у человека предъявить документы. Тот выхватил из-под по-

лы плаща автомат и полоснул очередью. Командир был убит. Все другие лазутчики, словно по сигналу, открыли бешеную стрельбу. В штабных подразделениях начался переполох. Теперь палили отовсюду. Кто стреляет, куда, по кому, — в темноте ничего не поймешь и не разберешь. Минут через двадцать стрельба утихла. Итог «боя» оказался плачевным. В штабном дворе обнаружили одного гитлеровца, раненного в ноги. Остальные отошли. У нас же были двое убитых и двенадцать раненых. Дорогая плата за беспечность.

Но на этом не кончилось. Прошло совсем немного времени, как в расположении штаба начали рваться тяжелые снаряды. Артиллерийский огонь явно вызвали и корректировали по рации лазутчики, засевшие где-то неподалеку от штаба. Один снаряд угодил в расположение саперного взвода, второй — в штабную кухню, третий — возле самого штаба. Взрывной волной вышибло все двери и окна. И опять жертвы. Не ночь — ад кромешный.

Начальник медицинской службы полка капитан Дмитриенко с малочисленным штатом полковой санчасти сбились с ног: то в одной стороне раздавался стон или крик о помощи, то в другой. По крикам, по стонам разыскивали раненых, перевязывали их и несли в санчасть.

Но вот, когда казалось, что всем раненым оказана необходимая помощь и убитые похоронены, из расположения саперного взвода раздался плачущий, эхом прокатывающийся по горам, громкий крик:

— О-о-о! Ал-л-ах! Скоро, скоро, меня помогай! Скоро меня доктор!

На зов мигом явился «Аллах» в образе начальника медицинской службы полка, который обнаружил, что боец-азербайджанец ползает среди убитых лошадей. У него перебита в ступне нога и держится лишь на сухожилиях и кусках кожи. Медлить нельзя. Смерть бойца наступит от потери крови. Доктор жгутом перетягивает саперу ногу и скальпелем пытается отделить ступню. Но раненый поднимает от боли несусветный крик. Тогда врач Дмитриен-

ко, оставив в покое раненого, идет к штабной кухне, берет из дров полено и топор и возвращается к раненому. И... приступает к полевой хирургической операции. Кладет на землю полено, на него ногу раненого, слегка размахивается топором и... тюк! Не успел боец вскрикнуть, как его ступня отваливается вместе с сапогом. Обрубок — культю ноги заливает каким-то, только ему известным раствором и бинтует. Операция закончена. Пациенту дает глотнуть из фляжки спирта.

А больной, задохнувшийся от глотка спирта, кашляет. Потом вытирает на своем лице рукавом пот и слезы, выступившие от перенесенного, и, облегченно вздыхая, тихо произносит: «Зпа-си-бо доктора, ха-ра-шо-о. О, Ала-ах!» и засыпает как под наркозом.

«Аллах» же, забрызганный и с измазанным кровью лицом, в изнеможении опускается на землю рядом с раненым, устало закрывает глаза и от всего пережитого тоже мгновенно засыпает.

Комиссар полка М.Ф.Ниделевич, проходя рядом, тихо трогает врача Дмитриенко и произносит указание: «Стало быть, так! Подводы готовы. Прошу вас лично сопроводить всех раненых в Туапсинский госпиталь, а заодно узнай, в каком состоянии там комэска Горшков».

«Аллах» устало поднялся, потер руками лицо и проговорил: «Я все понял, товарищ комиссар, все будет исполнено, вот только умоюсь и приведу себя в порядок».

Этот случай напомнил нам старую истину: не будь ротозеем на войне, иначе потеряешь голову.

26 августа мы сдавали оборону своего участка стрелковому полку, а сами, согласно приказу по корпусу, готовились к переходу в станицу Анастасиевскую. На отдых и доукомплектование. В приказе, кроме того, особым параграфом предписывалось уничтожить приказы штаба фронта и ненужные для пользования документы хозяйственной и финансовой частей полка, а также полевые

карты Сталинградской и Ростовской областей. Не думали не гадали мы, что придется воевать на Кавказе.

27 августа под вечер штаб получил телеграмму: за успешные бои на Кубани, за мужество и героизм конников нашей 15-й Донской казачьей дивизии присвоено звание гвардейской. Отныне дивизия переименовывается в 11-ю Донскую гвардейскую дивизию, а наш 25-й полк — в 37-й гвардейский казачий кавалерийский полк. Братские полки получают наименования 39-го и 41-го гвардейских.

Мы — гвардейцы! Звучит. С чувством радостной приподнятости примериваемся к новому званию, опробуем его в обращении. Иду к начальнику штаба И.Н. Поддубному.

— Товарищ гвардии капитан, разрешите...

— Я вас слушаю, товарищ гвардии старший лейтенант.

Вызываю коновода Семена Коломийца.

— Товарищ гвардии рядовой Семен Коломиец...

— Я вас слушаю, товарищ гвардии...

Хорошо звучит. Красиво и требовательно! 28 августа во всех подразделениях — праздник. И хлопоты. Политработники во главе с комиссаром полка готовят митинг. Старшины хлопочут о гвардейском ужине с усиленной наркомовской. Казаки починяются, чистят одежду, стригутся, бреются и пишут письма. От писем-треугольничков все тяжелеет и тяжелеет большая сумка полкового письмоносца. Гвардии казаки делятся в тех треугольничках своей большой радостью с близкими и родными.

Доброй печатью праздник лег на нашу боевую жизнь. Вроде мы те же самые, что были вчера и позавчера, в то же время и не те. На новую ступеньку поднялись, в новое качество перешли. Стали гвардией — цветом Красной Армии. А это многое значит!

У нас, работников штаба, праздник несколько омрачен той оплошностью, что мы допустили. Без пяти минут гвардейцы развесили уши, как водолеи из захудалой

пожарной команды. В расположении штаба полка и его служб вражеские лазутчики словно по городскому парку разгуливали. Ничего другого нам не оставалось, как грозить: «Ну погодите, паршивые «эдельвейсы», долг платежом красен. Поквитаемся».

Пришли теплые и сердечные поздравления от командования Северо-Кавказского фронта, лично от командующего маршала Семена Михайловича Буденного, от командования Черноморской группы войск. Поздравили нас урюпинцы. С родным городом, с партийными и советскими органами района полк постоянно держал связь.

На душе — хорошо!

После короткого митинга Евгений Васильевич Данилевич пригласил командиров подразделений, начальников служб полка и стариков-гвардейцев на торжественный обед. Надо было видеть, с какой степенной важностью старики причесывали свои красиво подстриженные седые бороды, подкручивали усы, приглаживали редкие волосы и занимали почетные места за столом справа и слева от командира и комиссара, как распрямленно сидели за столом. На гимнастерках свежо поблескивали новенькие ордена и медали и старые Георгиевские кресты.

В короткой речи Евгений Васильевич вспомнил письмо Сталину, в котором обещали: «Мы скоро из ополченцев будем, обязательно будем гвардейцами». Всего лишь пять месяцев прошло с тех дней, и вот дивизия, полк — гвардейские. И Данилевич дважды поклонился — направо и налево — старикам, ветеранам полка.

— Спасибо, отцы! — растроганно сказал он, помолчал немного, добавил: — Вы помогли командованию воспитать гвардию.

Я поглядел на Никиту Фокиевича Концова, Георгия Ивановича Шурыгина и Петра Степановича Бирюкова. Старики, притихшие и взволнованные, шмыгали носами и терли покрасневшие глаза.

Стол не ломился от яств. Но было много фруктов и легкого грузинского вина. Скоро над садом, где были раскинуты столы, закурчавился махорочный дымок. Пошумнели голоса.

За праздничным столом, за которым ветераны полка вспоминали Урюпинск, Сальск, бои за Кущевскую, павших товарищей, я чувствовал себя неуютно. Я не был в Урюпинске и не видел ни рождения, ни становления полка, я не участвовал вместе с полком в боях под Кущевской, я прибился к полку случайно, всего лишь три недели назад. Так могу ли, имею ли право вместе со всеми называть себя гвардейцем?

Однако, пойду проветрюсь.

Окончательно мое настроение испортил полковой особист. Он крепко подвыпил и начал приставать, почему я явился в полк без госпитальной справки и чем смогу доказать, что где-то лечился: «Уж не палочкой ли, с которой все еще ходишь?» От особиста отделался просто: встал и ушел.

Проходя после обеда мимо полковой конюшни, невольно остановился. Мой коновод Семен Коломиец, обняв за шею Казака, что-то тихо говорил ему и ладонью гладил по холке. Конь положил голову на плечо Коломийца, слушал его и шершавыми губами перебирал гимнастерку. На меня Казак лишь покосился своим большим фиолетовым глазом. Но не поднял головы, не заржал коротко и радостно. Для Казака я был пока никто: не хозяин и не друг. Скорее всего, как однажды сказал полковой конский доктор, — «ездоком ядреной шишкой» и «всадником без головы». Обожгла мысль — нечаянная, ревнивая и, может, несправедливая: и коновод, и Казак тоскуют о первом хозяине. Василия Петровича Горшкова, эскадронного командира, в полку любили. Поминая павших, имя его сегодня первым назвал Евгений Васильевич. Получено известие, что Горшков скончался в Новороссийском госпитале.

Я резко повернулся и зашагал к штабу. На крылечке штаба, как на завалинке деревенской хаты, мирно беседуя, сидели Никита Фокиевич Концов и Георгий Иванович Шурыгин. Я нерешительно остановился возле них.

— А, Евлампий... Если шибко никуда не спешишь, то присаживайся. — Никита Фокиевич подвинулся, освобождая мне место. — Вот сидим с другом и гутарим о том о сем. Допятились до того, что спиной уперлись в самое Черное море и в Кавказские хребты. Когда же будем поворачивать войну назад?

Глава третья

В УЩЕЛЬЕ ПШЕХО

У меня, ПНШ по шифровально-штабной службе, большая неприятность. Она связана с тем особым параграфом из приказа по корпусу, в котором говорится об уничтожении ненужных документов и карт.

Даже вот сейчас, на склоне своих лет, когда пишу эти строки, дрожат руки, а сердце наполняется гневом. Какой-то служака, болеющий манией подозрительности, запросто мог сломать человеческую судьбу. Но верно говорят: мир не без добрых и умных людей. Однако по порядку.

Мне приписывают, точнее — приписывает тот служака, шпионаж в пользу противника и грозят судом военного трибунала. Чем это пахнет, я знаю. Не мальчик.

Документы по письменному приказу командира полка уничтожал я. Дело немудреное. Составил опись бумаг и акт на уничтожение, засунул в печку, поднес к ним спичку и — горите, милые. Печка находилась здесь же, в штабном доме, в моем небольшом кабинете. За моей работой по сжиганию документов наблюдал уполномоченный СМЕРШа полка, или, как мы его звали, особист, лейтенант Мисайлов (фамилию этого человека изменил). Он как бы случайно забрел на огонек. Когда бумаги догорали, я по какому-то делу отлучился к начальнику штаба. Возвратившись в кабинет, застал Мисайлова в странной

позе. На корточках сидит он возле печной дверцы и роется в пепле от сгоревших бумаг.

— Дожигаешь?

Мисайлов молчит. Из пепла он вытаскивает недогоревшие корешки некоторых сшивов приказов по фронту и аккуратно завертывает в газету.

— На память берешь эти огарки?

— На память, — буркает Мисайлов, поднимается с корточек и, ехидно усмехнувшись, уходит.

Я ничего не понимаю.

Проходит день или два. Мисайлов снова появляется у меня.

— Ну, вот что, друг-товарищ, — жестко говорит он, — вели-ка коноводу заседлать твоего коня, и проедемся до штаба дивизии.

— Зачем?

— Узнаешь там!

— Когда ехать?

—Немедленно. И без ординарца.

Я пошел к начальнику штаба. Выслушав, Иван Николаевич пожал плечами. Он тоже ничего не понимал.

— Съезди, узнай, что там стряслось, — сказал он.

В дороге я долго ломал голову, размышляя, почему мной заинтересовался отдел СМЕРШ и зачем меня вызывают туда. Может, хотят побеседовать, проверить, что я за птица?

Человек я в полку новый, к тому же сразу допущен к работе с секретными документами. Шифровально-штабная служба — особая служба. Исполнители ее, наверное, должны находиться под контролем не только прямых начальников, но и у особистов. Однако в других частях — в запасном стрелковом полку, где я тем же занимался, в УРе — никто из особистов не вел себя так вызывающе, как ведет Мисайлов. С особистами в тех частях у меня складывались товарищеские отношения. Даже доверительные. А этот разговаривает со мной, как конвоир с осужденным преступником. Не разговаривает, а рыкает.

И самодоволен, как надутый индюк. Ну что ж, пусть беседуют, проверяют. Каждый должен делать свое дело, а как — это зависит от умения, ума и такта.

Я оборачиваюсь и смотрю на Мисайлова. Он прищуривает глаза, словно прицеливается. По его птичьему лицу бродит злорадная усмешка. «И впрямь конвоир, — думаю я, — даже держится все время сзади. И кобуру пистолета расстегнул».

Мысль возвращается к тому же и снова зудит вопросом: «Зачем?» Может, у работников СМЕРШа дивизии, вот у этого конвоира Мисайлова подозрение вызывал мой жадный интерес к истории рождения полка, мое излишнее любопытство? Но я не бродячий козел, которому все равно, в каком стаде пастись — в коровьем, в овечьем ли. Я должен знать семью, в которой мне придется жить, я должен знать, с кем иду в бой, на смерть.

Я не успеваю додумать. Слева от меня заезжает Мисайлов. Наши кони выравниваются головами. Едем стремя в стремя. Мой Казак недобро косится на чалого, почти белого мисайловского мерина, а Мисайлов косится на меня. На коне он сидит мешком. Посадка у него, пожалуй, хуже моей. Боковым зрением вижу: Мисайлов хочет сказать что-то или спросить. Но я не поворачиваю головы, смотрю прямо перед собой. Я хочу додумать и разобраться во всем. Но нить мыслей оборвалась. Остается лишь повторить: смешно подозревать человека в интересе к истории полка и его людям, право, смешно. Если бы... не было так грустно.

И как прострел: в бумагах, в документах, которые я сжигал, что-то неладно. Неужели я нечаянно обронил какой-то документ совершенной секретности? Нет, исключено. Да и не сидел бы тогда этот лапчатый гусь возле печки, не ковырялся бы в золе.

Я поворачиваю голову к Мисайлову. Спрашиваю его, нет, не голосом, а глазами. Глаза ведь тоже умеют спрашивать. Он сощурился и начал сквозь зубы цедить слова:

— Справочки-то о ранении, хотя бы липовой, почему нет? Не предусмотрел? Впрочем, и госпиталя под номером, что ты в анкете написал, тоже нет.

— Как госпиталя нет? Он же был, я в нем лечился!

— Был, да, видимо, уплыл. Точнее, в воздух, в небо улетел...

— Разбомбили его?

Мисайлов не отвечает. У меня по телу пробегает дрожь. Едем долго. Потом он снова, как коростель, начинает скрипеть:

— А не «друзьям» ли ты приберегал кой-какие штабные документики? Придут в Ходыженскую, заглянут в печку...

Глаза мои, наверное, раскалились добела. От одного лишь взгляда Мисайлов прикусил язык. Сдерживая ярость, тихо, почти любезно спрашиваю:

— А ты что, Мисайлов, Ходыженскую собрался сдавать?

— Я — нет. А кое-кто, пальцем не буду указывать...

— Дурак ты, Мисайлов, и уши соленые! — устало говорю я.

— И это зачтется. — Мисайлов сдерживает мерина и вновь занимает место конвоира.

Теперь мне все ясно. Я успокаиваюсь. Вот и станица Георгиевская. По тихим улочкам едем к штабу дивизии. У большого дома останавливаемся. Спешиваемся. Мисайлов объявляет о моем аресте и ведет меня в отдел СМЕРШа.

В отделе у меня отбирают оружие, документы, снимают поясной и брючный ремни, планшетку и помещают в палатку, что поставлена в саду. У палатки ставят часового.

Я долго стою посредине палатки, раздумывая, что же все-таки случилось. Потом сажусь на деревянный топчан. Невесело усмехаюсь: «Вот так, товарищ гвардии старший лейтенант, ты арестован. Тебе скоро предъявят обвинение в преступной халатности, а возможно, и нечто большее?»

И вдруг от всего происходящего мне по-настоящему становится смешно. Я громко смеюсь. Случилось великое недоразумение. Скоро все разъяснится наилучшим образом. Не может не разъясниться. И тогда вот это мое место на топчане займет... Мисайлов. За дурость свою. А почему бы не занять? Дурость ведь тоже наказуема.

Настроение мое поднимается. Я встаю, хожу по палатке. Три шага туда, три обратно. И насвистываю мотив «Катюши». Поднимается полог. В палатку заглядывает часовой.

— Не можно здесь свистать, — говорит он, подбирая русские слова.

— А что можно? Спать можно?

— Можно, можно. Бай-бай сколько влезет можно, — скалит зубы часовой.

Скоро уже сутки, как я сижу в арестантской палатке. Мне приносят ужин, завтрак, обед. И даже свежую газету Северо-Кавказского фронта. Читаю о Сталинграде. Наши держатся. Бьются за каждый дом. А я вот сижу. Меня не вызывают ни на беседу, ни на допрос.

Наконец, вызов. Иду в сопровождении того часового-автоматчика, который вчера мне сказал, что свистать здесь не можно. В здании часовой останавливается возле двери, обитой черным дерматином. Говорит:

— Сюда надо, к товарищу майору гвардии.

Вхожу. Из-за письменного стола встает майор и идет ко мне навстречу. Протягивает руку.

— Извините, гвардии старший лейтенант. По вине нашего работника произошла досадная ошибка. В ваш полк выезжал следователь и не нашел никакого состава преступления. А что мы стоим? Садитесь, пожалуйста. Донесение на вас и на командование полка... гм... оказалось чистейшей кляузой неумного человека...

Я закрываю глаза. Не знаю отчего, возможно, от пережитого, но мою глотку перехватывают спазмы. Вот-вот разрыдаюсь. Дышу прерывисто, как лошадь после

дальнего пробега. Майор наливает и подает мне стакан воды.

— Спасибо.

— Мисайлова мы крепко накажем, — глухо, как из-за стены, доносятся до меня слова майора. — Если хотите прочитать... гм... его донесение — кляузу, то я могу дать.

Я захотел прочитать. Майор дает мне мелко исписанный лист, сам выходит из кабинета. Во многом обвиняет меня Мисайлов, но глаза мои останавливаются на самом существенном, на моем «преступлении»: что я, старший лейтенант Е.С. Поникаровский, в полк был принят из числа «бежавших (!) с переднего края» и по непонятным причинам без его, Мисайлова, согласия и соответствующей проверки, начальником штаба капитаном Поддубным назначен ПНШ по шифровально-штабной службе, допущен к секретным документам. Что при отходе полка со станции Ходыженская (!), уничтожая секретные документы, умышленно (!) сжег их не полностью, пытался сохранить их в печке для врага (!). Немецкий шпион им, Мисайловым, пойман за руку...

Вернулся майор. Еще раз извинившись, он сказал, что совесть моя чиста, я могу возвращаться в полк и приступать к исполнению своих обязанностей, что командиру полка, комиссару и начальнику штаба дивизионный отдел СМЕРШ тоже принес свои извинения.

Мне возвратили коня, оружие, документы. И я поехал в свой родной полк, который уже передислоцировался в станицу Анастасиевскую. До суда военного трибунала мое «дело» не дошло благодаря честности и порядочности следователя, фамилии и звания которого, к своему стыду, я так и не узнал.

Ну, а Мисайлов? Ни в полку, ни в дивизии его больше я не видел. И, наверное, к лучшему. От встречи, случись она ненароком, ничего хорошего бы не произошло.

Мне всегда нравилась штабная работа, и я знал ее. Но после всего, что случилось, я не мог и не хотел оставать-

ся в штабе. Сразу по приезде в полк я попросил командование направить меня в какое-нибудь подразделение на любую должность.

Не стану возражать, если получу взвод. Возможно, я нехорошо поступал, упрямясь и действуя по принципу некоторых отпетых головушек — «Дальше фронта не пошлют, меньше взвода не дадут». Но во мне бурлила еще какая-то безотчетная обида на всех на свете.

Начальник штаба воспротивился моей просьбе.

— Да вы что, гвардии старший лейтенант, опупели там за двое суток-то?

— Опупеть не опупел, но подумал, чем могло кончиться.

— Плохо подумал, Евлампий Степанович. — Начальник штаба почему-то всегда, когда начинал сердиться, переходил на имя-отчество и на «ты». — Ничем не могло кончиться. На тебе нет никакого темного пятнышка. Приступай к делам.

— Нет, не могу, Иван Николаевич.

Поддубный еще долго уламывал меня. Но я стоял на своем.

— Тогда ступай к командиру полка.

Гвардии майор — уже майор! — Данилевич понял мое состояние и согласился уважить мою просьбу.

— На минометную батарею пойдешь? — спросил он.

— Охотно, — ответил я. — Только как же на живое...

Не договорил. Больно сжалось сердце. По спине пробежал неприятный холодок. Уж не убит ли в мое отсутствие командир минометчиков капитан Кривошеев?

У артиллеристов и минометчиков я бывал чаще, чем в сабельных эскадронах. К богу войны, артиллерии, к самоварам-самопалам, как называли минометы, я относился с особым уважением и почтительностью. Может быть, потому, что знал это оружие более, чем какое-либо другое. Оно было основным в УРе. К тому же с командиром минометной батареи капитаном Кривошеевым был в

дружбе, хотя нас чуть не в два раза разделял возраст. Капитан называл меня сынком. Впрочем, в батарее он всех казаков называл сынками. Ну, а мы, штабные работники, звали Кривошеева папашей.

У папаши была маленькая причуда. Но, возможно, и не причуда. Он питал слабость к комсоставскому обмундированию и снаряжению. Где и когда бы его ни встретил: на огневой позиции или на марше, на наблюдательном пункте или на совещании в штабе полка, днем или ночью — капитан всегда был в полном убранстве и наряде: на голове каска, на плечах бурка, под буркой шинель, затянутая ремнем со шлейкой (портупеи не признавал), на шее бинокль, на одном боку командирская полевая сумка, до отказа набитая уставами и картами, шашка, на другом — противогаз, на ремне пистолет и фляжка-манерка. Полная выкладка! Зато комбат всегда был готов и к бою, и к походу. Любители почесать языки поговаривали даже, что папаша и спит во всем этом великолепном облачении. Постоянной готовности к бою и к походу Кривошеев неукоснительно требовал и от «сынков» своих — минометчиков. Не терпел он всякую небрежность, этаких нерях и растерях — их он немилосердно отчитывал. А еще он был заядлым курильщиком. На его губах всегда дымилась козья ножка, которую одну за другой искусно закручивал коновод комбата казачок Сеня Комарь. Пышные седые усы Кривошеева, подпаленные козьими ножками, давно приобрели желтый табачный цвет. При переходе через последний перевал папаша потерял очки и без них жестоко страдал. Штабные бумаги, газеты теперь ему читал незаменимый и исполнительный коновод Сеня Комарь. Причем чтение-слушание чаще всего происходило во время еды. Устроится комбат где-нибудь под деревом с собственным котелком (у котелка тоже было свое место, он приторачивался к седлу), зовет Комаря:

— Ну-ка, сынок, начинай читать. Да не части, не торопись, чтобы я прожевать успевал...

— Так что же случилось с папашей?

— Не пугайся, — сказал командир полка, — с папашей ничего не случилось. Домой его отправляем, комиссуем. Худо стал видеть. Да и годы подпирают: давненько за шесть десятков перевалило. Старик, совсем старик.

У меня отлегло от сердца. Евгений Васильевич вздохнул. Потеплели его глаза, и даже голос стал мягче, душевней. Так говорят сыновья, вспоминая своих отцов.

— Пожалуй, еще кой-кого следует комиссовать. Трудно старикам тянуть солдатскую лямку. Послужили, повоевали, довольно. Пусть теперь кости погреют гвардейцы. Всем полком спасибо скажем на прощание. Они заслужили того своей лихостью, бесстрашием, хладнокровием и стойкостью в бою. На их примере, под их присмотром учились и воспитывались молодые казаки. Старики помогли дивизии завоевать гвардейское звание.

Командир полка умолк. Какое-то время смотрел в окно на испятнанный охрой лес в горах и, наверное, все еще думал о ветеранах. Потом обернулся ко мне.

— Так на минометную?

— Хотелось бы...

— Ну что ж, — по лицу гвардии майора скользнула улыбка, — забайкальцы в таком случае сказали бы: «Дуй, паря. Ни пуха тебе, ни пера!»

— И вы это говорите мне?

— Я забайкалец.

Я усмехнулся. Это вышло как-то помимо моей воли. За короткое время, что я нахожусь в казачьем полку, сколько раз слышал эту фразу. Вариации ее были разные, но суть одна. Иван Николаевич Поддубный: «Забайкальцы — крепкие мужики». Корней Тимофеевич Ковтуненко: «Я дважды казак: по рождению — терский, по воспитанию — забайкальский». ПНШ Горковенко и командир полковой разведки Кальмин: «Мы — забайкальцы». И вот теперь командир полка о том же: «Я забайкалец».

Я знал: никто из названных не был коренным забайкальцем. Но при всяком случае: заходил ли разговор о становлении человеческого характера, о воспитании ли

мужества и стойкости у бойца, о выработке воли и других необходимых солдату и командиру качеств — каждый из них непременно вспоминал Забайкалье. Скромно, не навязчиво, но всегда с подчеркнутым достоинством.

Когда-то в школе я «проходил» Забайкалье по учебнику географии. Но пройденное давно забыто. Так что же это за неведомый край такой, о котором говорят с такой душевной гордостью?

Усмешку я быстро стер, но от внимательного взгляда Евгения Васильевича она, видать, не ускользнула. Он круто сдвинул брови и, как бы отвечая на мой невысказанный вопрос, довольно сухо заметил:

— Между прочим, Забайкалье испытывает людей на прочность и создает эту прочность. Оно воспитывает у бойца и командира мужество и стойкость, верность дружбе и слову.

И без всякого перехода:

— Минометчики вас ждут.

В тот же день я принял батарею.

Военные люди нечасто любуются картинами природы. Пейзаж для них исполняет служебную роль. Реки, горы, ущелья, леса — это водные преграды, высоты, посадочные площадки, ориентиры, населенные пункты. Кавказский пейзаж, кавказские горы и ущелья с их тропами у нас, кавалеристов, сидят в печенках. Но после пятинедельной передышки мы снова карабкаемся в горное поднебесье, туда, где живут орлы. Обстановка на нашем участке фронта сильно осложнилась. Немцы не оставили мысль пробиться на Черноморском побережье, к Туапсе. И лезут сюда остервенело. Им удалось захватить гору Шаумян, прорваться в долину реки Пшиш, оседлать некоторые перевалы. Бои на перевалах и в ущельях не прекращаются ни днем, ни ночью. Появилось Лазаревское направление. Еще 21 сентября нашу 11-ю гвардейскую дивизию включили в создаваемую Лазаревскую группу

войск. Альпийские горные егеря прорвались в долину реки Пшехо. Навстречу им, в район поселков Рожет и Маратуки, сейчас и выдвигают нас. Задача ставится жесткая: марш совершить в течение дня, остановить гитлеровцев, запереть их в долине, в ущелье. Два полка дивизии идут в конном строю по долине, наш 37-й — через перевал Мезецеу.

Шоссейная дорога от станицы Лазаревской вполне приличная, и полк быстро выходит к подножию хребта. Начинается подъем. Первую половину его преодолеваем легко. Но дальше движение резко замедляется. Мешают огромные валуны и лесные завалы. А тут еще на нашу беду начинается дождь. На дороге сначала появляются ручейки. Дождь усиливается. Он хлещет как из ведра. Сплошная водяная стена. Крутая дорога превращается в русло бешеного потока. Потоком сверху прет бревна, пни, камни, глыбы земли. Движение остановилось, застопорилось. Артиллерийская батарея сползает вниз, к подножию. Кажется, все силы небесные ополчились против нас. А тут наступила ночь.

Длинную осеннюю ночь мы простояли в воде. Вода лилась сверху, текла внизу. Под утро дождь перестал. Пришлось развести костры, чтобы хоть мало-мальски просушить одежду и погреться горячим чаем. Огонь разводить не опасались: горы окутал плотный туман.

С появлением солнца двинулись дальше. Дорога после ливня была изрыта канавами и ямами-промоинами, перегорожена упавшими деревьями и каменными осыпями. Всем пришлось браться за ломы, пилы, лопаты, а обозные повозки разгружать, как бывало не раз раньше, и имущество брать на вьюки и собственные плечи. На перевал нам удалось подняться лишь к концу второго дня. На 14 километров подъема полк затратил целые сутки! Не обошлось без потерь: несколько повозок смыло в ущелье, камнями покалечило некоторых лошадей. Вот тут и подумаешь, как шутить с природой. За неуважение она жестоко наказывает.

С перевала стали слышны звуки далекого боя. Бой вел, как выяснилось позднее, 41-й полк нашей дивизии. Опоздай тот полк, как опоздали мы, противник мог бы захватить перевалы, от которых до побережья оставалось рукой подать.

Спуск в долину реки Пшехо был не менее трудным, чем подъем: те же валуны, осыпи, ямы, упавшие деревья.

Под вечер следующего дня полк вышел к селу Рожет, которое находилось в двенадцати километрах южнее Нефтегорска. Здесь мы оставили весь обоз и коней, а сами пехом поспешили на помощь 41-му полку, который дрался за село Маратуки.

Злой атакой двух спешенных эскадронов, поддержанных минометным огнем, мы вышибли из леса егерей и начали их преследовать. Но скоро сами попали под губительный артиллерийский и минометный огонь противника, который велся из села Котлованы и господствующих над долиной гор Оплепень (на картах обозначена как высота 1010) и Утюг. Пришлось остановиться и зарываться в землю.

Ночью подошли 39-й полк и две батареи тяжелых 120-мм минометов 182-го артминометного полка. Теперь вся дивизия сбилась в узкой долине реки Пшехо.

На рассвете следующего дня началась минометная дуэль. Мы кидали свои «гостинцы» снизу вверх, на высоту 1010, противник долбил нас сверху. Он был в более выгодном положении. Наши позиции были у него как на ладони, мы же, снизу, противника почти не видели. Немцы простреливали каждый метр дороги, склоны, расщелины. Скоро им удалось накрыть и вывести из строя одну батарею тяжелых минометов.

Но и мы немало досаждали врагу, нащупывая одну за другой и гася его огневые точки. Я любовался (если в той обстановке возможно любоваться) виртуозностью и истинно снайперской стрельбой минометных расчетов из взводов Рыбалкина и Ромадина и добрым словом поми-

нал моего предшественника капитана Кривошеева. Папаша воспитал настоящих мастеров огня.

Днем 39-й полк попытался атаковать село Котлованы. Но атака не удалась. Хотя казаки двух эскадронов и ворвались в село, но очистить его и удержать не смогли: с вершин Оплепени и Утюга противник буквально засыпал казаков снарядами и минами, задавил пулеметным огнем.

День был солнечный, ясный. Появились вражеские самолеты, и на нас с неба посыпались бомбы, а с гор — мины, гранаты и даже камни. Особенно сильной бомбежке подверглось село Маратуки. В нем находился штаб и тылы нашего полка. Одна из бомб угодила в штаб. Погибли начальник штаба капитан И.Н. Поддубный и его помощник старший лейтенант Горковенко. Утрата для полка большая. Но в бою надо думать о живых. Известие о гибели Ивана Николаевича, забайкальца, сначала я как-то не воспринял. А вечером ко мне пришла боль. Никто другой, а Иван Николаевич первым сказал мне: «Быть тебе казаком!» Под его началом легко работалось. Я его очень уважал.

И вот мы прощаемся с нашим славным товарищем. Тишину стегнули недружные залпы салюта. Командир полка поник головой. Он хоронил не просто земляка-забайкальца, не просто начальника штаба — друга, вместе с которым ели один хлеб в Даурии.

Меня снова отозвали в штаб полка. На этот раз отказываться не посмел.

Беда учит. Из сел Маратуки и Рожет все штабы и тылы ушли в лес, в скалы. И вовремя. Немцы продолжали села бомбить. В одном из очередных налетов не стало села Рожет. Его сровняли с землей и перемешали с камнями. К счастью, всего лишь накануне оттуда ушли тылы нашего полка. Первые бои в ущелье показали: взять и удержать село Котлованы, а затем село Кушико, прочно закрепиться в них, а значит, и в ущелье, мы можем при

условии, если собьем и сгоним альпийских егерей с гор Оплепень и Утюг.

Снова дожди. Черные лохматые тучи наползали из-за гор и опрастывались холодными ливневыми струями или мелким и нудным сеянцем. В долине стало сыро, холодно и промозгло, как в погребе. Всюду была вода. Она заполнила долину. Она хлюпала в окопах и траншеях. Она сочилась из-под камней и земли. Казакам приходилось делать в окопах подмостки, а одежду сушить своими телами. Пробовали разжигать костры, но враг тут же начинал их гасить пулеметами, минометами, пушками. «Ну, раз так, — решили казаки, — то назло будем кострить». И разводили их вдалеке от позиций, на пустырях. «Теперь лупите сколько влезет!» И немцы лупили. На ложные позиции сыпались сотни мин и снарядов. Даже авиация на этот крючок клевала.

Тяжело воевать среди гор, ущелий и скал. Тут не развернешь подразделения по фронту. Кругом теснота. Плохо с подвозом боеприпасов и продовольствия. Да вот еще этот дождь. Много тягот выпало на нашу долю. Но переносили их стойко и сражались. По военной терминологии — вели активную оборону. У казаков же была и своя терминология, которая выражала ту же самую суть: не ждать, когда жареный петух клюнет, а искать этого петуха. И бить, не давая противнику покоя ни днем, ни ночью. Штурмовать, делать шквальные огневые налеты, будить ночью, прерывать ему обеды и ужины, подстерегать в лесной чаще, перехватывать на дорогах и тропах, укокошивать снайперскими выстрелами. Пусть сама казачья форма — черная бурка, черная лохматая папаха с красным верховищем и шашка — наводит на врага ужас, пусть живет он в постоянном страхе.

Подразделения, сменяя друг друга, малыми группами штурмовали гору Оплепень. Штурм не прекращался ни на час. То в одном месте, то в другом к вершине подбирались малые группы или одиночки. Подняв шум-тарарам, отходили.

В один из дней всей дивизии стал известен подвиг 64-летнего казака-гвардейца из пулеметного эскадрона Петра Степановича Бирюкова. Того самого Бирюкова, который в Урюпинске просил коммунистов снарядить его ходоком в Москву, к Сталину, чтобы спасти казачье ополченское соединение от расформирования. Того самого, что в бою за хутор Бирючий своим «максимом» надежно прикрывал наступление двух эскадронов и с близкого расстояния расстрелял два вражеских бронетранспортера. Наконец, того самого, что под Ходыженской, находясь в боевом охранении, в засаде, фланкирующим огнем снова продырявил три бронетранспортера. Оставшись на своей позиции, прикрыл переход эскадрона на улучшенную позицию. В станице Анастасиевской командир полка намекнул Петру Степановичу, что вместе с комбатом Кривошеевым и он мог бы комиссоваться и поехать домой, да где там. Бирюков до того обиделся, что с жалобой на полковое начальство дошел до комдива, Сергея Ильича Горшкова.

Так вот, этот самый Бирюков с гранатами подобрался к самой вершине Оплепени, не спеша огляделся там и приступил к войне. Для начала выбрал заслуживающую внимания цель — пулеметную точку. Кинул гранату. Пулемет вместе с дремлющими пулеметчиками взлетел на воздух. Из укрытий и землянок стали выскакивать в траншею егеря. Кинул гранату туда. Добавил еще одну. Из траншеи полетела немецкая, с длинной рукояткой, граната. Изловчился, поймал и вернул ее хозяевам. Не жалко. Началась заполошная стрельба, целый бой, в котором Бирюков был ранен. Но старый казак нашел в себе силы, чтобы под прикрытием товарищей вернуться на свои позиции.

Гитлеровские горные егеря нервничали, стервенели. На наших позициях то и дело с сильным лопающим звуком рвались мины. От пулеметных и автоматных пуль, кажется, сам воздух звенел. По крутому склону Оплепени катились, подпрыгивая, словно мячики, гранаты и рвали

землю и камень. Лоб горы, бока ее обдавали огненные и дымные волны — немцы в ход пустили огнеметы. Скоро вся гора стала угольной, черной. Всю зелень, какая была, кустарник скосили, выжгли. А земля в долине была исклевана воронками, перерыта и перепахана, как в огороде. Но казаки стояли. Приходилось дивиться и спрашивать себя: где предел человеческих сил и есть ли он? Кто может знать возможности, заложенные в человеке?

Каждый день мы отдавали дань войне. Потери становились угрожающими. Сколько еще времени будет продолжаться наше сидение в долине, в горной щели? Командование дивизии и полков беспокоил и другой вопрос: немцы, владея горами Оплепень и Утюг, селами Котлованы и Кушико, держали под контролем всю долину реки Пшехо и могли скрытно накапливать силы для удара на Лазаревку. Чтобы сорвать замыслы врага, нам во что бы то ни стало надо выбить гитлеровцев из этих опорных пунктов.

В обычное время Пшехо — очень быстрая горная речка с каменистым руслом. Много перекатов. В иных местах такое нагромождение камня, что сам черт ногу сломит. Но все же удобную переправу найти можно. Сейчас же, после недельных дождей, речка вздулась, вылезла из берегов и затопила все низины. В узких местах она стала похожа на разъяренного зверя: гремит, ревет, рычит — не подходи.

Внимание к берегу у гитлеровцев ослаблено. Этим-то и решено воспользоваться. Для операции создается сильная дивизионная ударная группа из трех эскадронов — по эскадрону из каждого полка. Замысел дерзкий: под покровом ночи переправиться на правый берег, зайти в тыл противника и разгромить его гарнизон, сидящий на горе Утюг, который больше всего досаждает артиллерийским и минометным огнем, а сам почти недоступен, и захватить деревню Кушико, через которую идет все снабжение вражеского гарнизона.

Возглавил группу командир 39-го полка. Для оперативного руководства в бою при командире создали маленькую штабную группу, в которую вошел и я. Бойцы ударной группы — физически наиболее крепкие и выносливые. Майор отбирал их лично. Переправа — самая трудная часть задуманного дела. От нее зависел успех всей операции. На правый берег Пшехо мы должны были перебраться по канату, низко натянутому между скалами в узком ущелье над гремящим и ревущим потоком.

В горах осенняя ночь наступает быстро. Едва солнце скроется за дальним горным кряжем — в ущелье уже темно. Мы начали переправу. Для меня лично она не страшна. Уж если через Керченский пролив я смог перебраться на автомобильной камере, то через какой-то «ручей», да еще с помощью каната, переберусь. Казаки привязываются к канату ремнями. Первый входит в воду, быстро перебирает канат руками. Пошел, поплыл, поехал. Второй, третий... Дело налаживается. Но вот кто-то понадеялся на свою силу и не привязался ремнем. Силы не хватило. На середине потока его оторвало, и казак сразу исчез в бушующем потоке. Даже крика казака никто не услышал — его заглушил рев реки. Время не ждет: скорее, скорее, скорее. Через три часа переправа закончена. Потеряли пять казаков. Ждем, когда последние переправившиеся выльют воду из сапог, выжмут портянки и одежду.

Считаем: первая часть операции выполнена успешно. Теперь — в бой. Если противник не расчухал, то мы как летний снег свалимся на его голову. Командир группы созывает командиров и каждому эскадрону ставит задачу.

Обходим гору Утюг. Пока все тихо, спокойно. Противник не подозревает, что над его головой занесен карающий меч.

Началось все по-будничному просто. Тихо сняли жидкие спящие заслоны. Тихо подобрались к огневым позициям сразу двух минометных батарей, застав гитлеровцев тоже спящими. Теперь тишина нам не нужна. Нужен

был треск и грохот. Выскакивающих из землянок егерей мы глушили гранатами, били прикладами, косили автоматными очередями. Какие-то минуты — и с батареями все покончено. Не задерживаясь, двигаемся дальше. По всей вершине стрельба, взрывы гранат и могучее русское «ура!».

Наступает рассвет. Ошалелые гитлеровцы мечутся в панике.

В какую сторону ни толкнутся — всюду нарываются на наши автоматные очереди. На вершине Утюга захватываем несколько пулеметных точек. Егеря, отстреливаясь, пытаются бежать в свои тылы, к селу Кушико. Но село уже захвачено одним из эскадронов группы. Деваться некуда. Непобедимые «эдельвейсы» тянут руки вверх.

С гитлеровцами покончено. Гора Утюг наша. Село Кушико наше. Путь в село Котлованы открыт. Командир ударной группы дает зеленую ракету. Дымным хвостом, прочертив крутую дугу, ракета рассыпается на зеленые звездочки.

Но задуманная операция имеет еще третью часть.

Ночной бой на Утюге и в селе Кушико и их скорое падение вызвали переполох среди гитлеровских гарнизонов на горе Оплепень и в селе Котлованы. Здесь аукнулось — там откликнулось, откликнулось растерянностью, а потом поспешным бегством.

Поднялись полки в долине реки Пшехо. Атаковали дружно и стремительно. И через два-три часа в селах Котлованы и Кушико атакующие встретились с «ударниками».

Красивая, замечательная операция!

Заняв Утюг и Оплепень, села Котлованы и Кушико, мы намертво закрыли всю долину реки Пшехо.

Мы не могли забыть того случая, когда разведка «Эдельвейса» проникла на станцию Ходыженскую и чуть не уничтожила штаб полка. Еще тогда мы были готовы сделать вылазку во вражеский тыл. Но командир дивизии остудил наши горячие головы, резонно заметив, что по-

сле драки кулаками не машут. Сейчас же сам намекнул, что не худо бы прогуляться по вражеским тылам и прощупать этих самых «эдельвейсов».

Речь шла о глубоком рейде.

Командир дивизии приказал временно исполняющему обязанности командира нашего полка майору Иванову готовить такой рейд. Старого командира полка Евгения Васильевича Данилевича откомандировали в 12-ю казачью кавалерийскую дивизию.

В рейдовый отряд отобрали сотню лихих и смелых казаков. Его возглавили комиссар полка Ниделевич и исполняющий обязанности начальника штаба старший лейтенант Ковтуненко. Рейд длился ровно неделю. Внезапные атаки казаков переполошили немцев. У страха, говорят, глаза велики. Во вражеском стане распространились слухи о том, что с гор спустилась дивизия.

Казаки дошли до станции Апшеронской и целые сутки держали в блокаде ее большой гарнизон.

Рейдовцы вернулись с большой добычей: приволокли с собой захваченного в одной из станиц гитлеровского полковника — важную шишку из штаба командующего «кавказской армией» фон Клейста.

На допросе этот гитлеровский выкормыш хныкал. Они, немцы, видите ли, очень надеялись, что казаки Дона не станут оказывать им сопротивления, что они, мол, обижены на Советы и перейдут на их сторону. «А почему вы воюете против нас, вот это нам непонятно?» — задает нам вопрос этот гитлеровский нахал, даже находясь в плену.

...30 октября свой участок обороны дивизия сдала стрелковому соединению. Нас же выводили в Лазаревскую. Покидали мы долину реки Пшехо и горы с радостью. За сорок дней боев в этих местах мы крепко устали. Но больше всего досталось нашим коням. Организовать подвоз фуража сюда было невозможно, и лошади голода-

ли. Их кормили листьями, ветками, желудями. Коноводы нередко отдавали свои хлебные пайки. Но разве пайком прокормишь лошадь? Кони сильно похудели. Их шатало ветром. На них больно было смотреть.

Об октябрьских боях нашей дивизии в «Истории Великой Отечественной войны» сказано: «В этих боях мужественно сражались бойцы и командиры... 11-й гвардейской казачьей кавалерийской дивизии».

В Лазаревской мы долго не задержались. Дивизию погрузили в вагоны и отправили на юг. Пока на юг.

Глава четвертая
КИЗЛЯРСКИЕ БУРУНЫ

Наш 37-й гвардейский — на марше.

Пески, пески. В какую сторону ни глянешь — всюду пески. Мелкие, сыпучие. Они лежат желто-бурыми волнами и при движении воздуха шевелятся, словно морские волны. Гребни волн курятся, а народ называет их бурунами.

Мы бредем, по колено утопая в песке. Сесть на лошадь нельзя — она сразу вязнет по брюхо и начинает прыгать по-заячьи. После нескольких скачков выбивается из сил. Колеса повозок и бричек проворачиваются медленно, со скрипом и хрустом — песок в ступицах. Нечем дышать. Песок забивает нос. Песок хрустит на зубах. Песок в ушах, за воротом, за пазухой, в сапогах. Больно глазам. Веки щиплет, царапает. Ресницы в желтом куржаке. Лошади кашляют, чихают, отфыркиваются. Ресницы их глаз тоже в мохнатом желтом куржаке. Воздух вокруг желтый, мутный.

Колонной идти нельзя. Первые подразделения пройдут, а вслед идущие будут захлебываться пылью и барахтаться в сыпучей массе, как барахтаются в воде не умеющие плавать. Приходится рассредоточиваться и двигаться развернутым строем поэскадронно и побатарейно. По непотревоженному, уплотненному ветрами и дождями песку идти легче. И все равно за подразделениями остается бурая туча, которая долго не оседает.

Такие-то вот знаменитые кизлярские буруны!

Особенно тяжело подниматься на гребни волн-барунов. Ноги в них вязнут по колено, а вместе с песком катишься в низ буруна и сам. Чертыхнешься, переведешь дыхание и снова лезешь на гребень. Страшно хочется пить.

Переменчива военная судьба, и безвестны ее дороги. Еще какую-то неделю назад мы были на теплом морском берегу и самыми последними словами кляли горы, протыкающие небо, и чертовы ущелья. Не прошло и двух суток, как разбитые и скрипучие теплушки доставили нас на берег Каспийского моря, по-осеннему хмурого и сумрачного. Словно во сне промелькнули и остались позади настороженные города: Сухуми, Тбилиси, Баку, Махачкала.

Высадились мы на станции Каргалинской. Мылись и парились в бане. Заменяли изношенное, изопревшее, прожженное у костров, изодранное в горах до лохмотьев белье и верхнее обмундирование. Как же хорошо и сладко после заскорузлого, с запахом кислого кваса и пота белья надеть на себя новую нательную рубаху и такие же кальсоны, новую гимнастерку-хэбэ и теплые ватные штаны.

Там, в Каргалинской, мы перешли на зимнюю форму одежды, получив телогрейки, полушубки, шапки. Там же пополнились недостающим вооружением, боеприпасами, конями, людьми. По бледным, без загара, лицам многих бойцов из пополнения нетрудно было понять, что они явились из госпиталей, что они бывалые воины. Но пришли и новобранцы, совсем юные ребята-кавказцы. Мы их встретили так, как когда-то встретил меня И.Н. Поддубный: «Быть вам казаками».

6 ноября, в канун великого праздника, двинулись в Кизлярские буруны. Новый театр военных действий. От того, где нам пришлось воевать, он отличается, как небо от земли. Но привыкай, приспосабливайся, казак! Воевать конникам в горах трудно. Здесь, в песках, кажется, не легче будет.

Для обороны нашему полку отведен участок перед хуторами Тарским и Дадынкином. Туда мы сейчас и пробиваемся. Медленно, по-черепашьи, но все-таки пробиваемся.

От казака к казаку, по цепочке, передается команда:

— При-вал!

Круто вздымаются бока лошадей, с них стекают и падают на желтый песок ошметки желтой мыльной пены. Тяжело беднягам. Привалы повторяются через каждые два часа. Большего времени в пути лошади не выдерживают, как не выдерживают и люди.

К исходу дня выходим из самого гиблого и тяжелого участка бурунов. И сразу же останавливаемся на большой привал, на отдых. Начинает дымить походная кухня. У казаков много дел. Перво-наперво надо напоить лошадей. Старшины выдают воду по строгой норме — с водой плохо. Еще в Каргалинской нас предупредили, что в бурунах воды нет. Перед маршем мы заполнили водой все посудины, какие имели и какие нашли: от фляжек до бочек. Но надолго ли этих запасов хватит? Ведь только лошадей у нас около тысячи. Вода есть на хуторах, в колодцах. Но неизвестно, в чьих руках те колодцы.

Водопой закончен. Казаки задают коням корм и сами готовятся к ужину и ночлегу.

Утром, когда полк собирался продолжить марш, вернулись разведчики, высланные вперед еще накануне. И не одни, а с добычей. Это было странное зрелище. Первым, ведя в поводу усталого коня, шел сержант Лавриненко. К седлу его лошади была привязана длинная веревка. На конце той веревки со связанными руками переставляли ноги два здоровенных фрица. На широкой спине одного из них «ехал» разведчик Раковский с забинтованной ногой. Шествие замыкал Кальмин, командир полковой разведки, тоже с конем в поводу. К седлу его коня были приторочены пять немецких автоматов и какие-то сумки,

Лейтенант по всей форме доложил командиру полка, что ночью, на подходе к хуторам, они неожиданно стол-

кнулись с вражеской разведкой. Была короткая схватка, в которой троих гитлеровцев они отправили на тот свет, а вот этих двоих, — лейтенант показал на пленных, — скрутили живехонькими.

— За «языков» спасибо, а вот за спектакль, что устроили...

— Товарищ майор! — взмолился Николай Кальмин. — Никакого спектакля не устраивали. У казака Раковского вот этот тип, — лейтенант кивнул на одного из гитлеровцев,— убил коня, а самого ранил. Вот и вез... Он же как бугай. Я и Лавриненко, когда брали, едва управились с ним...

— Ладно, артист, — махнул рукой майор Бобков. — Спектакля, считай, я не видел.

Командир полка майор Бобков был у нас новым человеком. Он вступил в командование на станции Каргалинской. Раньше воевал под Москвой в корпусе Доватора. Был тяжело ранен и на лечение отправлен на Кавказ. Недавно выписался из госпиталя. Не знаю, случайно или не случайно майор назвал лейтенанта Кальмина артистом. Только тот в самом деле до призыва в армию учился не то в театральной студии, не то в музыкальном училище в Сталинграде. У него был приятный голос. И вечера, проведенные с ним, для командиров штаба были приятным отдыхом.

Захваченные разведкой «языки» не запирались. Из их показаний обстановка прояснилась. Хутора, куда мы шли, были заняты противником. Подтвердилось самое худшее. Нам грозит безводье. Уже сейчас, через сутки марша, нет воды. Запасы, взятые из Каргалинской, кончились. А дальше что? Водяной голод?

Командир полка оказался предусмотрительным человеком. Перед тем как дать команду «По коням!», вызвал к себе заместителя по хозяйственной части капитана Мирошниченко и командира четвертого эскадрона старшего лейтенанта Конадюка, приказал им собрать все сво-

бодные емкости и с эскадроном двинуться в ближайшие калмыцкие улусы на поиски воды.

Всего несколько дней прошло, как полк принял майор Бобков. Но мы, командиры подразделений, увидели: появился заботливый хозяин, смекалистый и толковый мужик. Не то что новый начальник штаба майор Башмаков (фамилия его изменена). Он пришел к нам в Лазаревской. Но что он за человек, мы еще понять не можем. Помалкивает себе и все. Ни дельного предложения, ни ясного распоряжения. Полковые острословы с первых дней прилепили ему прозвище: Сапог.

На привале перед последним переходом некоторые казаки принялись отрывать себе окопчики и ямки, чтобы хоть ненадолго спрятаться от колючего и пронизывающего ветра. На этом привале мы увидели, как страдают лошади от жажды. Они кидались к редким снежным пятачкам и лизали, прямо-таки всасывали снег. Чтобы облегчить жажду и страдания своих боевых друзей, мы котелками, чуть ли не ложками стали собирать снег и растапливать на огоньке.

Последний переход до цели, указанной в приказе. Идти стало легче. Не стало уже бурунов и волн сыпучего песка. Перед нами слегка всхолмленная степь. Грунт нашей «дороги» (двигались по азимуту) уже твердый, ноги коней и колеса теперь не проваливались, а кое-где так твердо, что даже не заметно наших следов — так спрессовал ветер песок. В степи, хотя и редкая, но есть трава. Сейчас она стала ветошью, но это все-таки лучше, чем листья деревьев Кавказа. Попадаются и кустарник, и овражки — в них мы пока и укрылись от наблюдения противника, спрятали все наши тылы, в том числе и лошадей. Только вот не баловала нас погода. С утра дует сильный ветер, скручивая в змейки песок со снегом. Одеты мы были тепло, по-зимнему, но холод все равно проникал под одежду, студил руки и ноги, до красноты обжигал лицо.

После полудня полк вышел к хутору Тарскому и под прикрытием невысокого холма стал зарываться в землю,

строить огневые позиции, создавать оборонительный рубеж. Немцы почему-то нам не мешают в этой работе.

Перед рассветом четвертый эскадрон вернулся из калмыцкого улуса и привез воду. Но как он ее ни сберегал, довез только половину. Другую половину расплескал по бездорожью. К тому же вода оказалась несвежей, мутной, с нехорошим душком. Заместитель командира полка по хозчасти Мирошниченко и командир эскадрона доложили, что население ближайших улусов ушло в глубину степей, колодцы завалены, с немалым трудом набрали вот эту.

Хоть худая вода, все-таки вода. Но — мало! Делить ее на лошадей пришлось чуть ли не кружками. Да разве кружкой коня напоишь! Воду брать надо у противника. Другого выхода не было.

Первый эскадрон готовится к атаке на хутор Тарский. Командир эскадрона старший лейтенант Сапунов скачет от взвода к взводу. Его, маленького ростом и подвижного, в полку зовут Колобком. Перед атакой он проверяет у казаков оружие, запас патронов и гранат. Проверив, повзводно по лощинке уводит к хутору. Намечена разведка боем. Если она будет успешной, если силы противника невелики, то на поддержку эскадрона придут другие.

Казаки первого эскадрона развернулись в цепь, в атаку пошли дружно, но под сильным огнем вынуждены были залечь, а затем отойти. Успеха бой не принес.

Вечером, едва только на землю опустилась сизая хмарь, тишину раскололи залпы нашей полковой артиллерийской батареи и минометов. Били по огневым точкам. Подразделения вышли на рубеж атаки. На хутор навалились всем полком и быстро очистили его от гитлеровцев. Они бежали в другой хутор — Дадынкино. Теперь вода — наша! Подразделения запасались ей всю ночь; наливали в бочки, фляжки, в цинки из-под патронов и везли, и несли в свои тылы, там досыта поили коней. Суматошная была ночь.

Утром немецкие автоматчики, поддержанные танками, пошли в яростную контратаку и нас выдавили из хутора. Вода стала снова немецкой. Началась война за воду.

На третий день всем полком атаку мы повторили. Выбив гитлеровцев из хутора, закрепились в нем. А еще через неделю заняли хутор Кизыл. В нашем распоряжении теперь было четыре колодца. Вода, вода... Кто ею владел, тот становился господином положения на поле боя.

ПНШ Корней Ковтуненко назначен ответственным по забору воды из колодцев. Казаки его окрестили «Водяным». В его обязанности входило упорядочение забора воды подразделениями, контроль за строгим соблюдением графика.

Противник не хотел мириться с потерей колодцев. Он начал бить по ним тяжелыми снарядами. Око видит, да зуб не берет, так хоть обстрелами досадить. И досаждали. Возле колодцев гибли люди и лошади, в щепки разлетались повозки и дырявились бочки. От обстрелов мы несли потери еще и потому, что немцы на этот раз отказывались от привычного им педантизма и методичности. Огонь они вели бессистемно, днем и ночью.

Но какой бы огонь ни был и как бы он ни велся, воду брать надо. Приходилось играть в прятки со смертью. Одни удачно попадали в паузы между обстрелами, других накрывало. Смерть была платой за глоток воды. Но если колодцы обстреливались без обычного педантизма, то минометчики строго блюли порядок. Только мы сядем завтракать, слышим — визжат, как поросята, их мины и глухими хлопками рвутся у наших позиций.

— Ну, опять дополнительные пайки кидает Фриц, — пошутит кто-нибудь хмуро. На обед и на ужин «доппайки» были увесистые. Но батарейцев приводило в ярость их нахальство и наглость. Дело в том, что после обеда, обычно группами по три человека, они выходили на скат высоты, обращенный в нашу сторону, спускали штаны и выставляли свои арийские зады. «Мол, натесь-ка, полю-

буйтесь, Иваны!» Одна группа, справив свои надобности, уходила, а другая появлялась. Не в бинокль, а простым глазом все это было нам видно.

— Ну ладно, гитлеровские выкормыши, проучим вас когда-нибудь, — говорил я, наблюдая такое хулиганство немцев.

— Какое им время давать, — горячился командир 2-го взвода Юрий Ромадин. — Они нам дают время спокойно покушать? Нет, надо немедленно кончать с их «позированием». Товарищ комбат, разрешите нам подкинуть им хотя бы парочку чугунных подтирок? А?..

— Как-то нехорошо, Юрий, — люди нужду справляют, а мы!..

— Да если бы люди, товарищ комбат! Дивлюсь я вашей деликатности, не к месту она сейчас, — горячился Ромадин, поправляя повязку на голове. Ранен он был в ущелье Пшехо. Там, на юге Кавказа, не долечившись, прибежал в полк, найдя нас уже здесь, в песках кизлярской степи.

— Ладно, киньте им, Юрий, парочку мин. Да поточнее, чтобы и другим было неповадно позировать нам, — распорядился я.

У второго взвода, как оказалось, данные для стрельбы по этой цели уже подготовлены. Ромадин командует весело, задорно:

— Второй взвод, к бою-у-у! Цель — фашистские ж...!! Веер сосредоточенный! Угломер...! Заряд...! Взвод-ом! Две мины беглым! Огонь-н-нь!

Расчеты выполняют команды быстро, весело и, кажется, с озорством.

Я тоже увлекся этой стрельбой и наблюдаю за высотой в бинокль. Не проходит и минуты, как на склоне высоты вспыхивают восемь султанчиков разрывов мин и точно там, где надо. Доволен работой взвода и его командир Юрий Ромадин и по-мальчишески пускается в пляс, отчебучивая невиданные коленца, и, вздохнув от удовольствия, потирает руки: «вот так вам и надо». Потом было видно, что из троих немцев, выставивших свои зады в на-

шу сторону, уполз за скат высоты только один. А двое так и остались лежать до ночи, и как будто со спущенными штанами. Назавтра мы лежащих на скате высоты не обнаружили, да и их позирование кончилось. После этого, как бы вымещая злобу, начали обстреливать из-за высоты из шестиствольного миномета и вынудили нас сменить позицию батареи.

С той высоты, откуда гитлеровцы вели огонь, мы глаз не спускали. Через день или два командиру взвода лейтенанту Ромадину удалось выследить походную кухню. И когда сбежались гитлеровцы с котелками, он, как шапкой, накрыл их разрывами. В воздух полетели котлы и котелки, колеса и головы.

— Вот так, — потирал руки Ромадин, — приятного аппетита!

Танкобоязнь, она как болезнь. Не страдали мы ею раньше. Может, потому, что после боев у станицы Кущевской с танками почти не встречались. В крутых горах и узких ущельях танкам делать нечего. Не страдали танкобоязнью еще и потому, что состав полка был иной. После многочисленных боев полк значительно поредел и пополнился новыми людьми. В него пришло много молодых, необстрелянных бойцов. И танкобоязнь стала болезнью многих. А проявилась она в бою за хутор Дадынкино.

В ночь с 12 на 13 декабря наш полк совместно с 39-м начал наступление на хутор. Это был крепкий орешек с разветвленной сетью окопов и траншей, сильно насыщенный огневыми средствами. И мы должны были его расколоть, чтобы упрочнить свою оборону. Поначалу все шло хорошо. Эскадроны развернулись и, поддержанные артминометным огнем, начали штурм, вгрызаясь во вражескую оборону. Скоро зацепились за окраину хутора. Но тут эскадроны дрогнули и стали отходить. Противник бросил против наступающих танки — их было не менее

трех десятков. Одна группа контратаковала в лоб, другая обтекала с фланга.

Наши начали отползать назад, со страхом наблюдая ползущие на них танки.

Отход подразделений, пока еще организованный, вот-вот мог превратиться в бегство, хуже того, в панику, и тогда гибель полка неизбежна. И вот в такой критической ситуации я увидел и понял, сколь многое зависит от командира, его воли, решимости и выдержки.

Майор Бобков по телефону спокойненько так спрашивает меня:

— Видишь, что происходит?

— Так точно, товарищ гвардии майор, танки противника напирают.

— А еще?

— Наши отходят...

— Дай отсечный огонь. Всей батареей. Перед отходящими поставь глухую заградительную стену. Заставь эскадроны залечь!

Признаюсь, я растерялся, мне было страшно выполнять такой приказ. «А вдруг не залягут, — мелькнула мысль, — и тогда!..» Не хотелось гадать, что будет тогда. Приказ есть приказ. Майор повторил его, но теперь в голосе его прозвучал металл. Знал он, майор Бобков, что приказывал. Командиром-психологом был. Батарея поставила глухую огненную стену перед отходящими. А дальше все произошло именно так, как хотел командир: казаки залегли, они нашли ямки, рытвины, воронки и, опомнившись, спешно стали готовить гранаты для боя с танками.

Крайняя это была мера, но, наверное, единственно верная в сложившейся ситуации. И, пожалуй, не каждый командир на нее решился бы.

Танковую контратаку полк отбил. Тут веское слово сказали артиллеристы. Когда число подбитых и подожженных ими танков достигло двенадцати, оставшиеся начали

пятиться и покидать поле боя. Эскадроны снова поднялись и пошли вперед.

В этот день в «Журнал боевых действий» были внесены имена особо отличившихся воинов. Первым стояло имя командира артиллерийской батареи лейтенанта Чехова. Далее шли командиры расчетов Присичев, Петров, Киреев, наводчик Зацепилин, замковый Никитин, подвозчик боеприпасов Баев. Из минометчиков — лейтенант Ромадин.

Хутор Дадынкино наконец-то очищен от противника.

Немцы, отступая, оставили в хуторе девять исправных, но без горючего танков, около двух десятков автомашин, шесть орудий и два тяжелых миномета, прицепленных к ним. Кузова автомашин загружены боеприпасами, продовольствием и другим имуществом. Таких больших трофеев полк еще ни разу не захватывал. Это была крупная победа. Но, пожалуй, главной была победа над собой, над танкобоязнью. С той болезнью как-то сразу было покончено. Не стали бегать казаки от танков.

Командиры эскадронов долго не могли забыть моей стрельбы и той огненной стены, которая ошеломила и заставила залечь отходящих. Встречаясь, командир первого эскадрона старший лейтенант Сапунов суживал свои хитроватые глаза и насмешливо спрашивал:

— Ну как, самовары-самопалы, воюем?

— Помаленьку.

— И то ладно. — Сапунов притворно вздыхал. — Завидую я тебе, Поникаровский.

— В чем же?

— Воевать тебе легче. С противником лоб в лоб не сталкиваешься. Бьешь по нему издалека. И не только по нему... — В прищуренных глазах командира эскадрона начинали прыгать веселые чертики. — Тебе ничего не стоит скомандовать: «Цель — э... Угломер двадцать пять, синус — пять, крой по своим опять!»

Беззлобные то были шутки, дружеские, и я на них не обижался.

Потеря хутора Дадынкино для противника была болезненной. Он подтягивал свежие силы, бросал их в яростные атаки, делал все, чтобы вернуть его. Но мы крепко держались. Особенно горячим и трудным был по-зимнему хмурый и ветреный день 22 декабря. В этот день гитлеровцы предприняли четыре атаки. Впереди пускали танки, за ними пехоту. В иные моменты танки прорывались до командного пункта полка и огневых позиций артиллерии, но каждый раз вынуждены были откатываться, оставляя на поле боя разбитые и горящие машины.

Первую атаку мы отбили без особого труда. Главную тяжесть второй атаки приняли на себя казаки четвертого эскадрона. На участок, занимаемый эскадроном, двинулось более десятка танков. За ними, прижимаясь к броне, шли автоматчики.

Командира эскадрона старшего лейтенанта Конадюка я знал с первых дней прихода в полк. По своей натуре человеком он был старательным, любую работу делал основательно, но не отличался проворством. Медлительность комэска нередко вызывала шуточки, а то и прямые насмешки. Кое-кто из начальства склонен был считать Конадюка тюхой-матюхой. Сам же Конадюк не любил лезть на глаза начальству, даже побаивался его. И никто не мог сказать, что этот нерасторопный и молчаливый человек может быть храбрым, смелым, решительным.

В тихом омуте, по людской молве, черти водятся. В бою Конадюк преображался до неузнаваемости. Решения, принимаемые им, были четкие и предельно ясные. И действовал он уверенно и хладнокровно. До бога — высоко, до начальства — далеко, до врага — руку протянуть. Тут не жди указаний и подсказок, а действуй самостоятельно. Танки наваливаются на эскадрон? Ну и хрен с ними! Командир эскадрона приказывает... не трогать их. Пусть пушкари расправляются с танками, а эскадрон автоматчиками займется. Танки прошли через боевые порядки. Казаки поднялись, отряхнулись и начали бой с

автоматчиками. Били из автоматов, глушили гранатами. Фрицы заметались по полю, побежали. Но их догоняли и укладывали пулеметные очереди и мины.

— Так, славно почистили морду. Теперь посчитаемся с этими...

«Эти» — танки, пропущенные через головы. Встреченные плотным артиллерийским огнем, они уползали назад. Из окопов эскадрона в них летели гранаты и бутылки с горючей смесью.

На поле боя гитлеровцы оставили четыре танка и десятки трупов. Понес потери и эскадрон. Задавило обрушенной землей командира взвода лейтенанта Перфильева, убиты несколько казаков. Тяжело ранили командира эскадрона. Пулеметная очередь из отходящего танка прошила ему грудь.

Третья и четвертая атаки были танковыми. Во время третьей атаки танки прорвались к огневой позиции нашей минометной батареи. Не имея возможности вести огонь, батарейцы залегли с минами в руках. Но подрывать танки минами не пришлось. Выручили артиллеристы.

Гитлеровцы словно обезумели в этот день. Солнце уже садилось, когда они кинулись в четвертую атаку, бросив на наши позиции около пятидесяти танков. Они лезли напролом, не считаясь ни с какими потерями. Предвидя такое, командир дивизии придал полку еще две батареи из дивизионного артиллерийско-минометного полка. И любо-дорого было видеть, как от мощных и точных ударов спотыкаются вдруг, останавливаются и начинают чадить железные чудовища. Красивое зрелище! У всех артиллеристов и минометчиков было ощущение необыкновенного душевного подъема. Расчеты работали, сбросив телогрейки и шинели, засучив рукава гимнастерок. Некогда было в этот день ни поесть, ни попить воды, ни покурить.

Командир дивизии со своего КП, расположенного вблизи огневых позиций артбатарей, видел, как отбива-

лись атаки. После того как успешно была отражена последняя, он позвонил командиру полка майору Бобкову и сказал:

— Передайте мою благодарность всем казакам и сообщите, что я представляю ваш полк к награждению орденом Красного Знамени.

23 и 24 декабря атаки немцев были вялыми и отбивались нами легко. 25 декабря гитлеровцы пошли в психическую атаку. В полный рост. Без шинелей и с засученными рукавами. Их было до батальона. Они палили из автоматов и на всю степь горланили. Мы поняли: пьяные.

Мой наблюдательный пункт находился в расположении первого эскадрона. Командир его старший лейтенант Сапунов был в траншее, недалеко от меня. Я слышал его голос, хриплый и простуженный:

— Парад, чисто парад. Но этим нас не возьмешь. Не пужливые мы. Не пужливые, Корней?

— Не пужливые.

Рядом с ним стоял ПНШ Корней Ковтуненко. Занятый штабной работой, он никогда не упускал случая, чтобы самому сходить в поиск с разведчиками или побывать в боевых порядках эскадронов, чтобы лично оценить обстановку на переднем крае, добыть новые сведения о противнике. Он часто ввязывался в драку. Казалось, он искал драк и выходил из них благополучно. Чаще Ковтуненко бывал в первом эскадроне, он дружил с «колобком» Сапуновым и любил его. Беглый минометный огонь, всей батареей, расстроил плотные ряды «психов», они основательно поредели, но движение не остановили. «Психи» упрямо и нахально продолжали топать, приближаясь к нашим позициям.

— По пьяным рожам — огонь! — скомандовал Сапунов своему эскадрону.

Казаки дружно ударили из автоматов и пулеметов. Наконец, стали доставать гранатами.

Сапунов бросает взгляд на ПНШ Ковтуненко.

— Корней, давнем?

— Давнем, Коля!

Они выпрыгивают из траншеи.

— Вперед!

Команда и пример командиров словно стальная пружина выкидывают эскадронцев из окопов. Разгорается свирепая рукопашная схватка. В ход пущено все: штыки, приклады, ножи, лопаты, кулаки. Русский мат перемешивается с немецкими выкриками, со стрельбой, глухими ударами, хрипом, и гитлеровцы не выдерживают, бегут. Казаки, распаленные, полные ярости и злого азарта, гонят их до тех пор, пока не оказываются во вражеских окопах.

Командир полка возвращает эскадрон на свои позиции. Недоуменные вопросы: «Зачем? Почему? Гнать их надо!»

— Не настало время. — Командир полка спокоен, как Будда.

— А сейчас сиди и не брыкайся? — Сапунов горячится и выходит из себя.

— Да! Сиди и не брыкайся.

За четверо суток боев гитлеровцы потеряли свыше сорока танков и несколько сот солдат и офицеров. Но не смогли вернуть ни одного из хуторов: ни Дадынкино, ни Тарского, ни Кизыла.

В самые напряженные дни боев стало известно: из нашей 11-й, 12-й и 63-й дивизий образован 5-й Донской гвардейский казачий кавалерийский корпус. Командиром корпуса назначен генерал-майор Алексей Гордеевич Селиванов, его заместителем — генерал-майор С.И. Горшков. Казаки радовались. Генеральское звание земляку, его повышение в должности, льстило и нашему самолюбию.

Сергея Ильича знали и уважали в дивизии все. Я тоже был достаточно наслышан о нем. Не раз доводилось видеть Сергея Ильича и в штабе полка, и на переднем крае среди казаков, и встречать на огневой позиции своей минометной батареи. Родился он в 1902 году на хуторе

Ольшанка Урюпинского района в семье казака-хлебороба. В мае 1920 года — полных еще восемнадцати лет не было — по призыву комсомола вступил добровольцем в ряды Красной Армии. Красным конником сражался против Белой армии барона Врангеля. После Гражданской войны дослужился, поднимаясь по служебной лестнице со ступеньки на ступеньку, до начальника отдела кадров одного из военных округов. С начала Великой Отечественной войны был в действующих частях Красной Армии, а в ноябре 1941 года принял 15-ю Донскую казачью кавалерийскую дивизию народного ополчения. В годы Гражданской войны был награжден орденом Красного Знамени. Коммунист с 1920 года. Вся сознательная жизнь генерала была связана с Красной Армией. В наших глазах генерал был человеком железной воли, выдержки и хладнокровия.

Где бы ни появился С.И. Горшков — на огневых ли позициях, в окопах ли переднего края, — неизменным спутником его был адъютант Парамон Самсонович Куркин. Невысокого роста, как и комдив, толстенький и кряжистый, как сутунок, он носил пышные седые усы и бороду, закрывающую всю грудь. Мундир на старом казаке сидел очень ловко, будто никогда он с ним не расставался. Многие в дивизии старика-адъютанта считали отцом Сергея Ильича: находили сходство в их обличье. Парамон Самсонович, урюпинский ополченец, в годы Гражданской войны был командиром эскадрона в дивизии легендарного комдива Оки Ивановича Городовикова.

В эти же дни в полк пришло другое приятное известие: за мужество, отвагу и героизм, проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками, Указом Президиума Верховного Совета СССР свыше ста воинов нашего полка награждены орденами и медалями. Удостоился этой высокой чести и я, командир минометной батареи, — награжден орденом Красной Звезды.

Гитлеровцы притихли. Они не лезли теперь на рожон. Иными днями носа не показывали из щелей. Над пози-

циями стояла такая тишина, что порой казалось, что никакой войны нет. По ночам, едва только начинало смеркаться и до рассвета, фрицы беспокойно пускали ракеты. И короткими пулеметными очередями, словно спросонок, простукивали тишину. Гитлеровцы стали бояться нас.

У солдата, говорят, на войне два главных дела: копать землю и бить врага. Земли в бурунах мы переворочали горы. Капониры, окопы, траншеи, землянки. А в первое время еще и норы. Самые обыкновенные норы с дырой-трубой в конце. В тех норах раскладывали костерки и прятались от пронизывающего хиуса, от мороза. Да и спать где-то надо было. Да вот беда: оттаявший песок осыпался и, бывало, обваливался. Норы становились могилами. Не очень надежны были окопы. После каждой танковой атаки приходилось откапывать засыпанных людей, оружие, боеприпасы, немудрящее солдатское имущество. Сыпучий грунт от тяжести танков обрушивался. Людей, которые побывали под землей и оставались живыми, встречали как возвращенцев с того света. Окопы по ночам ремонтировали, углубляли, копали новые. На всякий случай. Земля-матушка всегда была спасительницей.

С противником нас разделяло поле шириною немного более двух километров.

Гитлеровцы, ничего не добившись в атаках, перестали нас тревожить. Зато тревожили мы их. В один из дней второй сабельный взвод первого эскадрона, укрываясь за подбитыми и сожженными танками, подобрался к самым окопам гитлеровцев, забросал их гранатами и, уничтожив почти целую роту, вернулся к эскадрону.

Потом были вылазки всем полком. Пойдут эскадроны, выбьют гитлеровцев, займут их окопы, приготовятся гнать врага дальше, а тут приказ: вернуться на свои позиции. Ничего не понимая, казаки возвращаются. Возвращаются на свои места и гитлеровцы. Получалась какая-то игра в кошки-мышки. Врага можно гнать и надо гнать, а полк, зарывшись в землю, сидит или совершает «прогулки», которые без жертв не обходятся. Казаки стали грешить

на нового командира дивизии полковника Терентьева. Нерешителен. Робок. «Вот Сергей Ильич... С ним бы дали разгон, показали врагу свою казачью удаль...»

Зря мы грешили на полковника Терентьева. Никакой вины его не было. Он выполнял волю и замысел... Сергея Ильича Горшкова. Враг был еще силен. И он хитрил. Ему хотелось сорвать наши полки с занятых рубежей, которые, как он убедился, вернуть оказалось не по зубам, вывести их в чистое поле, а там разгромить танками. Но на хитрость есть другая хитрость. План врага был разгадан. А время работало на нас. Надо было терпеливо сидеть на позициях и изо дня в день изматывать врага.

Ах, дорогие, милые комиссары! До чего же вы хорошие и крепкие мужики! В дни самых тяжких испытаний, когда, казалось, сил больше нет и люди горем захлебываются, рядом появлялись вы и словом своим, страстным, душевным, партийным примером своим поднимали дух воина, вливали веру и великую силу в него. В дни радости, в дни душевного подъема тем же словом и тем же примером вы окрыляли воина, звали его на новые ратные подвиги.

Но и не всегда приятно было слушать вас, друзья комиссары. Было время, когда вы говорили каждый раз одно и то же: «Наши войска, отступая, оставили врагу такие-то города, противник захватил...» Знаем, что это вы не сами придумали, а сообщали нам сводки Совинформбюро. После чтения вы некоторое время молчали, собирались с мыслями — что нам сказать, чем утешить, и... горячо восклицали: «Успех немцев, друзья, временный, и вот почему...»

А на самом деле в этом 1942 году все было так, как и в 1941 году. Немцы взяли за горло Сталинград. Мы оставили врагу Кубань и Ставрополье. Удерживать противника пока не хватает сил. Мы отчаянно сражались на вершинах Кавказских гор и в тесных ущельях. Теперь вот сражаем-

ся здесь, в голых и гиблых песках. Каждый новый день начинался одним вопросом:

— А как дела в Сталинграде?

— А как сажа бела.

Да. Так хотелось отвечать. Но мы, командиры, веря в силу нашего оружия, мудрость партии, полководческий гений, отвечали по-иному:

— Идите к комиссару, он вам все разъяснит.

Сталинград тревожил всех. Мы понимали: не удержится, не устоит Сталинград — не удержимся и мы. Ведь всю огромную силу оттуда он кинет на нас, а наши силы, наши возможности на пределе.

И вот радостная весть: враг под Сталинградом окружен. Огромная гитлеровская армия в котле. Наши бьют! Слова сообщений Совинформбюро — как соловьиная песня, как бальзам на кровоточащую рану.

— Товарищ комиссар, прочитайте еще раз, повторите, расскажите своими словами.

— Ну что ж, можно.

— Значит, скоро настанет и наш черед бить фашистов и гнать, гнать и бить, бить беспощадно.

— Скоро настанет.

Да, крепкие мужики комиссары, замечательный народ.

...30 декабря комиссар полка Михаил Федорович Ниделевич вызвал нас, командиров подразделений и политруков, на КП полка. Для начала рассказал о славных делах сталинградцев. Затем о переходе в наступление войск Воронежского фронта. Комиссар не стал ждать наших нетерпеливых вопросов: «Ну, а мы, мы-то когда пойдем?»

— На днях и мы пойдем, — сказал комиссар и, выждав, когда смолкнет наше «ура», стал давать указания: — Сегодня провести партийно-комсомольские собрания, рассмотреть заявления о приеме в партию и комсомол, про-

верить готовность к наступательным операциям и продумать формы политической работы в наступлении.

Красиво говорил комиссар. Даже вечно повторяемая им фраза «Стало быть, так» сегодня не резала, а ласкала слух.

Не знаю, но думаю, что гитлеровцы, сидящие за широким полем в обороне, в этот день чувствовали себя неуютно. С наших казачьих позиций они, конечно, слышали ликующие крики «ура» и выстрелы, видели взлетающие в небо ракеты и шапки. Понимали ли они, что пришел час возмездия и что они обречены?

Но не о гитлеровцах, не об их психическом состоянии я думал в этот святой и торжественный час. О своих ребятах, о минометчиках. У нас длинная и тяжкая дорога впереди. Кому из нас доведется дойти до ее конца и увидеть зарю Победы? Сколько придется выдержать сражений, сколько пролить крови?

Сегодня мы приняли в партию двух лучших минометчиков: гвардии сержанта Николая Ежова и гвардии старшего сержанта Ивана Литвина. Эти воины очень хорошо знают: вступление в партию Ленина дает им одну-единственную привилегию — первым подниматься в атаку, не щадить себя в бою, вести за собой других. Всегда так было: когда трудно, невыносимо трудно, звучала команда, нет, не команда — призыв: «Коммунисты, вперед!» Коммунисты шли вперед. Да, так было. И так будет всегда!

В эту ночь мне не спалось.

Глава пятая

И ПРИШЕЛ ЭТОТ ЧАС

Полк томился в ожидании. Всякий разговор казаки теперь сводили к одному вопросу — когда? 55 дней дивизия сражалась в бурунах. Ее полки не только не дали фашистским танкам прорваться к Каспию, но сами сдвинули противника с удобных позиций, загнали его в безводные пески, нанесли немалый урон.

31 декабря гитлеровцы пошли в последнюю, «прощальную» атаку. Мы уже знали: они начали отвод своих войск, в том числе и с нашего участка. Атака их не была похожа на те яростные штурмы, которые они предпринимали еще неделю назад. На широкое поле, что нас разделяло, вышло десять танков. Двигались они медленно, неуверенно, как бы ощупью. Изредка, с коротких остановок, постреливали. За танками развертывались подразделения. Жидковаты они были, изрежены. Набралось, пожалуй, до батальона.

Наши пушкари открыли огонь и сразу же подбили пять танков. Оставшиеся не захотели испытывать судьбу и повернули назад. Растерянно заметалась пехота, удачно накрытая разрывами мин. Эскадроны, не ожидая команды, пошли в контратаку и с ходу заняли вражеские окопы и траншеи.

На этот раз наступающих не вернули на исходные позиции. Было велено закрепляться на занятых. На новые

огневые позиции переместили полковых артиллеристов и нас, минометчиков. Еще большая удача выпала на долю братских полков. 41-й полк освободил хутор Солдатско-Александровский, а 39-й выбил гитлеровцев с пятого отделения Моздокского совхоза. Освобожденные хутора — добрый подарок новому 1943 году. Настроение у всех отличное. Оно прекрасное еще и потому, что в этот день, может, за все время боев, мы впервые увидели спину бегущего фашиста.

Мы на новой огневой позиции. По батарее дежурит лейтенант Ромадин. Он тихо докладывает о состоянии батареи, о противнике.

— Немца не видно и не слышно, — в радостном возбуждении и совсем не по-уставному добавляет он. — Деранул, ноги в руки — и поминай, как звали.

Когда дежурит Юрий Ромадин, я спокоен. Знаю: все будет в порядке, на батарее ничего не случится. Ромадин, хоть и ершистый, но исполнительный и надежный парень. На него во всем можно положиться. Он не из тех, кто заискивающе смотрит в рот начальству, стоит на лапках и поддакивает.

Поздравляю Юрия Ромадина с наступающим Новым годом.

— Спасибо, товарищ комбат. Будем надеяться, что он принесет нам военное счастье.

Некоторое время стоим молча. Над нами огромный купол темно-синего неба, усыпанный крупными холодными звездами. В сухой и колючей траве слегка шорохтит ветер. Под ногами проходящего дозорного поскрипывает снежок, перемешанный с песком. Далеко на западе — багровые всполохи: горит какой-нибудь хутор или станица. И — необычная, звенящая тишина.

В свой блиндаж идти не хочется. В нем крепко пахнет немцем. Еще сегодня его занимал гитлеровский обер, тоже, видимо, командовал минометной батареей, это по всему видно на оборудованной позиции. В своем блин-

даже гад устроился недурно, с комфортом. Стол, два мягких стула, кровать с периною и атласным одеялом, десятилинейная лампа с синим абажуром, чугунная печка, посуда в шкафчике, сделанном из ящика. Прибарахлился гад, грабанув все это добро у кого-то из хуторских жителей.

— А мы?.. Два месяца в норах сидели и даже находили в них свою смерть. Дым глотали, своим паром грелись, шилом брились...

Время без четверти двенадцать. Иду в блиндаж к старшине. Он чуть поодаль от огневой, в лощинке, возле походной кухни. Вспоминаю свою вятскую лесную деревню Печенкино. Наверное, этот Новый год деревня и ее дети встречают без елок, без подарков. Дед Мороз не придет к ребятишкам, не высыпет из мешка конфеты, пряники, игрушки. Думаю об отце. В деревне он один, а годков-то ему семьдесят восемь. В Вологде живет жена с дочуркой и своей матерью, которую я звал мамой, — как они там? На язык просятся слова из полюбившейся песни:

Ты меня ждешь и у детской кроватки не спишь,
И поэтому знаю, со мной ничего не случится...

Если бы так...

У старшины гость. Начальник полкового продовольственного склада старший сержант Иван Тыщенко. Старшина и старший сержант — земляки и давно дружат.

— Не помешал?

— Что вы, товарищ гвардии старший лейтенант. — Старшина Пахоруков придвигает к столу табуретку: — Прошу.

Старшина рад моему приходу. Старательно хлопочет и старается занять каким-либо разговором, а историй всяких он знает уйму. Мне интересно его слушать. Говор у него мягкий, русские и украинские слова смешно перемешиваются, и он как бы выталкивает их изо рта. Над его языком частенько подшучивал Алексей Рыбалкин: «Сер-

гей, ты бы немного помолчал, дал своему языку отдохнуть, а то он у тебя уже распух».

Сергей Антонович Пахоруков в батарее был еще новым человеком. Он пришел к нам в Каргалинской и сразу пришелся ко двору. Среднего роста, светловолосый, белобрысый, стройный, подтянутый и очень подвижный. Хлопотун. Он любил красивый строй и четкий шаг. Да вот в строю-то батарее очень мало приходилось быть. Батарейцев он очень быстро сумел узнать и судил о них, как о людях, с которыми съел не один котел каши. В оценках людей, в суждениях о них не хотел и не умел избегать крайностей. Одному он говорил: «Ты (Иванов, Петров) молодец! В бою, вижу, ведешь себя геройски. Уверен, к своей невесте вернешься не менее как с медалью «За отвагу». А другому: «Ты (Михайлов, Сидоров) самый что ни на есть «сачок» и неисправимый лодырь. Но я буду не я, если не выбью из тебя дурь».

В армию Пахоруков был призван в начале войны. Служил в минометном полку на Юго-Западном фронте. В большой излучине Дона был ранен и эвакуирован в Махачкалу, там лечился в госпитале. Я к старшине скоро проникся уважением. Батарейцы всегда были сыты и обихожены, лошади, а их было ни много ни мало в батарее сто двадцать голов, не имея на месте сена, зерна, воды, чем-то и как-то накормлены и напоены.

Командуя тылами батареи, он вместе с тремя помкомвзводами да коноводами и ездовыми как-то ухитрялся кормить и нас, и лошадей.

Он любил поговорить, это была его слабость. Но трепачом или пустым балаболкой он не был.

Новогодний стол не выглядел у него богато, хотя гость связан с продовольствием. Банка свиной тушенки, которую все называли «вторым фронтом», хлеб, бутылка водки. Старшина по праву хозяина разливает по кружкам водку, смотрит на часы, некоторое время выжидает, потом тихо говорит:

— За победу, друзья!

Мы сдвигаем кружки, пьем. Молча закусываем. Разогревшись, начинаем вспоминать пройденные путидороги.

— Расскажи, Ваня, комбату, — смеется старшина, глядя на своего друга, — как ты, бесштанный, чуть не погорел на Кубани.

Тыщенко смущен. Но смеется и машет рукой:

— Ладно, дело прошлое. — И рассказывает курьезную историю, приключившуюся с ним.

— Мы двигались от Кущевской на Горячий Ключ. Есть там небольшая речонка Челбас. Мост через нее разрушен. Эскадроны переходят в любом месте — воды по брюхо коню и даже меньше. А тылы полка — на машинах. Подъезжаем к одному месту — спуск пологий. И выезд вроде нормальный. Но в русле, на середине речки, сидят уже две машины. Колеса их зарылись в тину, вода залилась в кабины. Что делать? Заместитель командира полка по хозяйственной части — им тогда был Сергей Филиппович Харламов — командует: «Я остаюсь здесь, а ты — это, стало быть, я — снимай сапоги и штаны, пройдись по речке и поищи брод». Ну, снял я сапоги, штаны, кальсоны, забросил в кузов машины, сам пошел. А речка крутится, берега ее в густом кустарнике. Скоро машины из виду скрылись. Я продолжаю искать. Через каждые сотню-полторы метров перебредаю. Нет, все не то. Или вязко, или берега крутые. А время, наверное, более часу прошло. Но не могу вернуться, не выполнив приказа. Продолжаю поиски. И нахожу настоящий брод. Дно каменистое, крепкое. И совсем неглубоко, по колено всего. К броду подходит старая, заброшенная дорога. Подъезды к речке пологие. Бегу обрадовать находкой Сергея Филипповича. Но что такое? На том месте, откуда я уходил, нет ни машин, ни людей. И даже тех, застрявших. Уехали! Вот так фунт изюму... И сапоги, и штаны, и кальсоны мои уехали. Что делать, куда податься в моем непотреб-

ном виде? Стою, думаю. К речке подходят две машины. Спрашиваю шофера первой машины, не попадались ли навстречу два крытых грузовика и один конник в бурке и с седыми усами. Нет, говорит, не попадались. Значит, думаю, как-то переправились и недалеко в кусточках ждут меня. Подъехавшим шоферам рассказываю о найденном броде, сам же торопливо спускаюсь в речку — своих надо догонять. Перебрел, стало быть, и рысцой потрусил по промятой машиной колее. Поглядываю по сторонам. Километр или два пробежал, а машин наших нет.

Иван Тыщенко замолчал, поглядел на меня, а потом указал на своей руке на часы — время, мол, позднее, а я заболтался. Старшина тоже кинул взгляд на меня, потом на Ивана.

— Дорубай, коль начал.

— Вижу, — усмехнулся Иван, — меня догоняет открытый «виллис». В нем командир в бурке и два казака с автоматами. Незнакомые. Сторонюсь с дороги. Но легковушка скрипит тормозами. Командир пальчиком подманивает меня. Подхожу, ладонью прикрываю стыд. Приветствовать не могу, не по форме одет. Молчу. Подполковник, не вылезая из машины, спрашивает, что за вояка, из какой части, почему в таком виде. Докладываю все как есть. Не верит.

— Трусишь сознаться? Скажи-ка прямо, что ночевал под боком у казачки да и проспал. А полк ушел. Хотел бежать, а казачка не пускает, «понравился» дюже, парень-то ты видный. Ну и это самое... Нужнее ей в полном порядке, а ты все-таки побежал. Недоласканная же казачка спрятала твои чеботы и портки, полагая, что теперь-то ты никуда от нее не денешься. Хороша казачка, а?!

Веселый, видать, человек этот подполковник. Смотрит на меня, усмехается, а автоматчики, сопровождающие его, ржут как лошади.

— Ну, признавайся, старший сержант!

Мне не до смеха, впору хоть плачь, я клянусь, что ничего подобного не было, что кроме своей супруги, Галины Ивановны, никого не знал и знать не хочу, не грешен я. «Не грешен? — Подполковник стирает с лица улыбку и строго кивает автоматчикам: — Возьмите его. Проверим». Машина пылит по дороге. Я сижу между автоматчиками и тяну подол гимнастерки к коленям. Из стороны в сторону верчу головой. Не проходит и получаса, как мы нагоняем две крытые машины. Они стоят на обочине дороги. Возле одной из них — Харламов. Его по сивым усам я узнаю издалека.

— Наши, наши! — кричу я, наклоняясь к подполковнику. — Отпустите меня или дайте штаны надеть и сапоги.

«Виллис» притормаживает. К нему подбегает Харламов.

— Ваш казак? — спрашивает подполковник.

— Мой! Иван Тыщенко!

— У вас что, мода такая: оставлять своих казаков бесштанными на дороге?

Сергей Филиппович в ответ лепечет что-то невнятное. Так, мол, получилось. Их передернул тягач через речку, а они совсем забыли про Тыщенко. Хватились вот, ждем, когда догонит.

Подполковник оказался командиром 41-го полка нашей дивизии.

...В ту новогоднюю ночь мы вспоминали немало веселых и грустных историй. Помянули павших. Помечтали о будущем.

Старший лейтенант Корней Ковтуненко был из тех людей, кого, казалось, не гнут и не ломают никакие испытания. Молодой, красивый терский казак, он стал для меня образцом лихого кавалериста. Как сейчас вижу его на выездке в Анастасиевке. Он сидит на коне. Гордая осанка. Из-под кубанки, чуть сдвинутой набекрень, на лоб спада-

ет черный чуб. В руках — по клинку. Горячий конь танцует. Корней пускает его на скаковую дорожку, дает шенкеля. И на полном галопе — аллюр три креста — правой и левой руками на обе стороны рубит лозу. Чистая работа, залюбуешься.

В первый день нового года, утром, я ходил в штаб полка с заявкой на боеприпасы. По старой дружбе заглянул к Ковтуненко. Хотелось повидаться и поздравить с Новым годом. Попытался это сделать вчера, но сказали, что он где-то в эскадронах. Корнея я не узнал. Всегда подтянутый и аккуратный, на этот раз он сидел, забившись в угол, какой-то весь расхристанный. Полушубок был в саже и в грязи, рукав порван, полуоторван воротник. Помятая кубанка валялась на полу. Чуб растрепан и не черный, не смоляной, а какой-то серый. Лицо в саже, на щеках грязные подтеки. Поразили глаза: мертвые, застывшие, от всего отрешенные, ко всему безучастные.

— Что с тобою, дружище? — бодренько начал я. — По двору ходит-бродит Новый...

И осекся. У человека, видать, большое горе, беда, и мое бодрячество — неуместное, непутное и просто глупое. Серый чуб... «Он же седой!» — про себя ахнул я. Шагнул к Ковтуненко, положил руку на плечо, тихо спросил:

— Что случилось, Корней?

Он промолчал, отвернулся, пальцами стал тереть и без того красные глаза. Потом махнул рукой: не спрашивай, мол, ни о чем.

— Крепись, казак... — Я постоял еще немного, помолчал и вышел. Человеческому горю словом не поможешь. Но какое горе у Корнея, что его, сильного и крепкого, могло так согнуть?

— Что, спрашиваешь? — Глаза у Михаила Федоровича Ниделевича были тоскливыми. — У Ковтуненко то, что многих в дугу согнуть может. Пришел воин-освободитель в родной хутор, в станицу, в село, в отчий дом. А его, отчего дома, нет. И нет никого из родных: ни отца с мате-

рью, ни жены, ни детей. Кто-то повешен, кто-то расстрелян, кто-то угнан в неметчину. Это же — фашизм! Стало быть...

И тоска в глазах комиссара мне стала понятной. В оккупированном Донбассе у него тоже осталась семья. От Михаила Федоровича я узнал, что вчера с первым эскадроном Ковтуненко ворвался в хутор, где размещалось пятое отделение совхоза. А хутора нет. Только печные трубы и пепелища. И ни одного мирного жителя нет. Где они, где старики-родители, жена и дети? Первый эскадрон обшарил все: балки в окрестностях, подвалы, погреба, овражки, колодцы. Нет! Всю ночь Корней просидел на пепелище своего бывшего дома.

— По ко-ням!

Благословенная команда для кавалериста. Давно мы ее не слышали. Наверное, и лошади наши забыли про шенкеля, про то, с каким мелодичным звоном поют колесики-серебрушки в шпорах, и как, рассекая воздух, белой молнией сверкает и свистит казачья шашка. Мы давно спешились, стали обыкновенной пехотой, пластунами. В горах, в ущельях, здесь, в песчаных бурунах, нам пришлось ползать на пузе. Нами хорошо отработаны короткие и быстрые перебежки и мгновенные падения. Лопата стала такой привычной и так мы научились ею действовать, что можно подумать: всю жизнь были землекопами. Мы забыли кавалерийскую «жадность до клинков». Клинки наши, шашки, остро отточенные, сверкающие холодной синью, давно спят в ножнах.

И вот — «По ко-ням!» Пришел долгожданный час. В наступление перешла вся Северная группа войск Закавказского фронта, в которую мы входим. Мы гоним гитлеровцев, освобождаем родную землю. В душе — радость, может, такая же огромная, что и у наших друзей-сталинградцев. Позади хутора Ново-Средний, Мокрый,

Вольный, Линевский, Терновский, Веселый, Богатый, Дмитриевский, Привольный, станицы Покровская, Развильная. Были хутора и станицы, теперь многих нет. От них остались только названия на столбах у бывших околиц, да и то на немецком языке.

Гитлеровцы огрызаются злобно. Отступая, они оставляют за собой безжизненную пустыню. Взрывают мосты и заводы. Минируют дороги. Сжигают скотные дворы и хаты. Займешь хутор или станицу, посмотришь вокруг — от боли и гнева сжимается сердце. Вместо хат — траурно-черные угли, серый пепел и белые печные трубы. Вместо садов — яблоневые и вишневые пеньки. На дрова вырубали сады. А колодцы забивали трупами людей, дохлыми собаками и кошками. Варварство!

Жителей в хуторах и станицах мы встречали совсем мало: одни, спасаясь от коричневой чумы, ушли летом с нашими войсками, другие, молодые женщины, девушки и ребята-подростки, — угнаны в Германию, третьи — старики, женщины, дети — убиты. Уничтожение мирного населения входило в планы немецко-фашистского командования. В одном из хуторов разведчики поймали поджигателя-факельщика, не успевшего удрать. Вывернув карманы фрица, обнаружили «памятку». В той «памятке» гитлеровцев наставляли: «У тебя нет сердца и нервов, на войне они не нужны. Уничтожь в себе жалость и сострадание — убивай всякого русского, советского, не останавливайся, если перед тобой старик или женщина, девочка или мальчик,— убивай, этим ты спасешь себя от гибели, обеспечишь будущее твоей семьи и прославишься навеки».

Из газет, из рассказов политработников казаки знали о зверствах и насилиях гитлеровцев на нашей земле. Но одно дело — читать или слушать и совсем другое — видеть своими собственными глазами их злодеяния. Сколько буду жить, наверное, никогда не забуду страшной картины, увиденной мною в хуторе Александровском, за-

нятом нашим полком. Посередине улицы шла девушка. Одежды на ней никакой не было. Лишь на шее висел старенький платок, концами которого она прикрывала груди. Волосы растрепаны. На белом теле, на руках и ногах — желто-синие кровоподтеки. Девушка шла, никого не видя и не слыша. Она, казалось, не замечала даже холода и снега, по которому ступала босыми ногами. Нет, девушка не просто шла, она приплясывала. При этом громко смеялась и пела. Смех и песню перемежала нецензурной бранью.

По коже драл мороз. Одному из расчетов своей батареи я приказал остановить обезумевшую девушку и отвести в какую-нибудь хату. Батарейцы так и сделали. Вернувшись, они рассказали, что старики признали девушку. Люба оказалась их соседкой. Ей девятнадцать лет. Вечером перед своим бегством Любу схватили штабные офицеры, изнасиловали, а потом на потеху и поругание кинули солдатне.

В одном из хуторов старший лейтенант Ковтуненко нашел маленького заморыша и привел его в штаб к Михаилу Федоровичу Ниделевичу. Представил: Шурик Никитенко, двенадцати лет, круглый сирота. И стал рассказывать о найденыше.

— Въезжаю с разведчиками в хутор. Хаты горят, машины немецкие горят, поблизости рвутся снаряды. Кругом — ни единой живой души. Увидел вот этого хлопчика. Чумазый, грязный, оборванный. И худой — в чем только душа держится. Роется на пепелище. «Ты чего, хлопчик, ищешь?» — спрашиваю. «Картошку шукаю». — «А где, — спрашиваю, — батька твой?» — «Убили, — говорит, — фашисты. Увидели его с топором в руках, когда отец дрова рубил во дворе. Тут же и пристрелили. За топор в руках». — «А мамка где?» — «Умерла. У нее сердце болело. А я в степи сховался. Мамку потом закопали на огороде, в бомбовой воронке». — «И никого у тебя больше не осталось?» — «Сестра

была. Но ее увезли в Германию». Брат, говорит, еще остался, старшой. Но он на войне, бьет фашистов.

Комиссар никак не мог взять в толк, почему Ковтуненко привел парнишку-сироту к нему, почему так подробно рассказывает о нем и что помощник начальника штаба хочет от комиссара.

— Шустрый мальчонка, — глаза Ковтуненко излучали теплоту и нежность, — я сразу заприметил, когда увидел его.

Комиссар не понимал.

— Яснее можешь?

С необычной робостью и тоской Ковтуненко проговорил:

— Михаил Федорович, он... на моего сына похож обличьем. — Голос Ковтуненко дрогнул, он трудно сглотнул.

— Что же ты хочешь, Корней?

— Пусть он станет моим сыном и сыном полка.

— Сыном полка? — Ниделевич задумался.

— Я понимаю, — торопливо заговорил Ковтуненко, — это опасно, очень опасно. Война — не детская забава, не игра в бирюльки.

— Понимаешь, зачем же тогда предлагаешь?

— Здесь он пропадает. А мы войдем на отдых, и я его пристрою. Может, в детский дом.

Ковтуненко, кажется, убедил комиссара. Тот перевел взгляд на мальчишку и произнес свое привычное «стало быть, так».

— Дяденька комиссар, — рвался мальчишка к Ниделевичу, — возьмите! Я в разведчики хочу. Я все знаю про фашистов!

Шурика Никитенко определили в музыкальный взвод. Только пробыл он во взводе всего два дня. А потом перебежал к полковым разведчикам. И долго боялся попасть на глаза комиссару.

Прошло совсем немного времени, как найденыш Корнея Ковтуненко, сын полка, стал воином.

Наступать безостановочно днем и ночью становилось все труднее. Сказывалась усталость и постоянное недосыпание. Спать нередко приходилось на ходу, на марше, в седле. Страшно мучил мороз. Он хоть и не велик был — минус десять, пятнадцать градусов, — но с сырым ветерком, пронизывающий до костей. Близкое знакомство с Генералом морозом на протяжении многих недель к добру не вело. Многие попростывали. Мечтали о теплой хате.

Однажды теплая хата и горячий чай принесли полку большую беду. Полк подходил к станице Прохладной. По оперативным разведданным, в станице находились штабы разбитых гитлеровских частей, еще какие-то подразделения. Надо было уточнить. Лучше всего — добыть «языка». По «языку» тосковал и штаб дивизии. Едва стемнело, в станицу направили разведку. На этот раз не полковую, а из второго эскадрона. Пошли 17 казаков во главе с командиром взвода лейтенантом Фоминым. Разведчикам было приказано вернуться не позднее пяти часов утра.

Но к пяти разведка не вернулась. Ее не было ни в шесть и ни в семь утра. В штабе полка тревога: что могло случиться с разведчиками, где они пропали? Строились всякие догадки. В засаду попали? Маловероятно. Из засады все равно кто-то бы вырвался. Сбились с маршрута и где-то заплутали? Такого произойти не могло. В разведке не новички. Да и погода не такая, чтобы плутать. Нет ни снега, ни пурги. И ночь не очень темная.

Ни на один вопрос ответа не находилось.

На рассвете планировалось наступление на станицу Прохладную. Отменять его из-за неявки разведки? Но все эскадроны и батареи уже вышли в район сосредоточения для атаки. Приказ по корпусу требовал: не давать врагу ни дня передышки, искать врага и гнать, гнать.

Удар полка был решительным и дружным. Через два часа станица Прохладная была в руках казаков.

Первым делом стали искать пропавших разведчиков или их следы. Возле одного дома, где стоял какой-то немецкий штаб, во дворе, обнаружили несколько лошадей, принадлежавших разведчикам. Значит, и сами разведчики должны быть где-то здесь. Живые или мертвые. Стали обшаривать дворы, хаты, сады, погреба. Их нашли в километре от Прохладной, в доме лесника. Всех до единого. И всех до единого мертвыми.

С помощью местных жителей отыскали в каком-то погребе и вытащили на свет божий хозяина того лесного дома. Только он мог знать о происшедшей ночной трагедии. Лесник — лохматый старик с давно не мытым рылом, с бегающими глазами. В глазах — страх нашкодившего кота. Но не признается, отпирается, юлит: «Моя хата с краю, ничего не знаю, в лесном доме не ночевал».

Снова обратились к местным жителям, что за человек этот лесник?

— Не человек он, а лесной упырь. Немецкий холуй и ублюдок. Не одного станичника на тот свет спровадил. Гибель разведчиков — его черная работа.

Как ни крутился, ни запирался лесной упырь, но в конце концов вынужден был признать вину. Следы на снегу подвели. Нашлись и другие улики.

И вот что произошло в лесном домике той ночью.

Разведчики подошли к станице, когда немцы в ней еще не угомонились. Была беготня, слышались крики и команды, шоферы прогревали моторы. Войти в такую пору в станицу — без боя не обойдешься. В распоряжении разведчиков целая ночь, и они решили повременить. От станицы отошли в лес и здесь наткнулись на дом лесника. Постучали. Подергали за дверную скобу. Хотели было отступиться, да вдруг звякнула щеколда и раздался голос:

— Кого там леший носит?

— Свои, свои, открывай!

— Теперь все свои. Поди разберись.

Дверь лесник все же открыл. И в испуге отпрянул.

— Что, напугался, хозяин?

— Да ить как сказать, нежданные.

Лесник жил в одиночестве. Сразу, как только вошли казаки, суетливо забегал по хате. Поставил самовар.

— Кхе, кхе, погрею чайком гостеньков. Небось перемерзли. Пошукать — и самодельная горилка найдется.

Чай разведчики пили, блаженствуя, от «самодельной горилки» отказались, хотя лесник настойчиво предлагал, чуть ли не упрашивал «хлопнуть по маленькой».

— Нельзя нам, дед, при задании находимся.

Лесник доложил «всю как есть известную ему станичную обстановку». И даже вызвался проводить разводчиков «хочь до главного штабу, хочь до самой комендатуры». Развесили уши разведчики, доверились упырю, увидев в нем честного человека.

Усталость брала свое. С тех пор как полк пошел в наступление, казакам приходилось спать по два, по три часа в сутки, да и то часто на холоде, на ветру, на снегу. Сейчас, попав в теплую хату, после горячего чая, их разморило и со страшной силой потянуло в сон. Кое-кто, привалившись плечом к стенке, уже сладко похрапывал. Лейтенант Фомин, посмотрев на часы, сказал:

— Вот что, хлопцы, ложитесь-ка спать. Через часполтора подниму.

— Конечно, конечно, — встрянул в разговор лесник, — настанет глухая ночь, и тогда... Ни одна собака не тявкнет.

Не насторожили разведчиков ни поведение лесника, ни его предложение быть проводником «хочь до главного штабу», ни льстивое гостеприимство и заискивание. Их одолела усталость. Их сморил сон.

Лейтенант накинул на шею автомат, вышел на улицу. Отправил в дом разведчика, охранявшего лошадей и своих товарищей:

— Иди отдохни.

Сам походил с четверть часа. Все было тихо, спокойно. Только чуть тревожно шумел лес. Лейтенант вернулся в дом, пробрался к столу. Все спали. Кажется, и лесник спал. Лейтенант уронил голову на стол и захрапел. Этого-то и ждал лесной упырь.

Он тихо сполз с печи, оделся и на цыпочках вышел из дому, плотно прикрыл дверь, на петли накинул замок. Сел на коня и поскакал в станицу. Через полчаса лесной дом окружили автоматчики и ворвались в него.

...По приговору военно-полевого суда предателя повесили в станице Прохладной.

Беда, говорят, не ходит в одиночку. За собой она тянет другую. Прошло несколько дней после потери разведчиков, как всему полку пришлось пережить еще более страшное. Полк целиком стоял на самом краю гибели.

Глава шестая
КАЛИНОВСКАЯ НЕУДАЧА

Наступление наше шло как бы перекатами — от станицы к станице, от хутора к хутору. Мы выталкивали гитлеровцев. Они огрызались и откатывались дальше. Такая тактика не могла устроить командование. От коротких схваток противник ощутимых потерь не нес. В глазах стоял прекрасный пример Сталинграда, в котором со дня на день должны завершиться бои. Почему же не делать маленькие Сталинграды? Врага надо не выталкивать, а уничтожать в котлах, бить его на дорогах.

Мы готовились к такой операции. Суть ее состояла в том, что ускоренным ночным маршем два полка в стороне от главной магистрали делают бросок на 25—30 километров, выходят в тыл противнику и на шоссейной дороге Ставрополь — Краснодар делают засаду, закрывая путь отхода крупной механизированной группе противника. При этом 39-му полку отводится район хутора Буденновского, нашему, 37-му, — Калиновка. Мы как бы создаем второй эшелон.

В ночь с 27 на 28 января в конном строю полки вышли, чтобы к рассвету быть на своих местах. Ночь была темная и морозная. Ветер гнал встречную снежную поземку. Двигались без дорог, по целине. Скоро, однако, повалил снег и разыгралась метель. В снежной круговерти не стало видно ни земли, ни неба. Сплошная кутерьма. От го-

ловы колонны передали приказ: предельно уплотниться. Движение замедлилось, а скоро и совсем замерло. Стояли полчаса. По команде «Рысью вперед!» сделали рывок километра на два и снова остановились. Так теперь рывками и передвигались. Рывок — стоянка. Стоянки вызывались ожиданием, когда разведчики, идущие впереди, и проводник нащупают путь для нового рывка.

Во время стоянок казаки покидали седла. Острые снежные иглы кололи лицо, хлестали по глазам. Мороз пробирался под одежду. Торчать на коне было немыслимо. Сползая с седла, укрывались за конями. Многие прижимались к лошадиным крупам, чтобы погреться и, если удастся, покемарить.

Труден был этот марш. От постоянного недосыпания, от усталости дальних переходов все мы валились с ног. И еще этот марш был тревожен. В настроении казаков не ощущалось той обычной боевой приподнятости, какая всегда была перед боем. На этот раз что-то разладилось в нашем гвардейском полку. И с самого начала, как только узнали о предстоящей операции.

Командир полка поставил перед командирами подразделений боевую задачу. А потом вдруг с какой-то виноватостью добавил:

— Пойдете без меня.

— А вы? — сорвался с языка вопрос у кого-то из командиров.

Майору Бобкову нелегко было отвечать на вопрос. Получалось так, что он как бы уклоняется от боевого задания, выполнение которого может потребовать напряжения всех физических и духовных сил, решительности, возможно, самой жизни.

— Мне приказано лечь в госпиталь, — глухо сказал Бобков, — старые раны открылись, и эскулапы... Да что эскулапы — из корпуса приказ.

Болезненная гримаса пробежала по лицу командира полка.

— Кто нас поведет? — голос командира полковой артбатареи лейтенанта Чехова прозвучал резко.

— Как кто? Мой заместитель.

В воздухе повисла настороженная, недобрая тишина.

— Надеюсь на скорую встречу. — Бобков поднялся, тяжело оперся на трость. — Успешного вам марша и успешного боя.

Майор Званов (фамилия изменена) пересел на место командира полка. Был он, как всегда, чисто выбрит, начищен, наглажен, надушен. Голенища его хромовых сапог сдвинуты в гармошку. Франт. Да только у франта на круглом лице с приплюснутым носом не сияла сейчас обычная улыбочка. Лицо его было серое, землистое, а глаза растерянные.

— Продолжим, — выдавил из себя майор.

— А что продолжать? — кольнул темными цыганскими глазами командир первого эскадрона Сапунов. — Все ясней ясного.

— И то верно. — Званов зыркнул глазами направо, где обычно сидел комиссар. Но Михаила Федоровича не было. Как всегда перед длительным маршем и боем, он созвал к себе парторгов эскадронов и батарей.

Майор перевел взгляд влево, на начальника штаба полка. Тот пожал плечами и опустил голову. Званов глубоко вздохнул.

— Конкретные задачи подразделениям командование поставит в районе сосредоточения.

Не любили майора Званова в полку. Во время боев на кавказских горных перевалах и в ущелье Пшехо его почти ни разу не видели на переднем крае. Он, заместитель по строевой части, все время находил себе дело или в штабе, или в тылах. А в бурунах, как шутили в полку, он «пас лошадей», укрытых в дальних балках. С каким бы вопросом или просьбой к нему ни обращались командиры, даже пустячными, ответ был один: «Доложу наверх». И вот сейчас этот неавторитетный командир ведет полк

на такое ответственное задание. Он ничего умнее не придумал, как перед началом марша кому-то из работников штаба брякнуть: «Дело — хана!»

А потом пытался разъяснить, что, как он полагает, ради высших интересов и общей победы над врагом полком решено пожертвовать.

От поведения командира зависит настроение людей, всего полка. Сегодня оно у нас плохое.

Марш продолжался. Новыми рывками мы пробивались через ночь и метель. Часов в шесть утра колонна спустилась в узкую и глубокую балку, в затишь. Здесь полк остановился. Командиров подразделений вызвали в голову колонны. В снежной дымке, в сумраке виделись контуры хат. Оказывается, мы вплотную подошли к хутору.

Командный состав полка собрался в коровнике, длинном приземистом здании с соломенной крышей и окнами-прямоугольниками. В одном конце в стойлах-клетках лежало десятка два буренок. Чьи это коровы — неизвестно. Их никто не сторожил.

Отсюда видны были хуторские хаты. Расстояние до крайних было не более трехсот метров. Хутор спал крепким сном. Тишина, плотная и гнетущая, изредка нарушалась ржанием лошадей, доносившимся из балки.

Командиры подразделений ждали боевую задачу. Но ни заместитель командира полка, ни начальник штаба поставить ее не могли. Слишком поздно выслали в село разведку и теперь ждали ее возвращения.

Мы устроились «по-колхозному»: кто забрался на жердину и, свесив ноги, клевал носом, кто нашел чурбачок, а кто просто присел на корточки. Дымили козьими ножками, разговаривали не таясь, в полный голос. Невдалеке от коровника кучкой стояли коноводы и тоже громко разговаривали.

Я деревенский житель и знаю, как начинались рабочие дни в колхозе в зимнюю пору. Соберутся мужики в контору, рассядутся на скамейки возле стен, взаимно поделят-

ся самосадом, подымят до лиха, потом поведут неспешный разговор о подвозе кормов скоту, о ленивой доярке Фекле, об английском премьер-министре Чемберлене и его какой-нибудь новой ноте Советскому правительству, о вчерашнем красном закате, обещающем ветреную погоду. На работу не торопились. Работа не волк, в лес не убежит. Нечто подобное происходило и у нас. Мы в коровнике ждали разведку, а подразделения в балке ждали нас, своих командиров. Почему же разведку раньше не послали?

Тут же, в коровнике, связисты развернули рацию. Радист, связавшись со штабом дивизии, передал первое и, как оказалось, последнее донесение: «Прибыл на место. Уточняю обстановку. Все в порядке. Тринадцатый».

Наконец, явились разведчики. Докладывают: по хутору они прошли от начала до конца. Нигде не видели ни единой живой души. Но хутор занят гитлеровцами, какой-то ихней воинской частью. В некоторых дворах и садах укрыты танки.

— Какие немцы, какие танки? — У майора Званова отвисла челюсть.— В дивизии ясно сказали: «Хутор свободен».

— А он занят.

— Вы видели самих немцев?

— Дрыхнут без задних ног. Тревожить не стали.

— Что же теперь? — Майор в явной растерянности.

— А что теперь,— начал горячиться командир первого эскадрона Сапунов. — Развернемся да и ударим всей силой. В первую очередь танки захватим. А потом тепленьких... Как курят перещелкаем.

Мы ожидаем команды «к бою» и смотрим на майора Званова. Но он затевает длинный разговор с начальником штаба о том, где быть командному пункту полка, — здесь ли, в коровнике, пошукать ли какую высотку, потом никак не могут решить, как, откуда и кому наступать на село.

— Кончайте базар! — резко говорит комиссар Ниделевич и идет к воротам. Оборачивается: — Скачу в балку, надо выводить оттуда подразделения.

Но «базар» не кончается. Между тем наступает рассвет и оживает хутор: над печными трубами появляются дымы, в каком-то окне мелькает свет, где-то скрипит колодезный журавель, в чьем-то дворе затарахтел мотор. А мы, командиры, в каком-то странном шоке и оцепенении. Сидим и ждем. Сапунов насмешливо бросает:

— Сейчас прения начнутся...

Майор Званов оборачивается, оглядывает нас, как бы ощупывая, затем, разделяя каждое слово, гневно говорит:

— Полком командовать поручено мне. Время сейчас — восемь ноль-ноль. Командирам подразделений ставлю зад...

Майор не успевает договорить. По крыше коровника грохает вражеский снаряд. Второй снаряд протыкает крышу и рвется внутри. Сраженный, падает командир пулеметного эскадрона капитан Волков. Валится на землю майор Званов, осколком у него перебита нога. Снесло голову радисту, в куски разнесло рацию. Всех остальных, словно ветром, выдувает из коровника. Мы, командиры эскадронов и батарей, так и не получив боевой задачи, скачем в балку, к своим подразделениям. Впереди меня Колобок, командир первого эскадрона. Он трехэтажным матом кроет «полководца» Званова. Два часа потеряли! Базарили. Теперь под внезапным ударом оказались не гитлеровцы, а мы, весь полк. На свой страх и риск мы с лейтенантом Чеховым определяем места для огневых позиций. Справа занимают артиллеристы, слева — мы, минометчики... Отдаю распоряжения командирам взводов, самого же гнетет тяжелая мысль: «Полк остался без командира и без связи. Как будем вести бой?»

КП полка не мог оставаться в коровнике, который горел и был впереди боевых порядков подразделений.

КП полка не мог находиться и в силосной яме, отстоящей от коровника в какой-то полусотне шагов. Но именно туда, в силосную яму, перебрался начальник штаба. Зачем?

Из силосной ямы майор начал налаживать управление боем. Первый и второй эскадроны получили приказ наступать на северо-западную окраину хутора, постепенно обтекая и охватывая хутор. Третий и четвертый эскадроны остаются в балке, в резерве. Развертываться эскадронам, а батареям занимать огневые позиции пришлось на глазах противника и под его обстрелом. Расчет на то, что противник, увидев развертывание полка, непременно побежит — такую мысль настойчиво высказывал в коровнике начальник штаба, — не оправдался. Враг никуда не побежал.

Пулеметный огонь со стороны хутора усиливался, и скоро наступающие эскадроны залегли. Местность открытая, на склоне высоты. Теперь только рывок вперед мог выручить эскадроны.

На такой рывок и поднял свой эскадрон Сапунов, а за первым поднялся и второй. Эскадроны зацепились за окраину хутора. Начался затяжной бой за каждый дом, за каждый двор.

Я получил команду отправить два минометных расчета в хутор, чтобы близким огнем помочь эскадронам в продвижении. Приказ был нелепым. Весь хутор накрывался огнем с позиции, на которой стояла батарея. А в самом хуторе минометные расчеты не смогут помочь наступающим: их выбьют автоматчики еще до того, как они займут позиции.

Почти так все и случилось, как я предвидел. Расчет сержанта Травина был перебит, не достигнув хутора. Другой расчет, сержанта Ежова, в хутор прорвался и успел открыть огонь. Но подкрались автоматчики и уничтожили его. Командир расчета Николай Ежов был тяжело ранен и схвачен гитлеровцами.

За все ошибки на войне расплачиваются кровью и жизнью. Учены мы уже были в этой истине. Но прошлый горький урок с разведчиками, видимо, забыли. За это вот такая расплата.

Наскоро заняв огневую позицию, мы, минометчики, не успели хоть мало-мальски ее оборудовать. Промерзшая земля была железной. Мы не только не отрыли окопы, но даже не смогли сделать углубления для плит. При каждом выстреле минометы подпрыгивали, как тушканчики, и валились набок, увеча людей.

О точности стрельбы и речи не могло быть. Еще хуже доставалось пушкарям. Станины они не смогли закрепить сошниками. После каждого выстрела пушки откатывались назад. Вести сколько-нибудь прицельный огонь было почти невозможно.

А балка, запруженная и забитая обозом и конями, насквозь простреливалась танковыми пушками. Гибли кони и обоз с фуражом. Здесь творилось что-то невообразимое. Балка оказалась не укрытием, а мышеловкой. Разрывы снарядов над балкой и в самой балке делали свое черное дело. Рвались лошади. Перевертывались повозки. Метались люди. Балка была настолько узкой, а склоны ее настолько крутыми и высокими, что в ней не могли развернуться повозки. И что ни предпринимал комиссар полка Ниделевич, ничего не получалось. Но все же он както смог вывести из балки за гребень высоты санитарную часть, некоторые штабные и хозяйственные подразделения, обоз и коней артиллеристов и минометчиков, замыкавших на марше колонну полка.

Но там оставались резервные эскадроны и все лошади двух спешенных эскадронов, много повозок. От массированного пушечного огня гибли лошади, гибли люди. Отдельных лошадей какая-то неведомая сила все же выталкивала из балки наверх, но они сразу же попадали под пулеметный огонь. Одни гибли, другие, никем не управляемые, разбегались по полю.

Бой шел уже несколько часов. Ветер утих. Крепко подмораживало. Но казакам было жарко.

Где-то в полуденный час сражение за хутор достигло своей критической точки. И, кажется, чаша весов начинала клонить в нашу сторону: хутор начали покидать группы гитлеровцев, в степь потянулись отдельные машины и даже танки. И заметно слабел огонь противника. На помощь же дерущимся эскадронам спешил выбравшийся из балки третий эскадрон. Думалось: хоть и дорогой ценой, но бой выиграем. Но горячую голову тут же остужала другая мысль, лихорадочная и тревожная: а потом что? Полк во втором эшелоне, он поставлен на «подчистку». Впереди нас, на хуторе Буденновском, оседлал шоссейку 39-й полк. Если он будет смят, раздавлен или, еще хуже, обойден и противник всей механизированной группой навалится на нас, — выдержим ли, выстоим ли? Хватит ли у нас тех сил, что останутся после этого боя, начатого так бестолково?

И тут каким-то омерзительным мохнатым червяком выползает то подленькое чувство, зароненное и прятавшееся где-то глубоко в душе со вчерашнего вечера: «Дело — хана! Нами жертвуют ради высших интересов».

Мои горестные размышления оборвал крик наблюдателя:

— Танки!

Что за чертовщина? Какие танки, где? Ага, вон на середине дороги в хуторе. Их два, подбитых артиллеристами.

— Танки! — тот же голос, но теперь уже отчаянный.

Для меня этот крик равносилен неуставной команде: «Да разуй ты глаза, комбат!» Прекращаю огонь по хутору. Осматриваюсь. И вижу танки. Их много. Они ползут по гребню высоты справа от хутора, обходят его. Минометные расчеты без моей команды доворачивают стволы. То же делают и соседи-пушкари.

Танки с черно-белыми крестами идут небыстро. Может быть, гитлеровским танкистам не ясна еще обстанов-

ка. Нас они замечают лишь тогда, когда первые снаряды и мины, посланные нами, высекают искры на их броне.

Произошло, кажется, то страшное, о чем я не успел додумать.

Боем подразделений полка теперь никто не управлял. Каждое подразделение решало свои задачи самостоятельно. Хочешь — бейся, хочешь спастись — удирай. В общем, действуй, командир, как умеешь. Командный пункт полка, вместе с начальником штаба, куда-то исчез. В таких условиях остановить противника и бить его невозможно. Полка как организованной силы уже не было. Чаша весов резко качнулась в пользу немцев. Все, кто был в хуторе, начали в беспорядке уходить из него и... попадали под огонь пулеметов и пушек танков. Дело действительно стало «хана». Оказалось, прав был этот прорицатель Званов.

Под ударами 12-й казачьей кавалерийской дивизии нашего корпуса противник оставил станицу Развильную и начал отход по шоссейной дороге. Перед хутором Буденновским он напоролся на казаков 39-го полка и, не ввязываясь в затяжной бой, обошел его стороной. Вражеская мотопехота направилась полевой дорогой, она уклонилась от шоссе, а танки пошли по гребню увала. С артиллеристами 39-го противник лишь в порядке «любезности» обменялся взаимным обстрелом.

И вот бронированный враг в Калиновке. Одна группа танков развернулась и осколочными снарядами начала бить по хутору. Другая группа, прибавив газу, поперла на наши огневые позиции.

Артиллеристы вели беспрерывный огонь. С близкого расстояния они подбили два танка. В группе, что накатывалась на батарею, произошла маленькая заминка. Но воспользоваться ею наши друзья-артиллеристы не могли — у них кончились боеприпасы. Посланные за снарядами в балку связисты не успели вернуться. Танки как звери набросились на «молчаливую» батарею, а через минуту-другую пушки захрустели и заскрежетали под

гусеницами. Разбегавшихся батарейцев косили из пулеметов.

Я закрыл глаза. Теперь такая же участь ждет нас, минометчиков. Своими «самоварами-самопалами» остановить танки мы не можем. Ждать помощи неоткуда. Принимаю решение, которое в ту минуту мне кажется единственно правильным: разобрать минометы, положить их набок, самим вооружиться гранатами и минами и поодиночке или малыми группами где-то укрыться. Отдаю команды, немало удивляясь самому себе и своим батарейцам: ни растерянности, ни паники. Спокойствие. Команды выполняются четко, быстро, автоматически. Опасность подстегивает.

С миной в руках прыгаю в маленький овражек-промоину от ручья. Нахожу ямку. Осторожно выглядываю. Три танка утюжат нашу огневую позицию. Но вот, покончив с батареей, они устремляются к горловине. Не верю себе: неужели спасен, неужели опасность миновала? Шарю глазами по овражку-промоине. По ямкам, распластавшись, лежат мои минометчики, держатся расчетами. Лихорадочно работает мысль: что предпринять дальше? Но мысль отвлекается сильным взрывом, донесшимся из балки. Вглядываюсь туда. Из трех ушедших туда танков подбит головной. Он закупорил дорогу в самом устье. А два оставшихся бьют из пушек и строчат из пулеметов. Вижу: то в одном месте, то в другом из балки выскакивают кони и люди. Непостижимо, как они это делают, какая сила поднимает и выталкивает их?

Сердце екнуло и заныло от боли: там же обоз нашей батареи. Сохранился ли? Сумел ли его вывести из «мышеловки» лейтенант Ромадин? Его я послал в балку, когда на батарею кинулись танки и нам ничего другого не оставалось, как свертываться. Пробрался ли он в балку? Отправляя Ромадина, я не знал тогда, что наши повозки, на которых мы возим минометы и боеприпасы, и лошади огневиков уже выведены в безопасное место комиссаром полка Ниделевичем.

Танковая стрельба в устье балки смолкла. Все три танка чадили черным дымом. Какие-то смельчаки подобрались к ним и забросали бутылками с горючей смесью.

Увлекшись наблюдением за балкой, я не заметил, как и когда на огневой позиции батареи появился еще один танк. Откуда его черти вынесли? А танк, гад ползучий, меня заметил и дал по мне пулеметную очередь. Ладно, в самое последнее мгновение я успел нырнуть в яму. Земляные и снежные фонтанчики запрыгали на кромке овражка и у меня над головой. Холодное снежное крошево брызнуло мне в лицо.

Осторожно, не высовывая головы из-за ярчика, огляделся. Моих минометчиков уже не было. Они уползли и, видимо, нашли укрытие в другом месте. Теперь мне одному оставаться здесь не было никакого смысла. Вот этот самый танк, стоящий на огневой, подойдет и раздавит как цыпленка. Но куда податься? Некоторое время раздумываю. В сотне метров от меня стоит почерневший стог соломы. В начале боя он служил мне наблюдательным пунктом. С ближнего края стог подожжен, горит. Мое спасение или смерть только в этом стогу. Во что бы то ни стало надо к нему пробраться. Но местность открытая, а танкисты, наверное, держат меня на прицеле.

Ничего иного не придумав, вскакиваю и, петляя, словно заяц, мчусь к стогу. Спринтерскую скорость дает мне инстинкт самосохранения. Танкисты почему-то не стреляют. Скорее всего, не считают меня живым. А то не упустили бы случая поохотиться.

Я — за стогом. Пытаюсь вырыть нору в его середине, но ничего не получается. Солома старая, слежалась, смерзлась, и каждый клочок выдергивается с немалым трудом. Перебегаю к концу стога. Ура! Здесь солома рыхлая! Лезу в эту рыхлую солому. Ба, да здесь я не одинок. Кроме меня, шебаршатся, кряхтят и сопят такие же, наверное, как я, побитые, но не добитые казаки. Не минометчики ли мои? Голоса никто не подает. Да и я не спрашиваю. Не до разговоров. Разберемся потом. Сейчас же

надо понадежней зарыться и, притаившись, сидеть до темноты, до ночи или до тех пор, пока огонь не подойдет и не выживет. Стог-то горит, правда, медленно, лениво, но все равно рано или поздно огонь доберется и до этого края.

Но огонь добирается раньше, чем хотелось бы мне. Видимо, в эту сторону повернул ветер. В соломе становится душно и жарко, как в печной духовке. Дым ест глаза, царапает горло, забивает легкие. Дышать трудно и больно.

Начинает пахнуть палениной. На мне тлеют полушубок и ватные штаны. Жара невыносимая. Заживо сгорю, изжарюсь, но не вылезу. Вылезать нельзя. У стога, у моих ног — немцы. Они греются у огонька. Я слышу их разговор и гогот.

Но вот доносится какая-то команда, разговор прекращается, шаги постепенно удаляются и затихают. Теперь только слышно, как потрескивает горящая солома. Терпеть и лежать дальше у меня нет мочи. Выползаю. Сильно саднят ожоги на лице и руках. Тлеет шапка. Прожжены рукавицы, висящие на шнурке, как у ребенка. Обгорел белый барашковый воротник полушубка. Дымят ватные брюки. Я катаюсь по земле, по снегу, тушу на себе одежду и получаю новые ожоги. Откуда-то из глубины памяти выскакивает фраза, сказанная как-то Корнеем Ковтуненко: «Ничего, казак, жить будем — не помрем, а помрем — так с треском».

Приподнимаюсь на коленки, осматриваюсь: вокруг — никого. Тихо шумлю в соломенную нору:

— Кто живой — вылезайте! Фрицев нет!

Сам поворачиваюсь и бегу от стога, от огня. Надо найти новое укрытие. Ветер сбивает дым, и он густой белой полосой стелется по земле. Держусь этой полосы. Она, как завеса, укрывает меня от хутора, от недобрых глаз. Вскоре натыкаюсь на двух убитых коров. Они лежали почти рядом. Чем не укрытие? Да и нельзя дальше бежать: дымовой завесы нет, она рассеивается, редеет. Залезаю

и вниз лицом ложусь между коровами. Грудь мою все еще рвет кашель: наглотался дыму.

Прислушиваюсь. Изредка стучат короткие автоматные очереди и одиночные выстрелы. Осторожно выглядываю из-за рогатой головы. По полю между хутором и догорающим коровником группами бродят гитлеровцы и постреливают. Видели ли меня гитлеровцы, когда я бежал за дымовой завесой? Один мышастый гад, кажется, направляется в мою сторону. Что делать? Ничего иного не придумав, я притворяюсь мертвым. Фриц остановился, постоял недолго, потом, ухватившись за мои ноги, начал стягивать сапоги. Сапоги мне жалко, хромовые и почти совсем новые. Да и как я останусь босым? Зима. Ну, думаю, ничего у тебя не выйдет, проклятый барахольщик и мародер, сапоги мои, и они «примерзли» к ногам, а сам жду: вот-вот со зла прошьет меня автоматной очередью. Повозился фриц с ногами да и отпустил. Они глухо брякнулись о землю. Фриц носком сапога пихнул меня в зад и пошел к хутору. И на этот раз пронесло. «Ничего, живы будем — не помрем». Ох, какой длинный, длинный этот день. Но начинает вечереть. Косые солнечные лучи скользят по замерзшим коровьим бокам. Теперь недолго до темноты. Лежу, думаю о том, как буду выбираться, почему я не пристрелил того фрица-мародера... и, сам того не заметив, внезапно заснул. Как в глубокий омут провалился.

Долго ли, коротко ли спал — не знаю. Но проснулся так же внезапно, как и заснул. Сильно продрог, окоченели ноги. Пошевелил ими — живые. Перевернулся на спину. Мягкое место пронизала боль. Видать, сильный ожог. Небо от края до края усыпано звездами. На коровьих боках играют блики почти уже догоревших коровника и стога соломы.

Поднимаюсь и иду к силосной яме. С утра в ней размещался КП полка. Глупее места для командного пункта не придумаешь. Что можно увидеть из ямы? А может, начальнику штаба хотелось не видеть, а спрятаться? В ду-

ше нарастает глухая злоба. На слепоту начальства. Будь в этом рейде с нами Данилевич или Бобков, уверен, мы наделали бы такого шороху, что и небу жарко стало. В Калиновке застали фрицев измотанными, беспечными, спящими. Бери голенькими руками. А что получилось? Неужели командование дивизии, корпуса не видит, кто такие звановы и башмаковы? Безвольный, нерешительный, трусливый командир в критической ситуации не менее страшен, чем предатель.

Из ямы слышится стон. Не раздумывая, прыгаю туда. Лежащего задеваю ногой. В ответ — ругань.

— Кто такой? — спрашиваю.

— Старшина Пахоруков.

— Почему здесь?

— Ранен...

Мне хочется обнять старшину как родного брата. Но я сдерживаю себя. А старшина не узнает — голос мой стал хрипучим и каким-то чужим.

— Куда ранен?

— В ногу, в бедро.

Ножом разрезаю гачу, бинтую ногу старшины, а сам думаю, что делать дальше.

— А ты кто такой? — слабым голосом спрашивает старшина.

— Молчи, потом узнаешь. — Ко мне пришло уже решение. — Лежи тут тихо, а я пойду за транспортом.

Я вылез из ямы и пошел к балке. Только там можно отыскать лошадь, возможно, повозку. Я не ошибся. Среди разбитых и раздавленных повозок, человеческих и лошадиных трупов нашел исправную повозку, запряженную парой здоровых серых коней. И выбрался, хотя и с немалым трудом, из балки. Тихонько подъехал к силосной яме.

— Ну, вылезай, старшина, — сдерживая радость, говорю Пахорукову. — Экипаж подан.

Помог старшине вылезти из ямы, помог поудобней лечь в повозке. Только теперь старшина узнал меня.

— Боже ж ты мой! Христом-спасителем моим явился сам комбат, — и старшина навзрыд заплакал.

— Тише ты. Немцы могут услышать!

Я сел на передок повозки и тронул лошадей. Старшина перестал рыдать. Но плечи его еще долго сотрясались.

Едем без дороги. Но застоявшиеся за день кони идут бодро. Повозку изрядно трясет. Пассажир мой часто вскрикивает. Но помочь ему я ничем не могу.

Через час или полтора впереди вырисовывается какой-то хутор. В нем догорает крайняя хата. На фоне пожара видятся танковые силуэты, машины. Чьи? Скорей всего, вражеские. Поворачиваю коней в сторону, в объезд, от греха подальше. Едем долго. На востоке начинает зариться. На небосклоне бледнеют звезды. Скоро рассвет. Спать хочется до ломоты в скулах. Закрываю глаза, подремываю. И вдруг резкий голос:

— Стой! Куда прешь?

Я вздрагиваю. Меня словно кнутом понужнули. Открываю глаза. Лошади стоят на дороге. Впереди — хаты. Передо мной — здоровенный, с черной бородой верзила. На нем грязная телогрейка и такие же грязные ватные штаны.

— В хуторе немцы. В пасть зверю лезешь. Добровольно. Слезай скорей и прячься.

— Я не один.

— Забирай человека, быстро. Ховайтесь в крайних хатах. На улицу носа не суйте! — Чернобородый верзила вырвал у меня из рук вожжи. Я помог старшине сойти с повозки. Верзила молодо вскочил в повозку и хлестнул по лошадям. Нет, он не повернул их от хутора, а выехал прямо на улицу и помчался по ней. Мы со старшиной стояли, раскрыв рты. Все произошло так неожиданно быстро и нелепо, как в дурном сне. Что за тип, куда он погнал наших лошадей? Немецкий прислужник или честный советский человек? Но гадай не гадай — делать что-то надо, не торчать же здесь на виду у всего хутора. Скоро совсем станет светло.

Прижимаясь к плетню, тихонько бредем к крайней хате. Старшину оставляю на крылечке. Двери в сени и хату не заперты. Возле кухонного стола возится с чугунками и кастрюлями пожилая женщина, почти старуха. На меня смотрит недобрыми глазами. И молчит. Я прошу спрятать раненого до вечера.

— Нет! — голос женщины злой и скрипучий. — Нет! Я не хочу из-за вас умирать. Придут немцы в хату, скажу им. А сейчас — уходи!

— Куда?

— Откуда пришел.

Я поворачиваюсь, меня душит гнев. Ну погоди, старая карга, посчитаемся с тобой, припомним, как ты встречала своих. Но почему тот, чернобородый, сказал, что прятаться надо в крайних хатах? Ко мне вдруг приходит уверенность: эта старая сердитая женщина боится, но не выдаст немцу.

В сенях стоит большая деревянная кровать. На нее навалена разная рухлядь, тряпье, пустые мешки. Кидаю под кровать шубенку, мешки, пальтишки. Открываю сенную дверь, пальцем маню старшину, тихо говорю ему:

—Хозяйка — милая женщина. Спрятать тебя велела здесь, под кроватью. Залезай-ка, брат. Только не стони и не матюгайся во сне.

Я укрываю старшину кожушком, забрасываю тряпками. К кровати придвигаю чем-то заполненный мешок.

— Ну, бывай, — говорю, — пойду себе «квартиру» искать. Вечером попытаюсь вызволить.

Выхожу на крыльцо. На душе кошки скребут: выдаст старуха старшину или не выдаст? Не понимаю одного: пока мы канителились в сенях, она, конечно, слышала, но не вышла и не погнала нас. Почему? Однако докапываться до истины, разгадывать загадки нет времени. Надо искать себе приют.

На улицу не выхожу. Белый день. Оглядываюсь, иду к забору и переваливаю в соседний двор, вхожу в хату. Меня встречают три пары молчаливых и настороженных глаз.

За столом сидит женщина моих лет, рядом с нею семивосьмилетняя девочка, с русской печи глядит старуха. Во всех трех парах нет ни злости, ни испуга, а только вопрос. Придуманной легенды у меня никакой нет. Прямо и откровенно говорю, кто я такой, откуда и как попал в этот хутор. Молодая женщина смотрит на старуху, наверное, мать, и, как бы советуясь с нею, вслух размышляет: спрятать есть где — в подполье, в погребе, на сеновале (он, правда, без сена), на чердаке. Но всюду шарятся немцы, а сейчас они злые-презлые. Найдут — погибель.

Женщина говорит спокойно, голос ее распевный, в нем нет тревоги за то, что если меня найдут, то верная «погибель» не минует ни ее самой, ни ее дочки, ни старухи-матери.

— Но что-то придумать надо и куда-то сховаться.

— А что, если... не ховаться, если... — мне страшно высказать пришедшую вдруг мысль.

Глаза молодой женщины, большие и темные, ждут. Я собираюсь с духом и скороговоркой выпаливаю:

— Что, если на один день я стану вашим «больным мужем», приехавшим, приехавшим...

— Из Краснодара, — подсказывает она и снова смотрит на мать. — Мы до оккупации в Краснодаре жили. Здесь моего мужа никто не видел. Меня с дочкой нужда пригнала к маме, в этот хутор.

— А муж где?

— В Красной Армии, — вздыхает женщина. — Воюет где-то. — Вот и готова легенда, сочиненная нами вместе. Но возражать начинает бабка.

— Ой, доченька, боюсь я, дознаются поганцы, убьют, всех нас убьют, они — изверги.

— Молчи, мама! — у женщины, вижу, характер твердый, решительный. — Спасать надо. Ну, «муженек», давай знакомиться.

Женщину звать Татьяной, Таней. Ее дочурку — Галинкой. Бабку, «тещу» мою, — не то Анной Карповной, не то Поликарповной. Толком не разобрал. Галинка смышле-

ная. Она сразу согласилась звать меня при чужих людях «папой». Мое старинное, трудно запоминающееся имя Евлампий меняем на Анатолия, на Толю. Догадываюсь: Анатолием зовут мужа Татьяны. Теперь надо срочно преобразиться в «цивильного», гражданского человека. Таня идет в другую комнату, в горницу, и надолго там задерживается. Выходит взволнованная, глаза покрасневшие. Наверное, всплакнула, перебирая мужнины вещи.

— Иди, Толя, переодевайся.

Голос Тани дрогнул, когда она произнесла родное имя. Бабка покачала головой, но осуждения не высказала.

Трудную я выбрал себе роль, не сорваться бы. С этой неспокойной мыслью сбрасываю с себя подгоревшую одежду и натягиваю майку, синюю косоворотку, поверх своих ватных брюк надеваю серые, гражданские, навыпуск, набрасываю пиджак. Рубаха и пиджак несколько тесноваты, жмут под мышками, но терпимо. «Жена» собирает и увязывает в узел мои вещи: полушубок, шапку, нательную рубаху, гимнастерку и, открыв люк, узел сбрасывает в подполье. Я — цивильный. Вся «семья» придирчиво оглядывает меня и не находит никаких изъянов, только вот лицо и руки в коросте от ожогов. Ну, что ж, «Живы будем — не помрем». Фраза — как напасть какая-то.

У Галинки прохудились валенки, пятки запросили пить. В доме нашелся старый валенок, отыскались шило, игла и дратва. Устроившись возле печи, я взялся за починку. Галинка крутится возле меня. Таня перемывает посуду. «Теща» на печи. Она почти не сходит оттуда — болят ноги, их ломает ревматизм. С Анной Поликарповной (или Карповной) перебрасываемся словом. Она рассказывает о хуторе. Хутор называется Ленинским, раньше звали Голышом.

— Почему Голышом?

— В хуторе не было ни одного деревца, да и жилось голодно. «Голыши» были, да и только. Потом, при колхозе, вырастили сад, улицу засадили деревьями. Теперь

порушили все немцы. Сад и деревья — все под топор, на дрова. Опять «голышами» стали...

В сенях хлопнула дверь, что-то загремело, загрохотало. В хату ввалился рыжий немец. Морда красная, кирпича просит. Глаза бандитские. И с головы до ног увешан оружием. И чего на нем только нет: на шее — автомат и бинокль, через плечо — пулеметная лента, набитая патронами, на поясе — казачья шашка и пистолет, за поясным ремнем — две немецкие гранаты с длинными деревянными ручками да еще полевая командирская сумка, явно снятая с кого-то из наших. Бандит, чисто бандит. Таких «оруженосцев» на переднем крае видеть мне не доводилось. Но в тылу они — гроза, грабители, убийцы, насильники. Я сразу заметил перемену в «семье». Галинка прижалась ко мне. В глазах ее — испуг. Напряглась худенькая спина Тани, но она не обернулась. Бабка прилегла и громко застонала. Я пригнулся и почувствовал тяжесть пистолета во внутреннем кармане пиджака. Патрон в патроннике, в случае чего, успею снять курок с предохранителя. Увидев меня, гитлеровец опешил, схватился за автомат.

— Русс — зольдат?

— Никс, цивиль, — отвечаю мордовороту, едва сдерживая предательскую дрожь в голосе.

— Посему никс служба?

— Болен, — коротко говорю я, показываю валенком себе на лицо, грудь, сам сгибаюсь в дугу, ищу позу, чтобы удобнее и незаметнее выхватить пистолет. Галинка плотнее прижимается ко мне. Татьяна обернулась и смотрит на немца. Пронзительно и спокойно. Только лицо побледнело больше обычного. Оно будто мукой обсыпано. Говорит раздельно, чуть с хрипотцой:

— Герр солдат, мой муж болен! Туберкулезом. Палочки Коха. — «Оруженосец» заметно отодвигается от меня.

— Мамка, млеко, ам, ам...

— У нас ничего нет.

Солдат проходит к кухонному шкафу, открывает его, шарится по полкам. Потом идет в другую комнату. Мы переглядываемся с Таней, глазами она показывает на мои ноги. Боже! Мой лоб покрывает холодная испарина. К спине прилипает рубаха. На сапогах моих — шпоры. Как же я забыл про них? Я подбираю ноги под табуретку. Галинке шепчу:

— Сядь на пол, вот здесь.

Девочка не понимает, зачем она должна садиться на пол, но послушно садится, загораживая мои ноги. «Оруженосец» выходит из горницы, останавливается у шестка, косится в мою сторону. Я сухо и натужно кашляю. Немец открывает чугунок. Оттуда идет пар. Картошка в мундире еще не остыла. Несколько картофелин он засовывает в карман и, сторонясь «палочек Коха», уходит. Мы облегченно вздыхаем. Татьяна нервно смеется. Я торопливо снимаю шпоры. Из-за них чуть-чуть не влип. Потом прижимаю к себе Галинку, глажу ее по голове.

Но — новая тревога. «Оруженосец» направился в крайнюю хату, в ту самую, где я оставил старшину. Мое волнение, мою тревогу заметила Татьяна. Она подошла и положила руки на мои плечи, тихо сказала:

— Успокойся, Толя. Тетка Дарья не выдаст.

Я вздрогнул. Откуда она знает, что я не один. Татьяна молчит. Несколько успокоившись, я спрашиваю Таню о странном чернобородом верзиле, что отнял у нас лошадей с повозкой. Она недоуменно пожимает плечами, но ее глаза, добрые и ласковые, что-то знают.

Примерно в полдень мы с Татьяной из-за оконной занавески наблюдали страшную картину. По хуторской улице немцы гнали наших пленных казаков. Их было десятка два. Против нашей хаты остановили, построили у стены амбара и стали стрелять из автоматов поверх голов пленников. Страх нагоняли. Потом на шеи казакам, как ожерелья, навешали связки лука, награбленные в хуторе, а в руки насовали подстреленных кур. Гитлеровцы забав-

лялись, тешились властью. Построив пленных, погнали дальше.

Как было обидно за свою беспомощность! Таня, глядя на улицу, кусала губы. По ее лицу текли слезы.

Вечером, когда я хотел было собраться в путь-дорогу и думал над тем, каким образом транспортировать старшину, на улице хутора загрохотали фашистские танки. Один из танков, проломив каменный забор, въехал в наш двор. Через несколько минут в хату ввалился экипаж и, наподобие утреннего «оруженосца», стал хозяйничать. Правда, танкисты не спрашивали и не искали продуктов, у них свои были. Все же заставили вскипятить чай. На меня поглядывали с подозрительностью.

Пора было ложиться спать. У меня уже глаза не глядели, хоть подпорки в них ставь. Татьяна разобрала постель и медленно стала стягивать с себя платье. Легла, забилась к стенке. Рядом с Татьяной легла Галинка. Мне остался край кровати. Я быстро разделся и лег, незаметно сунув под подушку пистолет.

Танкисты согнали и бабку с печи. Они опасались и ее. Старуха устроилась в нашей комнате на сундуке. Танкисты плотно прикрыли дверь и чем-то ее подперли.

Перед рассветом танкистов подняли по тревоге. Где-то далеко гремел бой.

С утра я опять сапожничал: приколачивал подметки к Татьяниным башмакам. Таню попросил сходить в разведку. Она ушла с дочкой. Вскоре в хату явился человек, очень похожий на знакомого верзилу. Но сейчас телогрейка и ватные брюки на нем не были замызганными и грязными, как вчерашним рассветным утром. И что совсем поразительно: не было черной бороды.

«Верзила» поздоровался, не спеша набил трубку, поглядел на мою сапожную работу и с плохо скрываемой ехидцей спросил:

— Не в примаки записался?

— А вам-то что?

— В такое время, — верзила кивнул на башмак, на мои руки, — неплохо и этим заняться. — В голосе его звучала издевка.

— В чем дело, гражданин, пан или господин? — Меня разбирало зло. — Я дома. И никому до меня нет никакого дела.

— Ой ли? — Гражданин, пан или господин усмехнулся. А потом поднялся и тем резким и жестким голосом, каким ссаживал нас с повозки, проговорил: — Ну вот что, хватит играть в прятки. Пора в свою часть подаваться. Отстанешь — в дезертиры запишут.

Я ничего не понимал. Кто этот человек? На каком основании и по какому праву он разговаривает со мной тоном приказа?

— В двенадцать ноль-ноль явитесь на восточную окраину хутора, там общий сбор. Ясно? — И, хлопнув дверью, ушел.

«Провокатор!» — мелькнуло в голове. Работалось мне теперь плохо. С грехом пополам приколотил подметки... Спросил «тещу», кто этот человек, но она ничего мне не ответила, словно и не знала его. Беспокойство мое усиливалось. Я ждал Татьяну, а ее все не было. Не задержана ли? Я даже не знал, что в хуторе немцев нет. Все они вымелись на рассвете.

К назначенному часу на «сборный пункт» я не пошел. И за мной никто не явился. И вдруг часа в два пополудни является Татьяна с дочкой. Оживленная, радостная, взволнованная. Да и является-то как! В моей повозке, запряженной моими серыми лошадями. От удивления у меня глаза на лоб лезут. Бывают чудеса на свете, но подобных мне видеть не доводилось.

Я бегу вызволять старшину. Под кроватью его не оказалось. Влетаю в хату и... застываю столбом. Мой старшина Сергей Антонович Пахоруков, словно новый пятак, сидит за столом в красном углу, под божницей, а рядом с ним сидит «старая карга» — милая, улыбающаяся, по-

молодевшая женщина. Они пьют чай с вареньем и о чем-то беседуют.

До конца дней своих я с глубокой благодарностью буду вспоминать хутор Ленинский (Голыши), его славных жителей и Татьяну (а может, и не Татьяну), у которой на полтора суток я стал «мужем», ее дочку Галинку и бабушку. Люди шли на подвиг, не считая это подвигом.

Часа через три-четыре мы были в Ново-Александровском, среди своих. Старшину я сдал в медсанчасть полка, откуда его сразу отправили в госпиталь. С нами пришли из Ленинского шесть артиллеристов и девять эскадронцев нашего 37-го полка, укрывавшихся тоже в хуторе.

Прежде чем явиться перед ясные очи начальства своего полка, мне пришлось побывать в особом отделе дивизии и дать объяснение, почему я плохо вел себя с «провокатором» и почему не явился на место «общего сбора». Объяснение было нетрудным. Здесь мне сказали, что «провокатор» — староста в хуторе и наш советский коммунист-подпольщик. Что он спас много казачьих жизней. Что из Ленинского после «общего сбора» он привел в полк 38 казаков и 10 лошадей.

Из хутора Калиновки гитлеровцев вышибли казаки 12-й казачьей кавалерийской дивизии. 31 января в эту злополучную Калиновку прибыл снова наш поредевший 37-й кавалерийский полк. Надо было собрать уцелевшее вооружение, поискать разбежавшихся лошадей, собрать и похоронить казаков, наконец, посчитать, что от полка осталось, какую боевую силу он теперь представляет. Печальное это занятие, но на войне всякое бывает. Написал вот последнюю фразу и подумал: нечасто, но приходилось слышать, как из-за отдельных бесталанных и безвольных командиров мы несли ничем не оправданные потери.

Проигранные бои многие объясняли невезением. Его Величеством Случаем — мол, на войне всякое бывает. А с нами этого могло и не быть, если бы...

В братскую могилу, вырытую на околице хутора, мы положили около сотни воинов, не менее отправили в госпиталь. Более десятка внесли в список «Без вести пропавший». Я видел, как немцы ходили по полю и пристреливали раненых. Итоги боя плачевные, эскадроны и батареи почти уполовинились. Убавилось много лошадей и оружия.

При захоронении казаков в хуторе обнаружили обезображенный труп командира минометного расчета сержанта Ежова. Один из уцелевших жителей хутора рассказал, как сержанта допрашивали и пытали гитлеровцы. Ежов отказался отвечать на вопросы. Взбешенный офицер ударил его ногой в пах. Сержант плюнул в лицо садисту. Тогда солдатня сорвала с сержанта одежду, заставила положить на забор руки. Их раздробили прикладами. Выбили глаз, изуродовали лицо. В таком виде повели по хуторской улице. Ежов, услышав голоса женщин и стариков, крикнул:

— Товарищи колхозники, передайте нашим: гвардии сержант Ежов ни слова не сказал фашистам. Ждите наших!

Гитлеровец шашкой, подобранной на поле боя, ударил сержанта по голове, по плечу, а потом тычком в живот. Ежов так и умер с шашкой, проткнутый ею насквозь.

Широкий поиск, начатый полком, кое-что дал. В окрестностях хутора было найдено 103 коня. Незначительного ремонта требовали две 76-мм пушки и две «сорокапятки». Мы собрали семь из двенадцати минометов. Подобрали много карабинов, автоматов, пулеметов, шашек, боеприпасов, фуража, продовольствия и разного другого имущества.

Из госпиталя приезжал майор Бобков, чтобы увидеть свой полк после рейда. Увидел и не смог удержать слез. Его снова увезли в госпиталь. Исполняющим обязанности командира полка назначили М.Ф. Ниделевича. Исполняющим обязанности начальника штаба стал ПНШ гвардии старший лейтенант Н.В. Никифоров.

Рейд и бой за хутор Калиновку в журнале боевых действий полка получил название «Калиновская трагедия», а в оценке генералов из дивизии и корпуса получил название «Калиновская неудача», мол, это была не трагедия, а «организованный отход». К несчастью, так считает и генерал С.И. Горшков. Поэтому в издательстве, вопреки мнению автора, пережившему этот неудачный бой, глава о нем получила название не «Трагедии» а «Неудачи». Все участники того неудачного для полка боя его считают таким, каким он сложился для полка по-настоящему — трагичным. Тут, видимо, все дело в том, как в то время было доложено командованию лицами, которые несли ответственность за плохую организацию боя.

Прошел не один десяток лет с той поры, и на этот бой я пытаюсь взглянуть глазами сегодняшнего дня. Да, он мог сложиться по-иному. Но не сложился. И не по вине казаков-гвардейцев он так сложился. Тот бой остается в памяти трагичным и сегодня.

2 февраля 1943 года наш «больной» полк догнал другие подразделения и занял место во втором эшелоне наступающей дивизии. Полку, пережившему Калиновскую неудачу, уставшему до последней крайности, нужен был отдых, хотя бы короткая передышка. Но передышки, не говоря уже о длительном отдыхе, не предвиделось. Мы неотступно, не ведая покоя ни днем ни ночью, гнали врага, уходившего к Азову, к Батайску, к Ростову. Мы освобождали хутора и станицы и к 8 февраля 1943 года вместе с другими частями дивизии вышли к устью реки Дон.

...Здравствуй, батюшка Дон! Мы пришли к тебе, чтобы ты, родимый, стал навсегда свободным. Это в каждом сердце у нас, у твоих сынов.

В устье Дона, перейдя его главное русло, мы остановились на маленьком острове, в пионерском лагере. В камышах этого и других островов устья Дона накапливались войска дивизии для решительного броска на правый берег Мертвого Донца, за который уже зацепились стрелковые части и ведут бои за овладение станцией

Елизаветинской. Немцы ведут себя активно, беспрерывно обстреливают и бомбят все острова устья Дона. Наши части от этого несут неоправданные потери. Бомбежкой Мертвого Донца ломают лед, по которому надо нам переправляться. Долго сидеть нам здесь нельзя. Немцы убавляют наши и так поредевшие части.

Вечером 10 февраля наш полк с приданными танками форсирует Мертвый Донец и врывается на станцию Елизаветинскую. Переходят в атаку стрелки. К утру вражеский гарнизон на станции был полностью разгромлен. Полк получает новый боевой приказ: обтекая занятые противником хутора Синявский и Гниловскую, наступать на Чалтырь. Прорывом к Чалтырю сразу решалось две задачи: перерывалась шоссейная дорога Ростов — Таганрог, завершалось окружение города Ростова-на-Дону, за который шли бои, и обезвреживался сильно укрепленный противником район на реке Кальмиус.

Хутор Чалтырь оказался крепким орешком. Местность в полосе наступления ровная, открытая и имеет наклон в сторону противника, поэтому мы оказались наблюдаемы за несколько километров. Укрытием нам служили лишь кюветы и редкие посадки вдоль шоссе Ростов — Таганрог, проходящее по самому гребню высоты. Отсюда до хутора более трех километров, и обстрел его могли вести только артиллеристы. Несколько суток наступления на хутор днем и ночью и всеми частями дивизии успехов не приносили. Противник же бьет и снарядами и авиабомбами. Мы несем большие потери. Устали все до крайней степени. Командование ищет решение для выполнения поставленной задачи. И, наконец, это решение найдено.

Разведка боем, проведенная между хуторами Чалтырь и Ряжино, кажется, нашла щель в обороне противника.

1 марта ночью в километре от переднего края противника наш 37-й и 39-й полки заняли исходный рубеж. Двигаться решено тремя колоннами. С собой взяты все тылы и обозы. Прорыв в конном строю. Приказано: никому не останавливаться, не обращать внимания на потери,

вперед, только вперед, чтобы через час достичь хутора Политотдельского и к утру закрепиться там.

Зеленая ракета прочертила ночное небо. Конники эскадронов с оголенными клинками на галопе устремились вперед. Лошади перемахивали траншеи и окопы. За эскадронами устремились артиллерия, обозы, кухни. Эта ночная конная атака ошеломила гитлеровцев. Они не могли оказать сколько-нибудь серьезного сопротивления. Их оборона была смята и прорвана на ширину в полтора километра. В хутор вошла вся дивизия со штабом. Полосу прорыва прочно закрепило, расширив ее, стрелковое соединение. Боясь окружения, гитлеровцы оставили хутор Чалтырь.

А мы продолжали наступление. Теперь — на хутор Ряжино. Хутор этот, как и Чалтырь, тоже сильно укреплен. Но блокированный с трех сторон и крепко обработанный артиллерией и «катюшами», через сутки он пал. Немцы отошли за речку Кальмиус, на высоты. Перед нашим полком оказалась высота 101. Она господствовала над всей местностью. Мы снова в невыгодном положении. Противник нас видит, мы — нет. И бьет. Особенно свирепствует его авиация. Бомбит по два, по три раза в день.

Трудности наши усугубляются еще и тем, что к нам днем нельзя доставить ни боеприпасы, ни питание. А вот наш старшина Филипп Шубин как-то ухитрялся пробираться к нам с термосами и ящиками на спине по два раза в сутки. У эскадронных старшин этого не получалось, а вот наш Филипп нормально доставлял нам и пищу и боеприпасы.

Мы уперлись в созданный и названный немцами «неприступным» Миус-фронт. Силы полка были на исходе. Казаков всех четырех эскадронов свели в один эскадрон. Да и в нем до штатного состава не набиралось. В моей батарее вместе с поваром и писарем осталось 18 человек из 105 по штату. Наступать мы не могли. После занятия хутора Ряжино перешли к жесткой обороне.

Минометным и артиллерийским огнем мы постоянно держали противника в напряжении. Вечерами к нам приходили подразделения «катюш» и играли немцам «упокойные песенки». Пленные немцы рассказывали, что от огня «катюш» они несут большие потери. От «музыки» же многие сходят с ума. Делали вылазки и эскадронцы. Группами в 15—20 человек казаки переходили речку и, укрываясь в воронках, начинали подбираться к высоте. Но из-за высоты появлялись танки и отгоняли смельчаков.

Вместе с артиллеристами мы решили подготовить огневую встречу танкам, передвинув свои огневые позиции поближе к речке. День 5 марта стал для нас памятным. Как и в прошлые дни, группа казаков перешла речку и стала продвигаться к высоте. Как и в прошлые дни, эскадронцев встретили танки и погнали к речке. Когда танки приблизились к берегу, мы дружно ударили по ним из пушек, минометов, из противотанковых ружей. Для нас, минометчиков, этот день и этот бой стал прямо-таки праздничным: своими «самоварами-самопалами» мы разбили гусеницы у двух танков, а потом стали дубасить их по башням и корпусам так, что вскоре замолкли их пулеметы и пушки. За несколько минут боя из 12 танков шесть зачадили на поле. Остальные шесть торопливо стали уходить за высоту.

На рассвете 9 марта на наши позиции, на смену нам, подошли танкисты и стрелки. Нас же отводили в станицу Недвиговку, на отдых. Четыре зимних месяца мы были в беспрерывных боях, два из них в постоянном движении. Четыре месяца! И почти ни одной ночевки в хате, в тепле. Жили и воевали, не раздеваясь, не снимая полушубков, телогреек, шинелей, ватных брюк и сапог. Умывались снегом. Протрешь мало-мальски глаза — и дальше. Ни разу не стриглись. Многие не брились. Грязные, заросшие, с лицами, до черноты задубленными ветрами и морозами, в потрепанной одежде, мы

походили на чертей, которых художники рисуют в детских книжках. А где грязь и неухоженность, там обязательны спутники в виде болезней и всяких паразитов. Болезней мы избежали, кроме простуд и нескольких случаев дизентерии.

Все такие болячки переносили и излечивали мы на ходу и в окопе. Сложнее было с «автоматчиками», которые нас особо донимали, когда разогреешься до пота. Без бани и без так называемых жарилок, устраиваемых в бочках из-под бензина, освободиться от этих собственных «автоматчиков» не удавалось. Приходилось терпеть и ждать момента, когда можно будет хотя бы ненадолго выйти из боя. Тогда можно будет и им объявить войну.

Итак, небольшой отдых в Недвиговке. Условия в станице были не очень подходящие. Немцы ее бомбили. Жилых домов в ней осталось всего три, и их заняли штабы. Бани и жарилки устраивали в сараях и хлевах. Но и это было благом. Уже через несколько дней казаки выглядели помолодевшими, отдохнувшими, готовыми вновь идти в бой. Только в бой нас не послали. Всю дивизию отправили на Кубань — на отдых, на пополнение, на капитальный ремонт. Мы сели на коней и ускоренным маршем пошли на Батайск, на Тихорецкую. Наш 37-й полк остановился в хуторе Тамбовке Краснодарского края.

Отдых! Наконец-то пришел он, долгожданный!

Глава седьмая
НА КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ

К тишине, оказывается, тоже надо привыкать.

Прислушиваешься к тишине и начинаешь понимать — тишины-то нет. Нет ее! Из поднебесья слышны серебряные трели песен жаворонка, там же в заоблачной выси курлычут журавли. Это и у них радость, они вернулись на родину, домой. В траве и кустах жужжат пчелы и шмели, трещат стрекозы. Вечерами на левадах задают концерты лягушки. В листве садов и придорожных ветел шумит ветер. Перед тобою сегодня, здесь — мир, полный жизни и звуков... Нет, не все убила война, прокатившись с огнем и по этой земле благодатного юга.

А меня, да и всех нас, только что прибывших оттуда, где гудела, стонала и корчилась земля, все еще окутывает какофония боя. Этих вот сегодняшних, мирных звуков, звуков природы, слух пока не улавливает, не воспринимает. Видимо, война нас оглушила, мы живем пока ее звуками и, наверное, долго с этими звуками будем жить. Но мы сейчас на отдыхе от войны, от ее звуков. Находимся на земле богом созданной Кубани.

Небо Кубани ясное, чистое, доброе. По нему не бороздят зловещие «рамы» — предвестницы авиационных налетов. С него не сыплются и не раскалывают землю бомбы. Нет свиста и грохота снарядов. Не лают короткими взрывами мины. Не стучат, не заливаются длинны-

ми очередями пулеметы. Тишина. Удивительная тишина. До боли, до звона в ушах. Кажется, что тишину создает и творит сам воздух, по-весеннему теплый и сладкий, дрожащий синим маревом над пашнями.

Мы — на отдыхе. Хутор Тамбовка встретил нас щедро: здесь много солнца, много тепла, много улыбок и кругом — цветущие сады. Всюду пока еще видны зияющие раны войны: белые печи на пепелищах, перепаханные снарядами и бомбами поля, разоренные колхозные и совхозные усадьбы. Но жизнь налаживается, раны войны залечиваются.

С первых кубанских дней в нашем полку произошли большие перемены в командовании. Исполняющего обязанности командира полка капитана Ниделевича отправили на учебу в Москву. Командиром полка назначили подполковника Давида Амвросиевича Беленко. Его заместителем по политической части стал капитан Антон Яковлевич Ковальчук, переведенный с этой же должности из 41-го полка. На должность начальника штаба прибыл капитан Димов.

Сменились некоторые командиры эскадронов. Артиллерийская батарея разделилась на две: 76-мм и 45-мм пушек. К пушкам последней у казаков была особая уважительность. Малорослая, легкая в движении, но острая и злая в бою, пушечка была грозой танков. Ее называли очень любезно: «сорокапятка» Как эти кусачие пушечки выручали нас!

Перемены произошли и в моей минометной батарее. На командование взводами пришли два лейтенанта — Михаил Алексеевич Тарасенко и Александр Иванович Мостовой. Оба приехали из Сибири, из военных училищ. Тот и другой мне поглянулись своими знаниями, деловитостью, истинно командирским видом. Первое впечатление, говорят, редко бывает ошибочным. Не ошибся и я. И хоть оба лейтенанта не нюхали пороха, думалось: воевать парни будут как надо. А пока я приглядывался к ним. И к тому, как они учат казаков, и к тому, как «ставят» себя.

Михаил Тарасенко — парень видный: высокого роста, аккуратно одетый, подтянутый. Русоволосый, голубоглазый, улыбчивый. В таких парней девушки влюбляются с первого взгляда. Отношение к казакам у Михаила ровное, уважительное. На занятиях — по строевой подготовке, стрелковой ли, изучает ли материальную часть миномета или устав — добивается, чтобы каждый понял, что к чему и зачем. И ни окриков, ни шума, ни брани, когда кто-то что-то не понял, в чем-то сплоховал, ошибся.

Вначале мне показалось, что Михаил несколько мягковат, либерален, излишне демократичен. Но вмешиваться я не спешил — в его работе виделся какой-то своеобразный стиль. Суть этого стиля для себя я сформулировал так: требовательность не имеет ничего общего с окриком и бранью. На убеждение не жалей сил и времени. Уважаешь человека — тебя будут уважать.

Человек на войне раним и от слова. Несдержанные, с низкой культурой, срываются на крик, ругань и даже на оскорбление, этим как бы показывая свою власть и строгость с подчиненными. Только это никогда и никому пользы не приносило. Нельзя забывать, что слово, идущее от сердца, туда же и возвращается.

Скоро я убедился: молодого командира полюбили не только начинающие воины, но и старые казаки. К каждому он умел подойти. Каждому сказать доброе слово. Занят, не занят Михаил — от просьбы рядового и сержанта не отмахнется, поговорит, расспросит, что-то посоветует. А если пожурит кого за оплошность, то спокойно, по-доброму, жалеючи. Словно не тот виноват, кто оплошал или ошибся, а персонально он, командир взвода.

Не скрою, со временем и я стал неравнодушен к этому умному и не по возрасту мудрому парню. У меня появилась к нему особая уважительность и доверительность. Я знал: этот непосредственный, честный и исполнительный командир никогда не подведет и любое задание выполнит. Так что «стиль» Михаила Тарасенко, если можно это назвать стилем, вполне оправдывал себя. И еще я уз-

нал о Михаиле, что родом он из Сумской области, что рано лишился отца, тот умер в тридцать седьмом, и парень рос один у матери. В школе увлекся историей. Поступил в институт на исторический факультет. Со второго курса с первых дней войны был призван в армию и направлен в училище. Мать осталась в оккупации, и Михаил очень страдал.

Александр Мостовой по складу характера был несколько иным. Резковатый и занозистый, излишне самоуверенный и даже самонадеянный. До службы в армии Александр год или два работал учителем начальной школы. Но эти качества никак не вязались с моим представлением об учителе, да еще начальных классов. Там — мягкость, сердечность, долготерпение. Думалось, что профессия была избрана парнем не по призванию.

Службу в армии Александр начал в последний довоенный год. Так что он хорошо знал вкус солдатского хлеба, пот и соль солдатской гимнастерки.

Людям ершистым, резким, строптивым живется не очень сладко в коллективах. Армейские коллективы — не исключение.

Мостовой любил читать нотации, не стеснялся наказывать. Дисциплина во взводе была высокая. Но шла она не от уважения к командиру, а от боязни его, от боязни наказания. Оставался в Мостовом и дух вольности.

Однажды Александр проводил со взводом полевые тактические занятия. Кто-то из казаков наткнулся на брошенные две лопаты-миномета. Были когда-то у нас на вооружении такие. Проще оружия не придумать. Лопата как лопата. Но черенок ее — стальная труба. Воткни лопату в землю и кидай из трубы-черенка маленькие, калибром в 20 мм, минки. Пошарили казаки по старым окопам и нашли к лопатам-минометам две сотни мин. Кто-то другой доложил бы о находке начальству, а Мостовой — нет. Он распорядился по-своему. Тут же продолжил занятия с боевой стрельбой. Мишенью избрал... стог колхозного се-

на. Стог загорелся. Казаки попытались потушить его, но не смогли. Так и сожгли. Взводный за боевые стрельбы, за сожженное сено получил пять суток домашнего ареста с исполнением своих обязанностей, ну а я, командир батареи, за бесконтрольность — выговор.

— В сущности, — говорил мне потом замполит Антон Яковлевич Ковальчук о Мостовом, — парень он неплохой, но ты, комбат, постоянно держи глаз на нем. Неизвестно, какую штучку-дрючку он может выкинуть завтра, послезавтра. Но инициативу молодого офицера, если она полезная, не сковывай. Насчет же излишней требовательности и строгости скажу вот что: я лично не сторонник ее. Я — за убеждение. Точнее, за разумное совмещение того и другого. Но не противлюсь, когда встречаюсь с излишне требовательным и строгим командиром. Часто боязнь бойца перерастает в уважение к командиру, если он достойно поведет себя в бою.

Замполит как в воду глядел. Много позднее, в боевой обстановке, своим бесстрашием и отвагой лейтенант Мостовой снискал у своих подчиненных глубокое уважение. Ему они порой прощали даже откровенную грубость.

В связи с тем, что на должности командиров взводов приехали лейтенанты, мне пришлось сделать некоторые перемещения среди сержантского состава батареи. Старший сержант Шубин с должности старшины снова пошел помощником командира взвода. Я был рад, что такое перемещение не вызвало у него обиды.

Сложнее было со старшим сержантом Рыбалкиным. Он был одним из ветеранов полка. И с самого начала командовал взводом. В боях проявил себя с самой положительной стороны. Его взвод, как и взвод Юрия Ромадина, был снайперским. Ни с того ни с сего понизить заслуженного человека в должности — нанести ему оскорбление. Но я не мог отказаться от кого-то из лейтенантов. Ломал голову над тем, какой найти выход. Мне помог сам Рыбалкин. Явившись ко мне, он очень спокойно сказал, что

с появлением на батарее офицеров — слово «офицер» вошло в нашу жизнь вместе с погонами — он будет рад расстаться со взводом и перейти на любую должность. Я посмотрел на Рыбалкина. Рад или не рад он был — наверное, все-таки бунтовала его душа от несправедливости, — только внешнего проявления горечи и обиды я не заметил. Я с благодарностью пожал руку Алексею Елизаровичу и предложил ему должность старшины батареи.

К старшему сержанту Рыбалкину я всегда питал уважительные чувства. Еще сдавая батарею, папаша Кривошеев говорил мне:

— Ты вот что, сынок, запомни: Алешка — талантливый мужик. Но приглядывай за ним и сильно воли не давай. Ни за что ни про что он может голову потерять. Строжись к нему.

Насколько мог я «строжился» и, пожалуй, больше, чем к другим командирам взводов. И не потому, что он в сержантском звании занимал офицерскую должность. На то были свои причины. Алексей Елизарович по своему возрасту для многих батарейцев в отцы годился. Ему за сорок уже стукнуло. Кажется, осторожным, расчетливым, степенным должен быть человек, который не кинется сломя голову куда не надо. Обдумает каждый свой шаг. Но — нет. В свои четыре десятка он оставался по-юношески горячим и увлекающимся до бесшабашности. Опасностью пренебрегал. Противник обстреливает огневую позицию, а он, покинув окоп, ходит себе в открытую от расчета к расчету. Или надо переместиться на новую огневую позицию — передвигается не ползком, не перебежками, а под пулями и разрывами шагает, словно на строевом плацу. Да еще с остановками, оглядываясь, как его расчеты идут. А те рады стараться: подражают своему командиру. Получалось никому не нужное лихачество, смелость ради смелости. Командира взвода в таких случаях приходилось одергивать, грозить наказанием и даже не поручать задания, связанные с повышенной опасностью. А вот это его обижало и оскорбляло больше всего. Он почему-то

считал, что задание посложнее комбат ему не дает потому, что он сержант.

— Мой нос не дорос, да? — угрюмо спрашивал Рыбалкин, тоскливо глядя, как на задание уходил лейтенант Ромадин со своим взводом.

Вспоминаю Дон, форсирование Мертвого Донца. Батарее пора перебираться на ту сторону. На меня поглядывают Ромадин и Рыбалкин. В их глазах один вопрос: какой из взводов пойдет первым? Глаза Рыбалкина прямо-таки умоляют: «Ну доверь, комбат, первым пойти моему взводу. Сам увидишь, что с задачей справимся не хуже ромадинцев». Решаю: первым пойдет Рыбалкин. Отдаю распоряжение взводу свернуть минометы в походное положение, с собой взять по двадцать мин на ствол, перебежками форсировать Мертвый Донец, на том берегу под насыпью занять огневую позицию и сразу же открывать огонь. Цели укажут стрелки или командиры наших эскадронов. Взмахом руки посылаю взвод вперед. Рыбалкин остается верен себе. Над Мертвым Донцом бушует стальная пурга. А он, не оглядываясь, не пригибаясь, неторопливым, размеренным шагом идет себе да еще попыхивает папироской. Следом за ним, также не пригибаясь, шагают расчеты.

— Ну наглецы, — волнуюсь я, — ну покажу вам кузькину мать, если... если живыми доберетесь до того берега.

Они добираются и открывают огонь. После боя я собираю взвод и показываю «кузькину мать». Казаки ухмыляются, все мои крепкие слова с них как с гуся вода. Только командир взвода притворно кается: «Виноваты, товарищ комбат».

Алексей Елизарович по своей натуре относился к людям открытым и откровенным. Получит, скажем, письмо от супруги Дарьи Захаровны — и чуть ли не вся батарея читает. Дарья Захаровна же письма писала подробные: и о том, как работают колхозники, — круглыми сутками пропадают на МТФ и в поле их колхоза им. Ильича в станице

Ремонтной, и о том, какие перемены произошли в райкоме партии после ухода в армию его работника Алексея Елизаровича, и о том, кто из жителей станицы получил похоронки, а кто вернулся калекой с фронта, и наконец, о том, что она, Дарья Захаровна, школьная учительница, никакой нужды не знает. Единственное, что недавно ей пришлось уступить свою всего два раза надеванную меховую шубу жене директора «маслопрема», да и то только потому, что шуба «до безумия» той понравилась. Долго потом батарейцы потешались над той грамматической «ошибкой» учительницы в слове «маслопрем».

Дарью Захаровну Алексей Елизарович любил восторженной, пылкой любовью. Зная это, я изредка стращал старшего сержанта ее именем: напишу, мол, Дарье Захаровне про то, как ты тут геройствуешь, командир-воспитатель, и пусть-ка она тебя образумит. Моих же сил больше нет.

Выговоришь ему все это — выслушает, торопливо ответит своей побасенкой: «Это дело перекурить надо», ссутулится больше обычного и пойдет. Где-то в сторонке остановится, на дым изведет две-три закрутки и вернется «поговорить по душам». Начинает обычно издалека.

— Не геройствую я, товарищ комбат. Вышел из того молодеческого возраста. Но как быть, когда, скажем, начинают пукать, трескаясь, вражеские снаряды и мины или когда к самой огневой позиции подступают фрицы, хуже того, их танки? Ты видишь, кого-то мандраж потихоньку начинает колотить, у кого-то поджилки вот-вот дрогнут. Воткнуться в такие минуты носом в землю? Не по-командирски, не по-партийному и не по совести. Хоть у самого и душа в пятки готова прыгнуть, а крепишься, заставляешь себя вылезать из окопа и идти, вроде бы спокойно, от расчета к расчету. А вы — «геройствуешь!» В расчетах же кого-то подбодришь словом, кому-то бросишь шутку, что вот, мол, до чего фрицы бессовестные дошли. Видят ведь, что здесь люди и что убить случайно могут, ан нет, стреляют. Давайте-ка, хлопцы, накажем их, поганцев.

Укокошим десяток-другой. Опять же наказ Дарьи Захаровны надо выполнять...

— Это какой такой наказ?

— Если любопытствуете, то расскажу. Дарья Захаровна, когда я по партийному призыву отправлялся на фронт, наказывала мне: «Ты, Алеша, гляди там хорошенько, особенно когда в бой-сражение пойдешь, не прячь глаза. Увидишь, с какой стороны стреляют, туда и ты пуляй. Попадешь первым — ты живой». Стратег она у меня, товарищ комбат.

— Не засоряй мне мозги, Алексей, и не крути.

— Ладно, не буду, только не пишите, товарищ комбат. Не надо огорчать и ранить душу Дарьи Захаровны. Худое слово посильнее пули ранит. Оно даже убить может.

— Это верно.

— Я ведь, товарищ комбат, — понижая голос, продолжал Рыбалкин, — не пишу Дарье Захаровне, что нахожусь на передке. В тылу, мол, стоим. Охраняем важный объект. А вас я понял. Так что перекурим это дело.

Моя мера действовала безотказно. Да только недолго. До нового боя. Тут я снова вспоминал разговор с папашей Кривошеевым. Представился случай укоротить лихачество Рыбалкина, с легким сердцем я пошел на это. Убирая старшего сержанта с горячей точки, я, грешным делом, думал о том, чтобы сберечь, насколько будет это возможно, его мудрую, но бесшабашную голову.

Здесь, в Тамбовке, Рыбалкину присвоили звание старшины.

Наш полк почти полностью обновился. В него пришло около тысячи человек. Укомплектовывались эскадроны, батареи, взводы. Большинство ребят прибыли из освобожденных Краснодарского и Ставропольского краев, из Ростовской и Сталинградской областей, с Северного Кавказа. Возраст — 17—18 лет. Лютой ненавистью пылали ребята к захватчикам. Во время оккупации им довелось хватить лиха. Они рвались в бой. Но прежде всего этих ребят надо было «сделать» казаками — научить

владеть оружием. И еще — подкормить, ввести в тело. Слишком уж многие выглядели заморышами.

Говорят, самый езжалый конь — и тот к новой упряжке не сразу привыкает. Новичкам, новобранцам было непросто входить в армейскую жизнь с ее жесткими требованиями. Неимоверно тяжел солдатский труд. Но вдвойне тяжел труд солдата-кавалериста. От кавалериста требуется умение владеть конем и в развернутой атакующей лаве, и на полосе препятствий с ее ямами, изгородями, зарослями кустарника, с водными преградами, со всем тем, что может встретиться на поле боя.

Вместе с людским пополнением пришло и конское. Коней нам прислали Башкирия, Казахстан и братская Монголия. Лошади были табунные, они не знали ни седла, ни упряжки. Особо свирепым нравом отличались «монголы». Не кони, а звери. Они не признавали ни узды, ни седла. На казаков кидались с ощеренными мордами, кусались и лягались. То и смотри: отхватит ухо или нос или копытом звезданет. А их, «монголов», было ни много ни мало два косяка по две сотни голов в каждом. Всего мы получили на пополнение свыше 700 лошадей. Всех их нужно было приручить, объездить, поставить в строй.

Слышал я, что в былые времена учебу кавалериста начинали с того, что давали ему необъезженного коня. Мы на такое пойти не могли — слишком велик был риск. Возиться с дикарями пришлось ветеранам, которых в полку оставалось немного. Казаки начинали с того, что дикарей заарканивали, сваливали на землю, связывали, лежачих заседлывали, на длинном аркане до изнеможения гоняли по кругу и только потом в специальных станках садились на них и давали свободу — неситесь, милые, и везите на себе седоков, учитесь не брыкаться, не кусаться, не вставать на дыбы, не перевертываться на хребтину. Работа казаков-выезжающих тяжелейшая и опасная — длилась десять-пятнадцать дней подряд, до тех пор, пока дикари не становились смирными и послушными.

Пополнение и оснащение полка шло быстро и всесторонне. Мы получали недостающее снаряжение, транспортные средства, боеприпасы, обозно-вещевое имущество, продовольствие.

...Моя минометная батарея, состоявшая из хоперско-донских казаков, с прибытием пополнения стала интернациональной. Русские, украинцы, грузины, азербайджанцы, казахи, осетины... Одиннадцать национальностей. Около 80 человек к нам пришло. Двадцать из них — из своих сабельных эскадронов. Эти казаки ранее были минометчиками, воевали, но после ранений и госпиталей, поступая в полк, оказывались сабельниками.

Новички были хорошие. Они не жалели сил и времени для того, чтобы скорее освоить материальную часть, научиться метко стрелять, стать истинными воинами. Конским составом батарею укомплектовали за счет эскадронов. Все кони были объезжены, обучены, знали строй. Многим из новичков никогда не приходилось иметь дело с лошадями, и они их побаивались. И хотя мы подбирали для таких казаков самых смиренных и покладистых лошадок, чаще всего повозочных, все равно случались разные казусы.

Скажем, надо запрячь коня в бричку. Нехитрая вроде работа, да только у некоторых новичков она не получается. То хомут не может надеть на голову коня — а все потому, что забыл развязать супонь, то накинет его не той стороной — клещами назад, то путается в подпруге, в чересседельнике, не зная, куда их деть, вызывая бурю смеха у наблюдавших эту маету...

Приглядываясь к командирам взводов, организуя и направляя их работу, я изучал новое пополнение. Чуть ли не с первого дня пребывания в батарее обратил на себя внимание семнадцатилетний казачок Никифор Комаров. Высокий, ладно скроенный, не по возрасту раздумчивый и, как показалось, излишне самоуверенный, он явился

для нас прямо-таки находкой. Я заметил: вокруг этого семнадцатилетнего кареглазого парня ватажкой сбиваются все его земляки — казачата, призванные из донских станиц. Что-то в этом парне было притягательное. Однако служба его в батарее началась с маленького конфликта, который произошел на вечерней поверке.

— Комаров! — выкликнул старшина.

— Я! — ответил Комаров и, вышагнув из строя, спокойно пошел.

— Куда, что за вольница? Ну-ка сейчас же в строй!

Комаров вернулся, занял свое место, пожал плечами.

— Ишь, какой прыткий казачонок....

— Извините, товарищ старшина, но я не казачонок, а гвардии казак.

— Смотри-ка, — от изумления старшина открыл рот, — он уже гвардии казак, а? Нет, дорогой товарищ, звание гвардии казака надо заслужить в бою.

— Будет исполнено!

Познакомившись с новобранцами, я пригласил командиров взводов, чтобы вместе с ними распределить «гвардии казаков» по взводам и расчетам. И тут является Комаров.

— Разрешите, товарищи командиры. Я хотел бы помочь вам в распределении. Всех ребят, что призваны со мной, я знаю.

От помощи мы не стали отказываться. Комаров называл фамилию, давал короткую характеристику и резюмировал: «Этого надо направить в расчет заряжающим, а вот из того выйдет отличный наводчик»... Кого-то советовал поставить на подноску мин, кого-то определить в коноводы или ездовые. И обосновывал — почему. Один обладает огромной физической силой, другой глазастый и поджилки крепкие, третий без лошади жить не может...

Слушая его, мы дивились. Не из военного училища пришел к нам этот парень, не из полковой школы, всего лишь новобранец, а поди ж ты — знает нашу специфику, специальности в минометном расчете, в батарее.

— Ну а себя куда бы хотел определить? — спросил лейтенант Мостовой.

— Как куда? Я буду командиром минометного расчета.

— Кем? — засмеялся Мостовой.

— Командиром минрасчета, — твердо повторил Комаров.

«Вот нахал», — подумал я, готовый отчитать самоуверенного выскочку. Сдержанно спросил:

— А ты знаешь, что это за штука — миномет?

— Как же не знать?

И мы услышали такую историю. Наши войска отходили на восток. Под станицей Мелиховской был тяжелый бой. Потом, когда войска — свои и вражеские — прошли, Комаров с группой станичных ребят на поле боя нашли полуразбитый миномет, запрятали его в заброшенном сарае, а потом ходили туда, разбирали-собирали его и изучали правила стрельбы.

В первом взводе у нас не хватало сержантов на должности командиров огневых расчетов. С лейтенантом Михаилом Тарасенко мы рискнули поставить на эту должность рядового-необученного Никифора Комарова.

— Не бойтесь, товарищ комбат, — ответил на наше согласие Комаров, — все будет как надо. Одна только просьба: дайте мне в расчет тех ребят, которых я учил в Мелиховской.

Мы не ошиблись в Комарове. На первых же стрельбах его расчет показал лучшие результаты. Сам же он через месяц стал ефрейтором, в бой пошел младшим сержантом, вскоре ему присвоили сержанта, а через полгода старший сержант Никифор Петрович Комаров занял должность помощника командира взвода.

Кроме командной должности — и тоже с первых дней — Комаров получил и общественную. Его избрали секретарем комсомольской организации батареи взамен старшего сержанта Ивана Литвина, которого отозвали в

полк на должность секретаря полкового комсомольского бюро.

Казачьей хваткой и сноровкой сразу выделились братья Иван и Алексей Куликовы и Василий Поляков из донской станицы Раздорской. Ни разу не стрелявшие из автомата, в глаза не видевшие миномета, они быстро освоили и то и другое оружие. Рослые, красивые, ловкие, они словно бы родились для военной службы. Я понимал: парни росли в казачьих семьях, в которых всегда сильны военные традиции.

Как-то так случилось, что в батарее оказалось целое полтавское землячество. Полтавчане Федор Терещенко, Михаил Куприянов, Карпо Коваль, Яков Синебок с парнями из других областей Украины — их оказалось более двадцати — стали душой огневых расчетов. Старательные, крепкие, грамотные парни, как и их донские сверстники, очень быстро научились владеть оружием. Они же составили батарейный хор, который на дивизионных смотрах художественной самодеятельности стал получать первые призы.

Казак без песни, как и без коня, — не казак вовсе. Красиво, звонко и согласно пели хоперцы старинную песню «Посеяла огирочки». А донцы про свой тихий Дон начнут спивать — заслушиваешься. Ну а как все вместе — и донские, и хоперские, и чирские — затянут «Скакал казак через долину» или «Конь вороной с походным вьюком», то стой и не падай. В песне все: и лихая, бесшабашная удаль, и радость великая, и молодечество неуемное, и любовь к семье и родным.

Все свои полевые занятия Урюпинский ополченский полк, когда он стоял в родном городке, заканчивал маршем в слаженном конном строю по главной улице. И, кажется, весь городок от мала до велика высыпал и собирался на той главной улице, чтобы в вечерний час посмотреть на казаков-воинов, на горячих гарцующих коней, услышать песню, берущую за самое сердце.

Усталости как не бывало. На душе — праздник. И каждому молодому казаку своей бравой и статной посадкой, своим голосом, гарцующим своим конем хотелось и мальчишек-казачат подразнить, и перед девушкой или молодой женой выглядеть бесстрашным соколом. Старые же казаки тоже не лишали себя возможности блеснуть молодцеватостью, выправкой.

Батарея любила песню. Вечерами, когда все дневные заботы и хлопоты закончены, оружие почищено и поставлено в пирамиды, лошади ухожены и им задан корм, старшина сводил батарею на ужин, украинское землячество соберется кучкой, устроится в саду под пораненными яблонями, и вдруг Никифор Комаров скажет:

— А не спеть ли нам что-нибудь, хлопцы?

Один, другой, третий потихоньку начинают разгонять свои голоса. Смотришь — и все уже поют. Песня набирает силу и созывает к себе всех батарейцев. На жердочках, огораживающих сад, воробьями устраиваются хуторские ребятишки. Идет мимо какая молодка да и забудет, куда и зачем шла, остановится и, завороженная, приникнет к тем жердочкам. Комиссар Ковальчук ненароком заглянет. Незаметно примостится где-то, задумается. Песня сменяет одна другую. За старинной народной последует залихватская казачья с каким-нибудь разбойным присвистом. Вспомнится «Катюша», полная светлой грусти, тоски и нежности. За песней забывались усталость, все тяготы и лишения суровой солдатской жизни. Вечерние концерты под звездным кубанским небом обычно заканчивались «Песней о Днепре». Все чувства: сыновнюю любовь к родному краю, тоску о нем, сердечную боль, гнев и ненависть к врагу, веру в скорое освобождение — певцы выражали в песне.

Враг напал на нас, мы с Днепра ушли,
Смертный бой гремел, как гроза.
Ой, Днепро, Днепро, ты течешь вдали,
И волна твоя, как слеза...

Перехватило дыхание. К горлу подкатывался комок.

Кряхтел и сопел старшина батареи Рыбалкин и поглядывал на часы — трофейную штамповку. По времени надо было проводить вечернюю поверку и объявлять «отбой», но как прервать песню?

— Ах, стервецы, что делают, — незлобиво, для порядка, ругался он, воровато оглянувшись, переводил стрелки штамповок на четверть часа назад. — Дарьи Захаровны на вас нет. Она бы...

В числе пополнения пришли в батарею несколько человек, которые почти совсем не понимали ничего по-русски. Среди таких, например, был грузин Василий (Васо) Надашвилли и татарин Гулялий Гулялиев. Командир взвода лейтенант Ромадин, докладывая об этом, настаивал об отчислении их из батареи как не пригодных к службе. Выслушав такое заявление командира взвода, я решил поступить по-другому. Вызвал к себе сначала всех грузин — их было в батарее пять человек, а потом всех татар — их было в батарее тоже пять человек, на совет, как нам быть с товарищами, не знающими русского языка. Те и другие заявили, что овладеть русским языком нетрудно и они сами справятся с этой трудностью командиров. Среди грузин учителем объявился Александр (Сандро) Джишкариани, а среди татар Мизгари Туктамышев, оба хорошо владеющие русским языком. И я пожелал им удачи в этом сложном в боевой обстановке деле. Надо отдать должное этим товарищам, что через две недели все «руссконемые» понимали своих командиров и все их требования к ним, да и сами с большим удовольствием начали болтать по-русски, тренируя свою речь. А вот писать по-русски мы их так и не научили. Не было для этого ни условий, ни времени.

В один из дней с Надашвилли произошло ЧП. Дело в том, что батарейцы в свободное от занятий время не только пели песни, но и устраивали соревнования в поднятии тяжестей. А для этого где-то достали две двухпудовые гири. Так вот Надашвилли, этакий богатырь, дети-

на двухметрового роста и в плечах косая сажень, этими гирями играл как мячиками, а в завершение заявил, что он может поднять на плечах даже комбатовского Казака (одна из крупных лошадей в батарее). Решили проверить хвастуна, привели коня. Надашвилли же погладил голову и круп коня, обошел его вокруг, потом залез ему между передних ног, крякнул и поднял его передок, да так высоко, что опрокинул коня на спину.

Проходивший рядом командир полка подполковник Беленко, увидев эту картину, объявил казаку Надашвилли двое суток ареста и тут же приказал отправить на гауптвахту. А мне при всех казаках прочитал нотацию за потворство издевательству над конем и объявил выговор (устный).

Таким образом, я во время отдыха в Тамбовке схлопотал два взыскания от командира полка.

Пожалуй, самой приметной личностью в батарее был полтавчанин Яков Синебок. Он выделялся ростом. Двести пять сантиметров. Каких только прозвищ не дают высоким людям, с кем и с чем их не сравнивают. Гулливер, Пожарная Каланча, Дядя Достань Воробышка, Фитиль, Коломенская Верста, Телеграфный Столб. Не избежал их и Яша Синебок. Но у него хватало ума и терпения относиться к ним снисходительно, как к чему-то привычному и забавному. Поглядывая сверху вниз на любителей прозвищ, он лишь усмехался: чешите, мол, языки, мне от этого ни жарко, ни холодно. Яков Синебок обладал еще и незаурядной физической силой. Мины в его руках — он был в расчете заряжающим — выглядели детскими игрушками. Когда надо было менять огневую позицию, Синебок просил не разбирать миномет, как это обычно делается.

— Зачем? Сподмогните-ка, хлопцы, на плечо мне закинуть этот самоварчик. Я унесу, куда надо.

Закидывали, и он нес. А наш «самоварчик» весил около восьмидесяти килограммов. Из личного оружия пред-

почитал винтовку, а не кавалерийский карабин, из шанцевого инструмента — большую саперную лопату.

Своим двухсотпятисантиметровым ростом Яков доставил немало хлопот старшине батареи Алексею Елизаровичу Рыбалкину.

— Да как я тебя, детину такую, — спросил старшина не то себя, не то казака-новобранца, едва оглядев его, — одевать, обувать буду? Ты же ни под какие военные стандарты не подходишь.

Спрашивай не спрашивай, а одевать, обувать надо. Бойцу нет никакого дела до того, стандартный он или нестандартный.

На учебно-формировочном пункте, где всех других экипировали, для Якова, кроме армейского белья, ничего не нашлось: ни сапог, ни шинели или телогрейки, ни гимнастерки и брюк. На батарею он явился в том, в чем уехал из дому. В батарейной каптерке на рост казака ничего подходящего не нашлось.

— Ну ладно, — сказал старшина, — пошукаем в полковом и дивизионном складах обозно-вещевого снабжения.

Два дня старшина «шукал» в тех складах, да так ничего и не вышукал. Вернулся, чертыхаясь. Вызвал в каптерку Синебока. Теперь внимательно его оглядел. Взгляд задержал на ногах.

— Какого размера обувку носишь?

— Сорок восьмого.

— Что? — От удивления у старшины глаза на лоб полезли. Он внезапно рассмеялся. — Я-то, старый дурень, сорок пятый, сорок шестой искал. Думал, бóльших не бывает. А тут сорок восьмой! Вот это лапы так лапы! Слыхом не слыхивал про такие. Да ты понимаешь, Малыш? Может, во всей нашей армии не найдется человека с такими лапами.

— Найдется.

— Это где ж еще?

— Рядом. В пушечной батарее нашего полка. Дружок мой туда попал, Карапыш.

— И он точно такой же, как ты?

— Как с одной колодки. Рост — двести пять, вес — сто тридцать, размер обуви — сорок семь. И по имени тоже Яков.

— А где, прости меня, такую колодку сделали? На каких хлебах вы росли?

Насчет колодки Яков промолчал, про хлеба же, на которых росли, не без гордости заметил:

— На полтавских!

Оба они — и Яков Синебок, и Яков Карапыш — оказались из села Кнышевки Полтавской области. Оба — с двадцать третьего года рождения. В одной школе и в одном классе учились. Вместе были призваны в армию.

— Жаль только, что не вместе служим, неладно получилось...

— Ладно не ладно, — ворчал старшина. — Тут с одним мороки не оберешься. А ну-ка бы двое?

С полкового склада старшина принес самых больших размеров шинель, гимнастерку, брюки, надеясь, хоть что-нибудь подойдет.

— Примеряй!

Примерили. Ничего не подходило. Шинелька выглядела пиджаком-кацавейкой. Хлястик сидел не на талии, а на лопатках. Прямо от груди разлетались шинельные полы. Гимнастерка была широкой в плечах, но по длине едва доставала пупа, а рукава — до локтей. Гачи брюк не прикрывали икр.

— Не было печали, так черти накачали, — бурчал старшина, выпроваживая Синебока из каптерки. — Придется мастерить самим.

Каждое подразделение для таких случаев имело мастеровых людей, хоть и не всегда квалифицированных.

— Обожди, Малыш, — остановил Синебока старшина. — Слышал я, что Петр Первый, русский царь, тоже

«нестандартным» был. Говорят, сапоги-то он сам себе тачал. Да такие, что износу им не было.

— Извините, товарищ старшина. Я не царь. И сапожничать не умею.

— Жаль. В жизни бы пригодилось.

Тем вечером старшину увидели за необычным занятием. Топором он вытесывал из березовых чурбаков сапожные колодки. Через несколько дней сапоги-скороходы были готовы. Рыбалкин принес их мне показать. Ничего, хоть и неказистые, но добротные, из юфтевой кожи. Я свободно в них обулся, не снимая с ног своих сапог.

— А как с обмундированием богатыря?

— Сегодня все будет готово. Экипировка шик-блеск.

При построении батареи на ужин я увидел старшинский «шик-блеск». Казак-богатырь выглядел огородным пугалом. Темно-зеленая гимнастерка была с надставкой по подолу из непонятного цвета материала. Резко отделялись по цвету надставки к рукавам, они напоминали нарукавники. А гачи штанов, словно гетры футболиста, выглядывали из голенищ. Прижимистый старшина, как понял я, не хотел портить второго комплекта обмундирования, чтобы из двух смастерить один. Рассудил так: парадных и строевых смотров полка не предвидится, увольнений в город нет, значит, можно обойтись просто — сделать вот эти надставки из того, что есть под рукой. А под рукой у старшины обмундирование б/у — бывшее в употреблении. Не подходят по цвету? Но не все ли равно казаку?

Я ничего не сказал старшине. Но какое-то чувство неловкости перед воином не оставляло меня. Казак не может, не должен выглядеть охламоном. Тем более что мы не в бою. А что скажет мне, командиру батареи, Антон Яковлевич Ковальчук, когда увидит богатыря-гвардейца в том «шике-блеске»? Спасибо не скажет. Застыдит.

После ужина в гости к Синебоку пришел его друг из артиллерийской батареи Яков Карапыш. Сам с иголочки одетый, в подогнанной по его могучему росту форме, он, увидев своего тезку Синебока, схватился за живот.

— Ну, уделали тебя минометчики. О цэ добре! Як у цирке.

Я вызвал Рыбалкина с намерением отчитать. Он, видать, догадался о моем намерении.

— Алексей Елизарович...

— Товарищ комбат, промашку я дал, поскряжничал, каюсь. Но нашему Малышу уже через несколько дней справлю выходное обмундирование, не менее форсистое, чем на артиллеристе. А это пусть останется рабочей одеждой, как бы спецухой, — и, вздохнув, старшина добавил: — Чую я, товарищ комбат, этот Малыш много хлопот нам доставит.

В середине июня в наш полк приехал генерал Горшков. Как и в другие свои приезды, он побывал во всех подразделениях, беседовал с командирами и казаками. На этот раз генерала интересовало новое пополнение: его учеба, организация занятий, какую помощь молодым воинам оказывают ветераны полка. На пополнение нам обижаться не приходилось, на ветеранов — тем более. Старые казаки были лучшими учителями. К их слову и совету прислушивались молодые воины, с них брали пример. Генерал остался доволен.

Назавтра в полку был праздничный день. С утра объявили полковое построение. Выстроились на плацу. Из штаба торжественно вынесли гвардейское знамя. Прочитав Указ Президиума Верховного Совета СССР от 23 февраля 1943 года, Сергей Ильич Горшков прикрепил к знамени орден Красного Знамени. Этой высокой награды полк удостоился за отличие в боях в Кизлярских бурунах и при освобождении Ставрополья и Кубани.

В этот день многие участники боев получили ордена и медали. С какой же завистью смотрели молодые воины на ветеранов полка, отмеченных высокими правительственными наградами! Но всеобщая радость омрачилась печалью: многих награжденных не было в живых.

Со стариками-урюпинцами, своими земляками, генерал Горшков всегда любил встречаться. Не обошел

вниманием ветеранов он и в этот раз. Вечером стариков пригласили в штаб на генеральское чаепитие. Из моей батареи на него ушли Н.И. Чернышев, М.М. Пантелеев, П.М. Коваленко и А.Ф. Мамченко, К.Ф. Рудиченко и А.Е. Рыбалкин.

Вернулись они часа через два или три. И обрадованные, и опечаленные одновременно. Обрадованные тем, что генерал объявил о демобилизации из рядов армии казаков, достигших 55-летнего возраста. Никому из старых казаков домой явиться не стыдно: свой долг перед Родиной они исполнили. Но опечаленные тем, что приходилось покидать свою боевую семью, свой полк, который был родным, они создавали его, они были первыми ополченцами в нем.

Старики-батарейцы называли имена ветеранов из других подразделений, подлежащих демобилизации: П.С. Бирюков, П.И. Кузьмин, Н.Ф. Концов, С.Ф. Харламов, Н.Т. Гусев, С.Е. Хабаров, П.Н. Трощик, С.Н. Поцелуйкин... Многих из них я лично знал.

...Командир взвода 4-го эскадрона П.Н.Трощик на войну пошел по велению сердца, ополченцем, будучи председателем колхоза «12-й Октябрь» Добринского района Сталинградской области. В минуту затишья, в кругу молодежи, новичков взвода, любил вспоминать жизнь своего колхоза, лучших его тружеников, обычаи казаков в праздники и будние дни. Беспокоился, как бы казачки не опустили хозяйство без них, казаков, которых он лично, под своей командой, чуть ли не поголовно, увел в ополчение, на войну. А вот сейчас они уже все стали гвардейцами, чего и вам желаю.

Помнится, что с легкой руки старика Поцелуйкина весь полк начал «охотиться» за низко летящими самолетами противника. Огонь по самолетам из винтовок, карабинов, автоматов малоэффективен. Но он не давал фашистским летунам снижаться, ходить по головам и расстреливать по выбору живые мишени. А началось после вот какого случая. Стояли мы в ущелье Пшехо. С первыми лучами

солнца над нами появлялась «рама». Мы уже знали, что через час-полтора, а то и раньше, после нее налетит стая бомбовозов и начнет сыпать на наши головы свой груз. Степан Поцелуйкин, казак из третьего эскадрона, решил начать войну с «рамой». Он положил длинный ствол противотанкового ружья на сук высокой чинары и стал выжидать, когда «рама» снизится. Нет, казак не думал, что собьет «раму», просто решил «пужнуть». Казак выждал удачный момент, когда «рама», снизившись, пошла вдоль ущелья. Прикинул в уме упреждение. От сильной отдачи в плечо упал. Быстро вскочил, перезарядил ружье. «А все-таки врежу!» Не торопясь прицелился, нажал спусковой крючок. И сразу понял: влепил. «Рама» вздрогнула, клюнула носом, скособочилась. И задымила. Черная струйка потянулась за хвостом. Фашистский летун все же выправил машину и перевалил гору. Но оттуда сразу же донесся взрыв, эхо которого долго перекатывалось по ущелью. Из окопов, из щелей вверх полетели кубанки и папахи. Все это произошло на глазах полка. В тот день авиация противника не бомбила ущелье.

Генерал Горшков сердечно поблагодарил ветеранов за добрую службу, за стойкость, мужество и доблесть в боях, за умелое воспитание молодых воинов и пожелал им крепкого здоровья и успешного труда в тылу во имя победы над врагом. Слова вроде бы и служебные, привычные, но ведь как и кем они говорятся и кому предназначаются. Старики были растроганы.

— Гвардейцы в бою, — закончил генерал, — станут гвардейцами в труде. На это я крепко надеюсь.

— Все это так, товарищ генерал, — ответили казаки, — только почему никто не спросил нашего согласия на увольнение?

Генерал бросил взгляд на командира полка и его заместителя. Те молчали. В полку они новички. Получилась заминка.

— А разве есть несогласные? — спросил генерал у казаков.

— Есть, — поднялся гвардии старший сержант Овчинников. — Я не согласен на увольнение.

— Это почему же? — удивился Горшков.

— Мне обидно, Сергей Ильич, что меня причислили к старикам. Я не старик. Я пожилой, правильно. Но у меня есть здоровье и силенка. Опыта тоже достаточно. Я знаю, как нужен этот опыт сейчас. Полк-то обновился. А кто пришел? Парнишки. На днях вот понаблюдал занятия по огневой подготовке в артбатарее. Парни стараются, тут ничего не скажешь. Но силенок-то мало. Ящик со снарядами вчетвером на повозку поднимают, а должны управляться вдвоем. Правильно? Мне поручено командовать комендантским отделением штаба. Отделение несет охрану гвардейского знамени и отвечает за него головой. Я хочу под этим знаменем пройти до полной нашей Победы. Так что прошу вас, Сергей Ильич, просьбу уважить.

— Просьбу вашу, Василий Иванович, рассмотрим отдельно.

Демобилизовали, да и то с помощью врачей, не более десятка стариков-ветеранов. Остальные, а их в полку было еще немало, наотрез отказались.

Через несколько дней вместе с демобилизованными в Урюпинский, Михайловский, Добринский и Нехаевский районы Сталинградской области, туда, где родился наш полк, поехала группа казаков в краткосрочный отпуск. Все казаки из этой группы за отличие в боях были отмечены правительственными наградами. Отпускникам было поручено выступить перед трудящимися своих станиц, хуторов и районов с рассказами о боевом пути полка.

В письме Михайловскому райкому партии и исполкому районного Совета депутатов трудящихся казаки писали:

«...В феврале 1942 года мы в белокаменном театре Урюпинска поклялись беспощадно уничтожать врага, мы дали тогда слово завоевать звание гвардейцев. Это слово мы с честью сдержали. Наш полк — гвардейский. Наше знамя украшено боевым орденом Красного Знамени...

Меньше чем за год мы вывели из строя около 7000 солдат и офицеров гитлеровской фашистской грабьармии, подбили и сожгли 147 танков и бронемашин, 18 артиллерийских и минометных батарей, захватили большие, очень большие трофеи оружия, боеприпасов и другого военного имущества и продовольствия...

В полку уже награждено 320 казаков, сержантов, командиров и политработников, и надеемся еще больше получить наград в предстоящих боях.

Дорогие земляки! Обещаем вам, Родине, правительству, тов. Сталину тщательно подготовиться и драться еще ожесточеннее, еще искуснее».

...А пока? В 23.00 вечерняя поверка и отбой ко сну. Разбирай, казак, немудрящую, из соломы, но все-таки постель, и падай в нее замертво. Красота!.. Не жди, никто тебе по-родному не скажет «спокойной ночи». Спокойною она может и не быть. Может случиться, что в самый аппетит сна тебя поднимут по боевой тревоге. Время такое — война! Так что будь, казак, начеку, оружие держи около себя и всегда наготове.

К августу полк стал новым и был готов к выполнению боевой задачи. Это подтвердила инспекторская поверка, проведенная командованием дивизии и даже корпуса. А раз так, то через неделю погрузились в вагоны и поехали на Северо-Запад, в сторону фронта, для нового дела. На всех фронтах было некоторое затишье, видимо, перед жаркими схватками. Будет дело и для нас. Но вот где и как скоро? Не знали и терялись в догадках.

На глухом разъезде около города Белгорода выгрузились из вагонов. Совершив ночной марш, остановились на окраине Белгорода, разместились в прилегающем к городу небольшом лесу. Приказано окопаться и размещаться для жизни на длительное время. Это нам не понравилось, так как все рвались в бой, горели нетерпением снова встретиться с противником.

Города Белгорода как такового почти не было. Весь он, небольшой, в прошлом сельский, утопающий в зеле-

ни фруктовых садов, был изрыт окопами, траншеями и рвами, перевит и переплетен колючей проволокой. Всюду зияют воронки от разрывов бомб и снарядов, развороченные доты, разбитые и сожженные танки, броневики и орудия. Казалось, что эта земля все еще дышит жаром боя.

Молодые казаки здесь увидели то, что называется полем боя, о котором мы рассказывали им на занятиях и показывали на ящиках с песком, на которых была изображена действительная местность. Разместились и... снова учеба, но сейчас она была ближе к боевой. Три недели вели занятия на этом естественном полигоне — поле бывшего боя. Отрабатывали взаимодействия взводов, эскадронов, батарей и всего полка — и в наступлении, и в атаке, и в конном строю, и спешенные. Учились драться в окопах и в траншеях, обкатывали танками. Боеспособность полка и подразделений росла каждый день. Снова усилилась тяга в партию и комсомол.

Глава восьмая
ОТ КАЛЬМИУСА ДО ДНЕПРА

И снова мы в вагонах. 29 августа выгружаемся на станции Красный Сулин. Ночью, совершив 59-километровый марш, прибываем в район хуторов Ряжино и Политотдельский, тех самых хуторов, откуда пять месяцев назад ушли на Кубань на отдых и капитальный ремонт. 30 августа выходим на исходный рубеж. В этот день командование дивизии обратилось к казакам с письмом-призывом. В нем говорилось о боевом пути, о мужестве казаков-гвардейцев в боях с фашистскими захватчиками, о предстоящих боях.

«Дорогие друзья! — звало письмо-обращение. — Вам предстоят серьезные бои. Мы вновь идем на ратные подвиги. Наступил праздник и на нашей улице. Хвастливые немцы уже поджали хвосты. Теперь они и летом отступают под ударами Красной Армии. Освобождены от поганой немчуры Ростов-на-Дону, Орел, Белгород, Харьков, Таганрог, многие города Донбасса».

Письмо-обращение звало к подвигам во имя социалистической Родины.

Мы — на Кальмиусе, недалеко от знаменитого Матвеева Кургана. Кальмиус — немноговодная, извилистая, заросшая камышами, тальником, чапыжником речка. Она — один из опорных и крепких участков «Миус-фронта». Не сама речонка крепка, ее переплюнуть можно, а высоты, что сразу по западному берегу поднимаются за ней. Все

они начинены дотами, дзотами, минными полями, густо изрыты окопами, траншеями, огорожены колючкой.

Перед нашим полком на этот раз была высота 107,7. За нею виделась другая, отмеченная на оперативных картах цифрой 277,9 и примечательная тем, что на ней расположено древнейшее захоронение — Саурова Могила. Не сегодня-завтра мы пойдем здесь на прорыв. На совещании командиров подразделений замполит Ковальчук сказал, что пора кончать с остатками их хваленого «Миусфронта» и не слезать с седла до самого... Берлина.

Наш прорыв назначен в ночь с 9 на 10 сентября. Но немцы упредили. Они атаковали нас ранним утром 8 сентября, рассчитывая, видимо, расстроить наши приготовления и, если удастся, сорвать наступление. Их было не менее двух полков пехоты, поддержанных полутора десятками новейших тяжелых танков со звериным названием «тигр». С такими казакам встречаться еще не приходилось. Но мы знали, что на Курской дуге этих «зверей» хорошо колошматили.

До поры до времени наша оборона молчала, не отвечая на выстрелы танковых пушек, на минометный и пулеметный обстрел с высоты. Такой был приказ. Но вот передние машины противника достигли берега речки. И в этот момент разом заговорили артиллерийские и минометные батареи всех полков и дивизионный 182-й артиллерийско-минометный полк. Земля глухо дрогнула, а на том берегу Кальмиуса поднялась на дыбы. Весь берег сразу затянуло дымом и поднятой пылью.

Для новых «зверей» артиллеристы приготовили и новое угощение. Огонь они вели не бронебойными, как обычно, снарядами, а подкалиберными, которые не пробивали броню, а прожигали ее и только тогда, внутри машины, взрывались и плавились. Взрывы срывали башни, как сильный ветер срывает шляпы с головы, и часто разворачивали всю коробку. В первые же минуты на поле боя зачадили дымом или остались без башен восемь вражеских танков. Остальные стали пятиться и уходить.

И тут заиграли «катюши». Весь склон от берега реки до вершины, до самого гребня, потонул в огне. Горело все: трава, кустарники, сама земля. Горели гитлеровцы. Их смертный, нечеловеческий вой доносился до нашего переднего края. Молотили по склону и мы, минометчики, ступеньками перенося огонь все выше и выше.

Недобитые «тигры» покидали поле боя. Обезумевшая от огня пехота, точнее, остатки ее, свое спасение тоже искала в бегстве. Можно ли было упустить такой случай и не рвануть вслед за отходящим, убегающим противником? Можно ли было дать гитлеровцам время на то, чтобы очухаться, прийти в себя? Это было бы непростительной оплошностью. Куй железо, пока горячо. Третий и четвертый эскадроны нашего полка, а затем других полков, перемахнув речку, начали преследовать противника и скоро оказались на вершине высоты. Казаки первого и второго эскадронов, по боевому расписанию входящие в передовой отряд, сели на коней и оголили шашки. Вместе с батареей «сорокапяток», с ромадинским взводом минометчиков и танковой ротой, развивая успех, крепко сели на плечи в беспорядке отступающего противника. Отряд с ходу занял железнодорожную станцию Игнатьевну и проскочил до хутора Чичерина. В образовавшуюся брешь в обороне противника вошли все полки дивизии.

Самое удивительное в этой дружной и напористой контратаке было то, что потери полка оказались совсем минимальными: пять человек убитых и двенадцать раненых. Гитлеровцы же оставили на поле боя восемь танков, а на гребне высот две артиллерийские и одну минометную батареи, большой склад боеприпасов. И до двух батальонов убитыми. Получилось истинно по-суворовски: «Повелевай счастьем, ибо мгновение решает победу».

Полк дорожил мгновением. У хутора Чичерина казаки первого эскадрона наскочили на сильный пулеметный огонь врага. Эскадрон спешился. Казаки по-пластунски стали подбираться к вражеской обороне. А в это время второй эскадрон по балке на конях обошел хутор с дру-

гого конца и атаковал гитлеровцев. Немцы, увидев мчавшихся на них казаков с шашками наголо, побежали. Началась паника. Не давая врагу опомниться, казаки освободили еще три населенных пункта и подошли к большому хутору Графскому. Здесь, как стало известно от пленных, у гитлеровцев стояли танковая часть и пехотное подразделение.

Элемент внезапности теперь был утрачен. Противник, конечно же, приготовился к обороне. Надо было провести тщательную разведку и уточнить силы врага. Эскадроны спешились, в роще укрыли коней, стали окапываться. В полк послали донесение и попросили помощь. Помощь не замедлила явиться. И из полка, и из дивизии. В штабах внимательно следили за развитием событий. Из полка кинули к Графскому мою минометную батарею, из дивизии вот-вот должны были подойти танковый полк и несколько эскадронов из других полков. Пока подкрепления подходили, мы, минометчики, заняв огневую позицию, начали обстрел хутора, чтобы выявить огневые средства противника. Под вечер мы всей силой навалились на хутор, и он был занят. Гитлеровские танки почему-то не вступали в бой. Они ретировались из хутора до того, когда наши «тридцатьчетверки» только выходили на исходный рубеж для атаки.

Первый бой после «ремонта». Первое боевое крещение молодого пополнения.

Все мы, командиры подразделений, да, пожалуй, и командование полка, скрывая в душе беспокойство, а порой и тревогу, немало размышляли о том, смогут ли молодые казаки и молодые командиры, прибывшие на пополнение, не просто воевать, а крепко, по-гвардейски. Я не был исключением в таких размышлениях. Теперь можно сказать: беспокойство наше, тревога были напрасными. И новички-лейтенанты, и юные казаки боевое крещение прошли как надо.

Утро 3 сентября было тихим и теплым, солнце пылало во всю силу. На фронте шла ленивая перестрелка, напо-

минающая, что идет война и стороны друг от друга недалеко. И вдруг эту звенящую тишину разорвал грохот моторов. В нашу сторону, развернутым строем и стреляя на ходу, двигаются вражеские танки, а за ними и косяки пехоты. Большинство моих минометчиков впервые увидели движущиеся прямо на нас танки врага. Вид у фашистов довольно уверенный и устрашающий. Воротники их мундиров расстегнутые, рукава по локоть закатанные. Идут как на параде — не пригибаются и, кажется, не очень торопятся. Другие, сидящие на броне танков, ведут беспорядочную стрельбу из автоматов, приставив их приклады к животу. Но вид-то видом... Мы, уже видавшие такую демонстрацию психов, знали, что их ведет вперед или хмель шнапса, или страх ствола оружия сзади. Ну, а новички наши смотрят на уверенное бесстрашие своих бывалых в бою товарищей и тоже пока не проявляют страха и беспокойства. Делают все, что приказывают их командиры.

В то утро, 8 сентября, старшим на батарее я оставил командира первого взвода лейтенанта Тарасенко. С наблюдательного и командного пункта, расположенного в передней траншее, конечно, не видно было лейтенанта. Но я по опыту знал, что он напряжен до последней степени. Сумеет ли в этом напряжении обеспечить точную стрельбу, не будет ли в горячке боя путать команды? Не станет ли, наконец, искать укрытие, когда на огневой позиции начнут рваться вражеские снаряды и мины?

Даю данные для стрельбы и команду приготовить по десять мин на ствол. Команда выполняется быстро и четко.

— Первый, одна мина — огонь!

— Есть, одна мина огонь! — повторяет Тарасенко.

Это пристрелочный выстрел. Разрыв ложится на половине ската высоты, на правом фланге наступающего противника. Ввожу поправку. Танки подходят к берегу речки. Теперь всей батареей — серией по три мины на ствол — огонь! Хорошо ложатся мины. Пехота горохом

сыплется с брони танков. Когда гитлеровцы побежали, изменяю прицел с таким расчетом, чтобы каждая новая серия разрывов ложилась через сотню метров дальше. Работа батарейцев точная. Ежедневные многочасовые тренировки во время учебы сделали свое дело: действия расчетов и отдельных номеров отработаны и доведены до автоматизма.

Минометчики — рабочие войны, трудяги. Труд их, как и у артиллеристов, артельный. Попробуй посторонний человек выделить, кто из них лучше воюет, не сможет. Снайпер воюет в одиночку. В его снайперской книжке делаются отметки: убил столько-то врагов. Летчик-истребитель сбил столько-то самолетов противника. Бронебойщик, пулеметчик, минер, разведчик... Много есть военных профессий, где результаты работы зримы, поддаются счету и учету. У минометчиков, у артиллеристов счет, как правило, общий, батарейный. Редко — взводный. Батарея подавила столько-то огневых точек. Батарея уничтожила столько-то танков или живой силы врага. Но кто, чей расчет сработал лучше и стрелял точнее — определить почти невозможно. Только командир взвода или батареи знает, кто выполнял команды.

После того боя, на разборе, я сказал, что более дружно и слаженно работал взвод лейтенанта Мостового. Тарасенко не возразил мне. Да, согласился он, третий взвод работал лучше, а во взводе — расчет сержанта Куприянова.

Куприяновские хлопцы, в радостном возбуждении докладывал Мостовой, не работали, а играли, как хорошие музыканты в сыгранном оркестре. Я любовался ими — и братьями Куликовыми, и Поляковым, и Красноперовым. Молодцы ребята!

Лейтенант Тарасенко в своем первом взводе выделил расчет сержанта Комарова в составе Малого, Терещенко, Синебока и Дубровского. Правда, отозвался он о них скромно, без патетики.

— Артельные ребята, — сказал он просто. Но это была у Тарасенко высокая похвала.

Боевое крещение все же не обошлось без казусов. Об одном из таких казусов, смешном и забавном, рассказал мне командир первого эскадрона Николай Сапунов.

«Героем» боя за хутор Надежный неожиданно стал молодой казак-сабельник Алавердиев, казах по национальности. Выскочив из рощи и развернувшись, эскадрон на галопе пошел в сабельную атаку. Казак Алавердиев почему-то решил, что работать, рубить шашкой ему удобней и сподручней двумя руками, как рубят топором. Сила удара больше. И вот он видит впереди себя бегущего гитлеровца. Казак шенкелем чуть подвертывает коня, шашкой делает замах над головой и, крякнув, — хрясь! Но что такое? Гитлеровец не упал, он столбом стоит. С трудом переводя дыхание, Алавердиев, остановив и крутнув лошадь, ничего не понимает. В руках у него нет шашки. Она обо что-то металлическое ударилась — аж искры брызнули! — скользнула в сторону от головы немца и вырвалась из рук. Как позднее понял казак, немец успел поднять над головой автомат и удар клинка пришелся по нему.

Оба они — и казак, и гитлеровец — обалделые и ошалелые, теперь смотрели друг на друга, не зная, что предпринять далее. Они хлопали глазами: один небесно-голубыми, другой раскосыми и темными, как ночь.

У гитлеровца в руках был автомат. Подними он его, нажми на спусковой крючок, и — прощайся с жизнью, казак Алавердиев. Но немец не поднимал автомат. Его руки, словно плети, висели у бедер. Алавердиев, считай, был безоружен. О карабине, притороченном к седлу, он, наверное, забыл. Его взгляд был прикован сейчас к шашке, его шашке, которая лежала на земле у ног не зарубленного им врага. «Вырвалась проклятая!»

— Ты! — хрипло крикнул казах и, резко выбросив руку по направлению к гитлеровцу, ткнул пальцем в ноги.

Тот вздрогнул.

— Подавай моя шабля!

Немец испуганно поглядел вниз и понял, чего требует от него конник с раскосыми монгольскими глазами. Он наклонился, поднял шашку и подал ее хозяину. Сам же быстро забежал за круп лошади. Казак, получив из рук врага свою саблю, оглянулся. И ни с того ни с сего вдруг сказал:

— Знасиба.

Но тут же застыдился: кого он благодарит? И, сделав страшные глаза, погрозил немцу кулаком:

— У-у, фашиска мордя!

И опять смягчился. Миролюбиво добавил:

— Ладно, рубать твоя дурья башка моя больше не будет. Иди плен. Туда!

Не сказав больше ни слова, Алавердиев повернул коня и, дико гикнув, поскакал догонять свой эскадрон, который вел бой в хуторе.

...Я был рад за своих минометчиков и благодарен им. Но прежде и больше всего я благодарен тем, кто непосредственно на протяжении весны и всего лета учил молодых казаков науке войны, передавал им свой фронтовой опыт, воспитывал бесстрашие, готовил их и к этому и к другим боям, — людям с неброскими сержантскими лычками на погонах.

На станции Каргалинской, что на берегу Каспийского моря, к нам пришла целая группа сержантов. Одним из них был старший сержант Павел Яковлевич Марченко. Он очень скоро вошел в жизнь батареи и стал в ней самым необходимым человеком — парторгом. Институт комиссаров был упразднен. Казаки стали величать Марченко комиссаром. И он своими делами заслуживал такого высокого звания.

Родился Павел Яковлевич на Полтавщине. В сорок первом был эвакуирован в Астраханскую область. В армию пришел по партийному призыву. Спокойный и уравновешенный, он явился хорошим мне помощником. Своим тихим и мягким украинским говорком, своей неспеш-

ной рассудительностью и бесстрашным хладнокровием в бою, своей душевной открытостью истинного партийного работника Марченко привлекал и располагал к себе казаков. Он знал всех батарейцев, знал их семьи, жизнь и нужды семей. Проявит казак находчивость и смекалку, отличится чем-то в бою, парторг тут же, не откладывая, сообщит его родным, поблагодарит за воспитание доброго хлопца, настоящего воина. Погибнет кто, парторг напишет подробное письмо, пособолезнует, расскажет, как героически сражался казак за Родину, где и при каких обстоятельствах сложил голову, где захоронен. Батарейцы шли к парторгу, делились своими радостями и горестями, советовались с ним. Сам Марченко ни в работе, ни в бою не щадил себя. По нему равнялись. Часто можно было слышать: «А Марченко сделал бы лучше», «Держаться надо, как Марченко».

Марченко обладал глубокой партийностью в самом высоком понимании этого слова и умением убеждать. Вспоминаю весенний день под хутором Ряжино. Как-то утром он приходит ко мне в землянку и спрашивает:

— Вы помните, товарищ гвардии старший лейтенант, какой сегодня день?

— Обыкновенный день войны, Павел Яковлевич. Разве не так?

— Так-то оно так, да не совсем. Восьмое марта сегодня. Международный женский день.

Я в недоумении поглядел на парторга.

— А что это должно означать для нас? Мы на фронте. К тому же женский персонал батареи представлен единственным человеком — санинструктором Женей Пархолуп.

— Фронт фронтом и война войной, а праздник остается праздником. Не отметить его нельзя.

— Ну что же, — согласился я, — дадим распоряжение старшине, чтобы для Жени, нашей милой сестрички, он сварганил торжественный ужин. А сами подумаем над подарком.

— Это само собой.

— Что же еще?

— Доклад нужен!

— Что?!

— Доклад, товарищ гвардии старший лейтенант! Самый настоящий. О Международном женском дне. Я не шучу, товарищ гвардии старший лейтенант, нужен доклад.

Он был серьезен, как никогда.

— Доклад для одной Жени? — все еще не понимал я.

— Нет, для всех. Пусть казаки, слушая доклад, побывают дома, вспомнят своих матерей, жен, невест. Докладчиком выступите вы.

— Но... позволят ли нам немцы?

— Позволят. Сейчас затишье.

Парторг меня убедил. Я и сам теперь думал: не отметить этот праздник никак нельзя. И даже без доклада обойтись нельзя. Только вот материалы для подготовки где брать?

Вместе с Павлом Яковлевичем вспомнили историю праздника. У Алексея Елизаровича Рыбалкина я взял одно из писем Дарьи Захаровны, в котором она подробно рассказывала, с каким героизмом трудятся советские женщины в тылу. Теплое слово приготовил о Жене.

Вечером собрались в моей землянке. Светильником нам служила горящая оплетка телефонного провода. Двадцатиминутный доклад батарейцы слушали с каким-то необычным вниманием. Необычность эта, наверное, вызывалась необычностью самой обстановки, в которой проходило празднование. Казаков особо растрогало письмо Дарьи Захаровны Рыбалкиной. Они зашевелились, закряхтели и стали доставать из противогазных сумок, из карманов фотографии и письма от своих матерей, сестер, жен.

Именинницей была наша Женя. Старшина батареи Филипп Павлович Шубин и повар Кирилл Федорович Ру-

диченко преподнесли девушке пирог и подарили песню «Вот кто-то с горочки спустился». Старшина и повар обладали замечательными голосами. Тенор повара звенел в этот славный вечер, словно серебряный колокольчик. Повара казаки звали «романовским» соловьем. «Романовским» потому, что Кирилл Федорович был родом из станицы Романовской Ростовской области.

Вечер кончился ужином. Старшина принес термос пшенной каши, двухкилограммовую буханку хлеба и две алюминиевые фляжки спирта.

Во взводе Рыбалкина начали службу два очень юных сержанта — Иван Николаевич Литвин и Николай Иванович Малый. Оба они до призыва в армию учились в Сальском техникуме механизации сельского хозяйства. Оба — рослые, веселые, неунывающие. И оба — очень старательные. Возиться с минометами, рассчитывать и составлять таблицы ведения огня, вести стрельбу для них было удовольствием. Одного из них, Ивана Николаевича Литвина, командир взвода почему-то звал по имени-отчеству, а другого, Николая Ивановича Малого, — Товарищ Наоборот. Сержанта Малого это «Наоборот» не обижало, скорее всего, забавляло.

Иван Николаевич и Товарищ Наоборот между собой крепко дружили. Но это им не мешало относиться друг к другу с некоторой завистью и ревностью. Как, впрочем, и сам Рыбалкин с той же, если не с большей, завистью и ревностью относился к лейтенанту Ромадину и его взводу.

Появляется какая-то не очень значительная цель. Даю задание Рыбалкину подавить ее, а тот своим сержантам.

— Слушайте, Иван Николаевич, и ты, Товарищ Наоборот, кто из вас надает по морде вон тем фрицам?

Иван Николаевич торопливо якнет. Рыбалкин принимает решение наоборот:

— Накрывай цель, Наоборот!

Как-то заметив такую несправедливость, я спросил Рыбалкина, почему он так делает. Взводный удивился моему вопросу.

— Товарищ комбат, — Рыбалкин имел привычку именовать всех начальников не по званию, а по должности, — как же иначе? У молчаливого да старательного всегда лучше получится. У того же, кто поспешно якает, огоньки нередко впустую прогорают.

— А как же твой Иван Николаевич после таких решений, не обижается?

— А что ему обижаться? Перестал со своим «я» поперед батьки лезть. За это от меня ему почет и право на стрельбу.

В этой же группе пришел к нам старший сержант Лазуренко, тоже Иван Николаевич. Обстоятельный семейный человек двадцати четырех лет. С началом войны его, главного механика МТС в Ивановской области, в армию не мобилизовали, оставили на брони. Призвали в сорок втором. По складу характера Лазуренко отличала от многих других крестьянская степенность, аккуратность. Мастеровые руки бывшего главного механика постоянно были чем-то заняты. В разговоры он вступал как бы по нужде. На вопросы отвечал, обдумывая каждое слово. Не любил краснобаев, считая их людьми никудышными, сороками. К войне, «смертоубийству», как он говорил, относился как к противной, но необходимой работе, которую надо делать, как и любую другую, со всей обстоятельностью, смекалкой и хитростью.

При распределении служебных обязанностей я спросил Лазуренко, в каком взводе он хотел бы быть и какую работу выполнять.

— Работу, как и жизнь, я себе никогда не подбирал и не подбираю,— ответил он и, подумав, добавил: — Какое дело дадите мне в руки, то и делать буду со всем старанием и сколь сил хватит. Миномет я знаю, стрелять из него умею, а вот с конями вожжаться мало приходилось.

Все больше с техникой. Трактора, комбайны, плуги, сеялки...

— Если я назначу вас помощником командира взвода, как на это посмотрите?

— Отказываться не стану. Только не подвести бы вас. В бою я еще не бывал, командовать военным народом тоже не доводилось. Как оно пойдет?

Я назначил Лазуренко помкомвзвода в третий взвод. И скоро убедился: дело старший сержант знает хорошо, с людьми умеет ладить, добр к ним и доверчив. В бою, какая бы трудная обстановка ни складывалась, головы не терял, наоборот, своим спокойствием вселял уверенность и в других. Он делал работу. И искал этой работы. Когда батарея ведет бой, место помкомвзвода в ближнем тылу. Под его командой и ответственностью находятся все коноводы и ездовые с их хозяйством — лошадьми, повозками, боеприпасами. Там Лазуренко был распорядительным хозяином. Но его тянуло к боевой работе, к «огоньку». Он тихо радовался, когда случалось в бою заменять командира взвода.

Однажды — было это в Кизлярских бурунах — во время короткого затишья Лазуренко пришел ко мне с необычной просьбой.

— Товарищ гвардии старший лейтенант, разрешите мне сходить на охоту.

— На какую охоту?

Время зимнее, перед носом противник, зверья в районе боевых действий нет и вдруг — сходить на охоту. Что за выдумка? Я только собрался выговорить об этом Лазуренко, как он повторил свою просьбу, уточнив ее.

— За фрицами, товарищ старший лейтенант.

— Вы снайпер, что ли?

— Не скажу, что снайпер, но десяток-другой фрицев, думаю, смогу послать на тот свет. — И он объяснил суть своей охотничьей затеи: — Значит, так: беру миномет, заряжающего и наводчика, какое-то количество мин, выдвигаюсь за наш передний край в укромное местечко,

маскируюсь, наблюдаю и жду. Появляется подходящая цель — накрываю ее...

Основательно все продумал Иван Николаевич. И время, когда выходить на охоту, откуда вести наблюдение, и «укромное местечко» подобрал — подбитый немецкий танк перед позициями четвертого эскадрона.

— Так как, товарищ старший лейтенант? — ожидая ответа, спросил старший сержант.

— Готовься к охоте, Иван Николаевич! — говорю ему.

Я немало поволновался, когда Лазуренко с минометом и двумя казаками ушел на первую охоту, боялся: погубит себя, казаков, миномет. Но проба оказалась более чем удачной. Охотник выследил и накрыл машину, полную гитлеровцев. Потом на такую охоту Лазуренко ходил много раз: и на Кальмиусе, и под Орлянском, и под Корсунью — и всегда удачно. Казаки любили Лазуренко.

На батарее как поветрие распространилась мода меняться вещами: часами, портсигарами, кисетами, мундштуками.

— Махнем не глядя?

— Махнем.

На этом «маханье» хитрюги надували людей простодушных и доверчивых. Попался на удочку и Лазуренко, однажды «промахнув» именные часы на луковицу, обыкновенную огородную, с цепочкой.

Голь на выдумки хитра, как гласит русская пословица. До чего только не додумается русский мужик. Изобретательству его, наверное, нет предела. Вспоминается находчивость сержанта, водителя легковой автомашины, в бою на крымском фронте. Когда я лежал, полуголый, на косе Чушка, после переправы через Керченский пролив, то с удивлением смотрел, как к берегу по воде пролива подошла легковая автомашина, поднимавшая столб брызг крутящимися задними колесами, гнавшими машину вперед. В пришвартовавшейся к берегу машине сидело два человека — водитель-сержант и справа от него полковник. Полковник открыл ветровое стекло и попро-

сил столпившихся около этого чуда солдат вытащить их из воды. Его просьба была выполнена солдатами с удовольствием, автомашина была мигом вынесена на берег. Из машины вышли пассажиры, а потом водитель отвязал из-под передка пустую бочку и две из-под заднего моста и снова попросил солдат помочь ему снять машину с этих поплавков, а затем они оба сели в машину и уехали в сторону Темрюка.

Сержанты, сержанты! Рассказываю сейчас вот о них, и, как видение, все они стоят перед глазами — Алексей Рыбалкин, Павел Марченко, Сергей Пахоруков, Николай Ежов, Иван Литвин, Василий Поляков, Николай Малый, Никифор Комаров, Иван Лазуренко и многие, многие другие. За годы войны немало их прошло через батарею. Одни по ранению убывали в госпитали и не возвращались, других хоронили в братских могилах, с третьими продолжали рядом шагать по новым дорогам, прорываться в новые рейды. Умелые и стойкие воины, учителя и воспитатели, они всегда были крепкой опорой командиров взводов, батарей и эскадронов, и от них, прежде всего от них, зависела наша боеспособность. Надежные люди!

Мы готовились к штурму Волновахи. Город этот — важный железнодорожный и шоссейный узел, и немецко-фашистское командование превратило его в сильный опорный пункт. Штурмовать его будет наша 11-я гвардейская казачья дивизия, усиленная артиллерией и танками. Создан головной отряд. В нем — по эскадрону из каждого полка, батарея противотанковых пушек, минометная и рота танков.

В ночь на 10 сентября все казачьи полки дивизии подошли к юго-восточной и южной окраинам города и затаились. В городе действовала лишь разведка. На рассвете внезапным ударом на юго-восточную окраину ворвался головной отряд и эскадроны братского 39-го полка. Смяв

оборону немцев, казаки начали продвигаться в глубь города. Вступили в бой эскадроны 41-го полка и нашего 37-го. Потом подошли танкисты. Гитлеровцы дрогнули и начали отходить на запад. К полудню город был полностью в наших руках. Казакам стало известно, что у врага захвачены очень большие трофеи.

Многие казаки-гвардейцы отличились в этом бою. Среди отличившихся снова был первый, сапуновский, эскадрон. Выйдя из боя в городе и обойдя его, Сапунов повел своих конников на перекрытие дороги отступающему противнику. Эскадрону удалось это сделать. Более того, в пяти-шести километрах от города он захватил хутор Карловку, оседлав дорогу, ведущую на Запорожье. Казаки здесь быстро заняли круговую оборону. Ни в штабе полка, ни в штабе дивизии сразу даже не поверили в сапуновское донесение о захвате хутора.

Гитлеровцы не могли примириться с потерей Волновахи. 11 сентября, едва только рассвело, над городом и железнодорожной станцией появились вражеские бомбардировщики. Они шли волнами. Бомбежка была лютая, она продолжалась в течение часа. Пылал город, пылала станция. Начали рваться боеприпасы в эшелонах. Они разносили в щепки строения самой станции и близлежащие жилые кварталы. Братские полки понесли значительные потери и в людях, и в лошадях. Наш 37-й полк, находясь на хуторе Карловка, бомбежки избежал.

В это утро по чистой случайности остался жив командир нашего полка подполковник Беленко. Вызванный в штаб дивизии, в городе, на железнодорожной станции, он попал под бомбежку. С командиром полка ехал помощник начальника штаба капитан Никифоров. Лошадь под Беленко сразу убило. Тем бы, наверное, кончилось и для самого Давида Амвросиевича, если бы не Никифоров. ПНШ-2 сильным толчком сбил Беленко под бок убитой лошади, а сам упал на него. Не очень надежное, а все-таки прикрытие. Никифорова тяжело ранило. Беленко отделался легким испугом.

Бои продолжались. Всякий раз они были очень похожи один на другой. И всякий раз чем-то не похожи. Воевать нам теперь стало легче и трудней. Легче потому, что наступать приятнее, чем отступать, что возросло наше вооружение, что прибавились наши силы и умение. А труднее потому, что отходящий враг оставляет за собой выжженную землю с разрушенным транспортом и наши тылы и базы снабжения постоянно отстают, что драться приходится за большие села и малые хутора, за каждую высотку, рощицу, выселок, за каждую реку и речку.

...Бой за хутор Малую Токмачку складывался странно. Случилось так, что мы, минометчики, оказывались впереди наступающих эскадронов. А тут появились танки. И быть бы нам под гусеницами, если бы не подоспели и дружно не ударили по танкам наши друзья-пушкари. Но самое главное, что в такой обстановке, когда по батарее били и пехота, и танки, потери мы понесли ничтожно малые. Были убиты два сержанта из нового пополнения — Иван Васильевич Куликов и Иван Степанович Шуваев. Впрочем, во время боя был убит только Куликов, а Шуваев погиб уже после боя, когда батарейцы перекуривали. А произошло это так.

Еще не остывшие от боя и потрясенные гибелью Куликова, я, Рыбалкин, Комаров, Шуваев и Алексей Куликов (брат погибшего) группой сидели на бруствере окопа, дымили «козьими ножками» и устало перебрасывались словами о закончившемся бое. Вдруг раздался резкий шлепок и снарядный визг. Все оглянулись.

— Никого не задело? — спросил Рыбалкин.

— Вроде никого. А где Шуваев?

Иван Шуваев лежал на дне окопа. Мы подняли его. Он оказался мертв. Голова его была снесена болванкой танкового снаряда.

В стычке за хутор Малый Кормчик погибли совсем юные лейтенанты-сабельники Владимир Иванов и Георгий Чергинцев. Этих ребят я знал. Они дружили с Михаилом Тарасенко и изредка наведывались на батарею.

Родом оба они из Матвеева Кургана, того самого, возле которого мы топтались весной и не могли его взять и к которому вернулись на исходе лета. И как же хотелось ребятам побывать в родном селе, когда оно, многострадальное, наконец-то было освобождено. Но обстоятельства сложились так, что встретиться с отчим домом в те дни не удалось. Тогда они попросили командира эскадрона, что если им доведется погибнуть близ родных мест, то они хотели бы быть похороненными возле Саур-Могилы. Разговор этот дошел до заместителя командира полка по политчасти А.Я. Ковальчука. Антон Яковлевич вызвал лейтенантов и, что называется, вправил им мозги за похоронные настроения.

Но вот случись же такое: оба лейтенанта погибли в одном бою и в одночасье — 13 сентября 1943 года. Надо отдать должное Антону Яковлевичу: он не забыл просьбу молодых офицеров и тела их отправил на пулеметной тачанке за сто двадцать километров. Их захоронили на высоте рядом с Саур-Могилой и поставили памятничек. Еще весной я много был наслышан о Саур-Могиле — памятнике древности и героического украинского эпоса. Саур-Могила вошла в легенды, народные думы, песни.

От бомбежек, в конных и пеших атаках при освобождении хуторов и сел полк нес ощутимые потери в людях и лошадях. Очень заметно убывали сабельные эскадроны. И хотя прошло совсем мало времени с начала боев, полку требовалась передышка, чтобы вновь пополниться людьми. Такую передышку нам дали. Мы заняли села, недавно нами освобожденные: Большой и Малый Токмаки.

В один из дней, впервые за всю войну, наш полк навестил армейский ансамбль песни и пляски. Концерт устроили в саду, под яблонями. Но не повезло ни нам, зрителям, ни артистам. Концерт был в самом разгаре, когда прозвучала команда:

— Воздух!

Укрыть или хотя бы рассредоточить в считаные минуты огромное количество людей, собранных вместе, сра-

зу невозможно. Решено было продолжать концерт, авось пронесет. Не пронесло. Бомбы посыпались на село, на яблоневый сад. Одна из бомб упала недалеко от «театра». Артисты не пострадали. А вот зрителям перепало. Из нашей батареи была тяжело ранена сестричка Женя Порхалуп. Эту восемнадцатилетнюю девушку, украинку из-под Винницы, любили все батарейцы. Как бы ни трудно приходилось казакам в боях и глубоких рейдах — недели, месяцы в седле и на колесах, — Женя никогда не просила себе поблажки. Она всегда знала свое солдатское место. Юная казачка бывала иногда грубоватой и резкой — это к не в меру ретивым ухажерам — и по-сестрински, по-матерински ласковой и нежной — к раненым. Для всех она была сестричкой. Своевременной помощью многим казакам спасла жизнь. На маршах была терпеливой, в бою храброй и по-женски слабой и жалостливой, когда кто-то погибал. Отправив Женю в госпиталь, батарейцы долгое время ходили, словно в воду опущенные. И вспоминали, где, когда и кому Женя оказывала помощь. Вспоминал и Ата Чариев...

На фронте постоянно горькое соседствует с чем-то веселым и смешным. На Кальмиусе, где мы едва только заняли позицию, с казаком Атой Чариевым, туркменом по национальности, произошел такой случай. С вечера он не полез ни в окоп, где слишком тесно, ни в землянку с ее спертым воздухом, тяжелым запахом немытых тел и вонью портянок. Казак расположился на вольном воздухе у минометного ровика. На землю постелил плащ-палатку, под голову пристроил ящик с минами, укрылся шинелью.

На рассвете противник сделал на батарею короткий артналет. Я выскочил из землянки сразу же после первых разрывов и увидел, что один из снарядов угодил в минометный дворик. Оттуда взметнулся столб дыма и огня. Сознание обожгло тревогой. Побежал к дворику. Прямым попаданием разбит миномет. Взрывной волной расшвыряло во все стороны штабель ящиков. Кто-то из расчета засыпан песком в окопе. Один казак лежит распластан-

ным за бруствером ровика. По тревоге я поднял несколько человек, чтобы скорее откопать засыпанных казаков. К тому, что лежал за бруствером, подбежала сестричка. Она опустилась возле казака на коленки и стала переворачивать его на бок. И вдруг сердитый голос казака:

— Что ты, девка, делаешь со мной?

— Ты... живой? — растерянно спросила Женя.

— А ты разве не видишь? — Чариев блаженно потянулся, хрустнул суставами, сказал: — Ах, какой хороший сон я видел. Свою Туркмению. Кишлак... А что случилось?

— Да поднимись ты, соня, погляди.

Чариев поднялся, поглядел. На его лбу выступила испарина. В десятке шагов от него валялся разбитый миномет. Ящик, который он клал под голову, лежал далеко в стороне, его выбило взрывной волной, а мины раскидало. Удивление и испуг казака сменились огорчением, хотя и напускным.

— Ты пошто, девка, сон не дала доглядеть? Хороший был сон...

Что-что, а поспать Ата Чариев любил. Спать он мог под обстрелом, спать он мог на коне во время марша. Зная эту слабость Чариева, казаки частенько подшучивали над ним. Бывало, расстегнут на ходу подпругу, седло постепенно съедет с коня и упадет. Вместе с седлом упадет и Ата Чариев. И... не проснется.

Полк пополнялся. Пополнялась и моя батарея. Командир второго эскадрона старший лейтенант Захаров передал мне в батарею Василия Шабельникова, минометчика по специальности. Личностью Шабельников стал приметной. В свои девятнадцать лет он походил на двенадцатитринадцатилетнего подростка. Даже ребячьи черты на лице еще не изросли, не изгладились. Великоватая, не по голове, кубанка постоянно сползала Василию на глаза. Не вышел казак и ростом. С винтовку был, да и то если брать без штыка. Мужчина в сто пятьдесят сантиметров. Батарейцы поставили Василия рядом с Яковом Синебоком, и смех всех взял: своей головой казачок едва доста-

вал до пояса Синебоку. Даже всегда серьезный и сдержанный на шутки Яков развеселился. Глянув сверху вниз, он рассмеялся:

— Ты видкеля такий... недомерок?

Но мал золотник, да дорог. До прихода в батарею, в эскадроне, Василий Шабельников не раз ходил в атаки. Об одной из них, первой, и о своем командире сабельного взвода младшем лейтенанте Савченко через много лет после войны с душевной теплотой Василий напишет мне: «Моему командиру было лет под пятьдесят. Невысокий ростом, коренастый, седой, он поражал нас песнями. Младший лейтенант до самозабвения любил петь украинские песни. На больших и малых привалах, во время перекуров, в любую свободную минуту (да что свободную — всегда!) без песни он не обходился. И даже в бою его не оставляла песня.

Помню 8 сентября 1943 года. Утром своим эскадроном мы заняли оборону на реке Кальмиусе. Стали вести наблюдение за противником и готовиться к наступлению. Скоро последовала команда: «Приготовиться к атаке!» Минут через пять под командованием Савченко мы поднялись и, открыв ураганный огонь по фашистам, пошли вперед. Наш командир взвода, на ходу стреляя из автомата, громко запел «Посеяла огирочки».

Немцы не выдержали яростной атаки, побежали. Казаки проскочили окопы гитлеровцев, а мы, человек пять вместе с младшим лейтенантом, у окопов задержались. Нас остановил пистолетный выстрел, раздавшийся метрах в двадцати слева. Стрелял немецкий офицер. Мы увидели, что в окопах, за тем офицером, еще есть немцы. Но стрелял один. Мы крикнули: «Хенде хох!» (Руки вверх!). Те, другие, подняли руки. А этот гад продолжал стрелять. Пришлось залечь. Я бросил гранату, но она упала за окопом, а немец-фашист пригнулся, спрятался. Я бросил вторую гранату. Офицер поднялся и тут же взвыл — был ранен. Но не поднял рук, а бросился на нас не то с ножом, не то с гранатой. Младший лейтенант Савченко пристре-

лил его. Остальные десять немцев сдались в плен. Пленные страшно были ошарашены тем, что в такой ситуации, в разгар смертельного боя, советский офицер пел.

Три-четыре минуты, не более, длилась эта схватка. Пленных мы отправили в штаб полка, а сами продолжали наступление. По убегающим немцам наши минометчики вели тогда удивительно точный и частый огонь. Савченко воскликнул: «О це добре минометчики кыдают огирочки!» и продолжал петь все ту же песню».

Мужеству, смелости Василий Шабельников учился, наверное, у своего командира взвода младшего лейтенанта Савченко. На батарее юный казак к любой работе относился с великим прилежанием. Но и молчаливости тоже был великой. Пожалуй, только парторгу батареи старшему сержанту Марченко удавалось разговорить Шабельникова. Однажды случайно я услышал их беседу. Они сидели на завалинке дома, где я квартировал.

Шабельников сказал, что кидать мины ему больше нравится, чем шашкой махать.

— Что значит «нравится»? — спросил Марченко. — Это же не гармонь, игра на которой может нравиться и не нравиться.

— Не гармонь, — согласился Шабельников. — Но сколько сразу можно укокошить фрицев одним залпом батареи? Ого! Душа радуется.

— Страшно ходить в конные атаки?

— Самому-то мне не очень, да шкура почему-то дрожит.

— Сколько ты зарубил гитлеровцев?

— Василий Александрович говорил, троих. А сам не знаю.

— Как это не знаешь?

— Так, не знаю.

— Кто такой Василий Александрович?

— Эскадронный наш.

— Медаль «За отвагу» за них получил?

— Не знаю.

Я определил Василия своим связным. И не ошибся. Из штаба ли полка, с огневой ли позиции батареи он являлся ко мне на наблюдательный пункт часто с ног до головы облепленный грязью, а иногда и в простреленной одежде: приходилось ползти под огнем, под обстрелом противника.

На смену Евгении Пархолуп санинструктором на батарею прислали Панну Мазурик. Ранее она была в артиллерийской батарее 76-мм пушек нашего полка. Дивчина была тоже боевая. Мы знали: в артбатарее у Панны есть жених, командир орудийного расчета сержант Иван Цурпал. Мы разрешили Ивану Цурпалу видеться с невестой, когда на то выпадала какая-то возможность.

Любовь на войне — трудное счастье. Его с достоинством несли и Панна, и Иван. К сожалению, недолго. Панна ожидала ребенка, и скоро мы проводили ее домой, в Томскую область. А примерно через месяц в боях за Молдавию погиб ее Иван. Из писем мы знали, что Панна родила дочь, и очень жалели, что малютке никогда не доведется узнать теплоту отцовских рук.

В эти дни в полк пришла приятная весть: за боевые заслуги перед Родиной, за овладение городом и железнодорожным узлом Волноваха дивизии присвоено почетное наименование «Волновахской» и она награждена орденом Красного Знамени.

24 октября мы снялись из Большого и Малого Токмаков, походным маршем проследовали Пятихатку, освобожденную нашими войсками неделю назад, и вышли на подступы к городу Орлянску — сильному опорному пункту врага на реке Молочной. Бои за Орлянск были тяжелыми и затяжными. Потери мы понесли большие. Только в моей батарее вышли из строя сразу два командира взвода из трех — лейтенанты Ромадин и Мостовой. На командование одним взводом пришлось вернуть старшего

сержанта Рыбалкина, а другой взвод поручить старшине Жерлицыну.

Нашу дивизию и весь 5-й гвардейский казачий кавалерийский корпус командование фронта ввело в орлянский прорыв. Теперь мы вырывались на степные просторы Северной Таврии. Северная Таврия — это безоглядная равнинная степь. Здесь мало дорог и редки населенные пункты. Сплошной обороны противника в степях не было. Мы шли стремительным, форсированным маршем. Путь нашего полка лежал через большое село Маячки на Асканию-Нову и Чаплинку.

Аскания-Нова — заповедник мирового значения. В нем сохранялись и разводились редкие копытные животные из дикой природы, которых не только в нашей стране, но и на всей земле осталось немного. Перед нами ставилась задача: спасти уникальный заповедник от разорения, ограбления и уничтожения фашистами. И другая — перерезать шоссейную дорогу, идущую через Каховку в Крым. Затем, при удачном развитии событий, продолжить рейд, выйти в низовье Днепра и, заняв город Цюрупинск, лишить противника последней железнодорожной магистрали, связывающей его с Крымом: Херсон — Джанкой. Этой операцией завершалось очищение левобережья Днепра на всем его протяжении и полностью блокировался с суши Крым, все еще занятый противником.

Асканию-Нову и Чаплинку мы заняли без особого труда. На вражеские гарнизоны свалились внезапно. Долго здесь тоже не задержались. Сдав их подошедшим стрелковым частям, сами продолжали рейд. При своем движении по Северной Таврии мы обходили сильные очаги сопротивления противника, оставляя их у себя за спиной и зная, что гарнизонам этих опорных пунктов держаться недолго. За нами шла «царица полей» пехота. У нас же, конников, происходили мелкие стычки с небольшими группами противника, разведчики вели беспрерывный поиск.

О полковых разведчиках, их смелости, смекалке и находчивости стоит сказать особое слово. Отпетые головушки! Особым словом о них, наиболее выразительным, как мне кажется, будет рассказ о некоторых эпизодах боевой жизни этих людей, которым сам черт не брат и не сват.

Казак-разведчик со смешной фамилией Дырочка в бою за хутор Надежный сберег командира дивизии и командира полка. Генерал Сланов и подполковник Беленко, остановив машину на пригорке недалеко от хутора, наблюдали за конной казачьей атакой. Командиры настолько увлеклись, что не заметили, как из середины хутора, из переулка вынырнула грузовая автомашина, битком набитая удиравшими гитлеровцами. Охрана командира дивизии тоже рты разинула. Гитлеровцы, объехав машину генерала, открыли по ней автоматный огонь. И плохо, пожалуй, кончилось бы, не подскочи в эти считаные секунды разведчик Дырочка. Он соскользнул с коня, кинул на капот генеральской машины ручной пулемет и ударил по немцам. Машина резко вильнула, на всем ходу влетела в глубокий кювет, перевернулась. В кювете под машиной оказалось девять убитых и одиннадцать раненых и искалеченных гитлеровцев.

...К хутору Черненьки разведчики подъехали вечером со стороны огородов. У плетня спешились. Прокрались к крайней хате и узнали, что в хуторе есть немцы. На чьем подворье, — разведчикам указали. Огородами подобрались к тому подворью. Там стояло три бронетранспортера. Возле них копошились гитлеровцы. Лавриненко кинул пару гранат. Дырочка хлестнул из пулемета. Афронин поддержал автоматным огнем. Немцы не приняли боя. На двух транспортерах им удалось укатить. На подворье остались пять мертвых штабных работников, один бронетранспортер и две подводы с погруженными на них сейфами с картами, штабными документами, пишущая машинка, а за околицей хутора — склад с продовольствием

и оружием. Охрана склада после первых выстрелов разбежалась.

Примерно такой же случай произошел в другом населенном пункте, где стояли румыны. Едва разведчики открыли пулеметно-автоматный огонь, как румыны, побросав машины с продуктами и боеприпасами, три пулемета и полевую кухню, живо умотали.

Еще задолго до подхода к Цюрупинску на степных дорогах мы натыкались на брошенные отходящими войсками противника исправные, но без горючего автомашины, трактора с тележками, тягачи с пушками на крюке, повозки и фургоны, запряженные лошадьми или волами и полные всякого военного имущества: боеприпасов, обмундирования, снаряжения, оружия.

Все это чаще всего бросали румынские солдаты. Нередко, убегая от натиска русского солдата, они даже бросали своих раненых. Ненадежное это, слабое воинство. Видимо, потому и бросали немцы в наступление румын силою оружия, а при неустойчивости их расстреливали.

Войска румын были слабо вооружены и слабо подготовлены. Моральный дух солдат низок. Да и от чего он должен быть высоким? Нищий, забитый, неграмотный румынский крестьянин по воле своих правителей — прислужников Гитлера — оказался одетым в солдатскую шинель. Ему сунули в руки оружие и сказали: «Иди, завоевывай великую Россию». А не спросили: нужна ли крестьянину, извечному земледельцу, садоводу и овощеводу, эта «великая».

...Полковой комендантский взвод двигался в село Брилевку. А навстречу ему из Брилевки шел длинный обоз в несколько десятков телег и фургонов, набитых всяким барахлом.

— Что за цыганский табор? — спросил командир взвода старшина Овчинников.

— Дай-ка по этому «табору» пару горяченьких, — сказал старшине помощник начальника штаба Моргунов, едущий со взводом.

Старшина развернул пулеметную тачанку и дал по обозу две очереди. Ответных выстрелов не последовало. Взвод подъехал к остановившемуся обозу. У телег и фургонов стояли солдаты с поднятыми руками. «Табор» был возвращен в Брилевку.

Недалеко от той же Брилевки располагался небольшой хутор. Было видно, что этот хуторок посещают чьи-то автомашины. Командир 3-го эскадрона послал туда казака Чиниваева узнать, что там за люди и что там они делают. Казак Чиниваев, подъехав к хутору, увидел, что за одной из хат стоит грузовая машина и в нее грузятся какие-то люди. А подъехав ближе, он увидел, что это румынские солдаты. Делать нечего, возвращаться нельзя — его уже видят солдаты. Повернет назад — схлопочет пулю в спину. Надо как-то выкручиваться. А, будь что будет!.. И он решает. Быстро и смело подъехав вплотную к машине, резко остановил коня. Из открытой дверки машины на него смотрел офицер.

Чиниваев же вскинул руку к головному убору и громко сказал: «Герр офицер! Я парторг 3-го эскадрона, 37-го гвардейского полка. Мой командир требует, чтобы вы со своей командой сейчас же явились к нему». И тут же подумал, кому и зачем он это говорит, да еще на своем туркменском языке...

А офицер пожал плечами. Очевидно, что ничего он не понял из речи русского солдата, однако видя решительность и строгость во взгляде солдата, заметно побледнел, поднялся на подножку и произнес:

— Никс ферштейн. Мало-мало руссишь ферштейн тофариш сержент!

Тогда Чиниваев «указание» своего командира передал по-русски.

— Зна-си-ть плен? — глухо произнес офицер.

— Так точно, плен, господин... герр офицер! Следуйте за мной.

Офицер повернул голову к кузову и о чем-то спросил у своих солдат. Те загалдели и радостно закивали голова-

ми. А Чиниваев понял, что офицер и солдаты рады плену. Война, видимо, им осточертела, а в плену, может, еще живы будут.

Чиниваев же произнес лишь два слова:

— За мною, м-а-р-ш!

И тронул коня. Ехал он не оглядываясь, противно дрожали руки и коленки. Непроизвольно ежился, ждал выстрела в затылок. Но сзади заурчал мотор машины, и наш смельчак пустил коня крупной рысью, радостно сознавая, что выпутался из сложного положения, но не догадываясь, что этим он спас жизнь и 23 румынским солдатам.

....Группа полковых разведчиков во главе со старшим сержантом Лавриненко ехала в село Маячки, по сведениям, занятое румынами. Дорогу пересекала лесополоса. Днем туда, в гости к румынам, появляться небезопасно, да и задание может быть не выполнено. Решили укрыться в лесополосе до заката солнца, а пока отдохнуть и подкрепить силы. Достали из переметных сумок у кого что было — тушенку, хлеб, масло, сели на проталинке и жуют, балагуря про разное да поглядывая на дорогу. И вдруг видят, что им навстречу шагает группа людей и сзади кривуляет и делает кольца на дороге мотоциклист, колесами подгоняя людей. В бинокль увидели, что мотоциклист — румын, а группа людей — русские солдаты. Пленные, видать.

Лавриненко предлагает: «Давайте пленных освободим, а мамалыжника возьмем живьем». Все согласились и взялись за оружие, поджидая поближе.

Не доходя до них метров двести, мотоциклист забеспокоился — видимо, почуял неладное. Возможно, заметил в лесополосе лошадей. Дальше ждать было нечего, румын может пострелять пленных. Тогда разведчики дали несколько очередей поверх голов людей. Румын же успел развернуться и на предельной скорости удрать, но обронил сорвавшуюся с плеча сумку. В ней оказались карты и штабные документы румынской части. Пленных же мотоциклист вел в Брилевку, в которой несколько дней на-

зад стоял штаб дивизии, а сейчас в ней стоят наши штабы полка и дивизии. Потом жалели, что раньше времени вспугнули конвой, следовавший к нам «в гости».

Полк стремительно шел на Цюрупинск. Командир четвертого эскадрона гвардии старший лейтенант Трофим Сергеевич Прокопец вел головную походную заставу. Шли быстро и скоро стали нагонять небольшую колонну. Прокопец глянул в бинокль. По той же дороге уходила четырехорудийная батарея на конной тяге. Лошади у противника, видать, вымотались — над головами ездовых мельтешили кнуты. Прокопец опустил бинокль, не торопясь уложил его в футляр. Потом обернулся к строю.

— Застава! — Голос командира эскадрона сильный, густой. — За мной галопом в атаку... Марш! Марш!

Прокопец обнажил шашку и дал шенкеля. Серый в яблоках жеребец, сделав свечу, хватил с места. Колонна противника остановилась. Немногим ездовым, успевшим отстегнуть постромки, удалось ускакать. А все остальные сдались в плен.

— Румынэшти не хочет воевать...

Город Цюрупинск с юга прикрыт лесной рощей. Ее глубина около трех километров. Подойдя к роще, полк укрылся. К городу направили разведку. На этот раз всех разведчиков одели в немецкую форму. Глубокой ночью разведчики вернулись. В штабной палатке их ждал генерал Сланов. Обстановка, по докладу разведчиков, складывалась такая: шоссейная дорога почти на всю глубину леса и улица южной окраины города, ведущая к берегу Днепра, запружены войсками противника, всевозможной техникой, лошадьми, обозами. Части перемешались, перепутались. В огромной колонне стоят и ждут своей очереди на переправу автомашины, тракторы, бронетранспортеры, повозки и фургоны, пехота и конница.

Здесь сошлись «союзнички» по разбою: немцы, итальянцы, мадьяры и румыны. В колонне тишина. Многие воины спят, умаялись. Не сладок, видать, дым чужого отечества. Горек и его хлеб, как и тяжка расплата. По-

делом! Не зарься на чужое. Наши разведчики, объезжая разноцветную колонну недобитых «вояк», видели все это в наглядности.

Остановка колонны произошла из-за того, что в самом начале понтонного моста столкнулись две автомашины и закупорили въезд на мост. Кроме того, посередине реки мост зияет проломом — след дневного налета нашей авиации. Там копошатся саперы.

Но в городе есть другая, основная переправа через Днепр. Она выше неисправной. И совсем свободная от войск. Наши разведчики побывали и там. Их окликнула охрана и обстреляла, когда они хотели приблизиться. Разведчики, чтобы преждевременно не вспугнуть охрану моста, отошли и вернулись по той же неисправной переправе. Для них остался неясным вопрос: кто же так умело направил отступающие войска к недействующей переправе?

Генерал Сланов, выслушав разведчиков, поблагодарил их за мужество. И тут же приказал: 39-му полку в конном строю обойти город с севера, захватить его окраину и мост через Днепр, не дать немцам его взорвать. После захвата моста одному из эскадронов переправиться в правобережную часть, подойти к южной переправе, где стоят войска противника, уничтожить охрану моста и, если представится возможность, заменить ее собой. Нашему полку — разгромить колонну противника, стоящую на шоссе. 41-му полку — колонну в городе, перед мостом.

Трудно, невозможно рассказать, что творилось на шоссе, на улице, ведущей к мосту, на правобережье в предрассветный час 4 ноября 1943 года, когда артиллерия и минометы всей дивизии обрушили свой огонь на головы противника. Ад кромешный. И в этом аду, творимом нами, как великие грешники горели и жарились гитлеровцы. Большая часть вражеской колесной и гусеничной техники была разбита и пылала. Ошалевшие кони разбежались по лесу. Солдаты искали спасения в кюветах, в ямках, за стволами деревьев. Но нигде не было спасения.

К восходу все было кончено. Началось очищение леса от остатков вражеского воинства.

Через несколько дней в Цюрупинск приехал генерал Горшков. В беседе с офицерами о цюрупинской операции он сказал, что проведена она исключительно красиво.

Рейд наш по Приазовью и Северной Таврии закончился. За 36 дней и ночей мы прошли расстояние около 500 километров. Дивизия и полки, по оценке генерала Горшкова, в боях показали яркое тактическое совершенство, командование умело действовало в прорывах, успешно применяло охваты и обходы — все элементы современного боя, необходимые для победы над врагом.

После освобождения Цюрупинска, в котором принял участие и наш полк, нас отводили на отдых и пополнение, на новый «ремонт». В нем мы снова нуждались. Местом для отдыха и ремонта полку было определено красивейшее, не порушенное войной, село Васильевка, расположенное восточнее знаменитой Каховки. Туда мы и двинулись неспешным маршем.

Глава девятая
УКРАИНСКИЕ ВЕРСТЫ

Тридцать дней без боя, без дорог, без войны. Мы снова на отдыхе и ремонте. В эти дни чаще, чем всегда, думалось о доме, о семье. Учительница начальных классов Нина Николаевна, жена и друг, писала о школе, о ребятах, о наших детях. В письмах повторялась одна мысль: «Живем хорошо, тоскуем о папуле, дети здоровы и быстро растут». И как подтверждение — листочки с обведенными ручонками дочурок. Нина сообщала новости. Приятные и печальные. Кто-то из наших друзей произведен в офицеры. Кто-то вернулся домой калекой. На кого-то получена похоронка.

В полк приходило пополнение. На этот раз — обстрелянное, крещенное боем, с отметинами на теле. Из госпиталей возвращались в родной полк убывшие в разное время. Им мы особенно радовались. Радовались и они, словно возвращались домой. К нам на батарею вернулся лейтенант Ромадин, раненный в бою за хутор Токмачку. И на этот раз он сбежал из госпиталя.

Дел у нас было много. Откармливали лошадей, сильно исхудавших на длинных дорогах. Благо, что сено и овес были запасены украинскими селянами. Чинили повозки, сбрую, снаряжение. Накинулись на духовную пищу — на книги и газеты. С большим интересом слушали политинформации.

В один из первых дней пребывания в Васильевке у командования возникло решение торжественно отметить,

хотя и с опозданием — бои не позволяли, — годовщину присвоения полку гвардейского звания, а заодно и награждение полка орденом Красного Знамени. Штаб дивизии проведение этого мероприятия разрешил.

Собрались мы для этого торжества в церкви, превращенной еще до войны в колхозный клуб. Все офицеры и ветераны полка, из ополченцев, чинно расселись за длиннющим столом, наскоро сколоченным из неструганых досок и богато сервированным. Главное богатство стола — трофейные, разной формы бутылки с цветными наклейками-этикетками: ром, коньяки и вина, румынские, венгерские и итальянские, а прямо в ведрах «цуйка» — румынская кукурузная водка. Была и русская водка, называемая солдатами за ее препротивный запах «сучком». Полковые интенданты и начпрод явно перестарались с напитками. Посудою для пищи были термосы, стоящие на полу возле стола, и солдатские котелки, а ложки у каждого за голенищем.

«Вечерю» — так мы назвали торжество, открыл командир полка. Он коротко подвел итоги боев полка за прошедший год и в заключение поднял тост за полное изгнание врага из нашей страны — за Победу! Ну, а потом начались тосты — за Сталина, за Родину, за партию, за своих родных, за крепкий тыл и т.д. и т.п. Клуб-церковь загудел. Не многие вышли с той «вечери» на твердых ногах и сами, без помощи. Что называется, дорвались. Русская широта натуры: пей, Иван, под столом встретимся! Такое состояние было у многих из нас. Одни уже спали, уткнувшись носом в стол, а некоторые действительно уже отхрапывали на полу и под столом. Помощник начальника штаба полка гвардии капитан Моргунов продемонстрировал свое незаурядное мастерство в пении песен. Звонко и на высокой ноте он исполнил украинскую песню «Солнце низенько». Другие из донских и кубанских казаков лихо отплясывали, проделывая умопомрачительные пируэты и кульбиты. А когда некоторые офицеры в пьяном угаре начали отплясывать с «дымком», т.е. со стрель-

бой из пистолета в потолок, командир полка громко подал команду «сми-р-р-р-но!» Все разом стихло. А он произнес: «Торжество окончено, товарищи, и... по домам, в свои подразделения! Марш, ма-р-р-ш!»

А назавтра?.. У всех головная боль, опохмелялись уже из запасов своих старшин. Стыд за содеянное на «вечере» в пьяном угаре. Больше таких «торжеств» в полку ни разу не было.

Через несколько дней забежал к нашему старшине Шубину его друг, он же заведующий продовольственным складом полка Иван Тищенко, и рассказал в моем присутствии про опасное поведение начальника штаба полка гвардии капитана Димова (фамилия изменена).

— Пьет всю дорогу, не просыхая, — сообщил о Димове сержант Тищенко. — Жаль мужика, сгинет. Распустился — никакого удержу нет. Каждое утро его ординарец у меня на складе торчит: так, мол, и так, прогнал к тебе мой начальник, на опохмелку что-либо требует. Кинь одну фляжку «сучка», да штуки три трофейных склянок. Возвращаться с пустыми руками запретил.

Я, — говорит Тищенко, — каждый раз спрашиваю его письменное распоряжение. И чтобы было указано — кому, сколько и для чего. А как же иначе, все это дерьмо на моей шее висит, отчитываться мне за него надо.

— Да ладно, не ворчи, как старая свекровь. Война все спишет, а меня не подводи под напрасную ругань из-за этого дерьма.

— И впрямь: придешь в штаб по какой-либо надобности, а начальника штаба всегда нет. А если и застанешь, то все равно ничего не решишь. Болен человек, и болен как будто безнадежно.

— А почему же никто его не остановит? — спрашиваю я как-то у Ковтуненко.

— Взялся за него сам комиссар, майор Ковальчук. Да вот получится ли, не знаю. Горбатого, говорят, только могила может исправить. Страшно на него смотреть — небритый, опухший от перепоя, все дела по штабу забро-

сил. Ладно, что мы еще не последовали его примеру. Махнул, видимо, на него рукой и командир полка, все вопросы решает через ПНШ.

Ковтуненко оказался провидцем. Капитан Димов через две недели погиб в пьяном виде в бою за село Вербовку.

Все-таки странно устроен человек, одетый в военную форму и на время вышедший из боя. Первую неделю на отдыхе он блаженствует, наслаждаясь покоем. Нет ни орудийного грома, ни пулеметного перестука, ни крови, ни жертв. Хорошо! На вторую неделю в душу заползает непонятное ощущение: чего-то не хватает, чего-то тобой не сделано. Начинает казаться, что ты находишься где-то в стороне от важных и нужных дел. А на третью неделю непонятное становится ясным: ты затосковал о бое.

В полку, как в деревне: все обо всем знают. Сначала прошел слушок: весь пятый гвардейский кавалерийский корпус передают во 2-й Украинский фронт. Мы скоро оставим Васильевку и своим ходом двинемся в путь. Дыма без огня не бывает. Солдатский телеграф работает исправно. Но кроме солдатского телеграфа есть солдатское чутье. Слушок или догадка вскоре подтверждается с величайшей точностью. 31 декабря, в канун нового 1944 года, нас, командиров подразделений, созывают в штаб полка. Подполковник Беленко берет с места в карьер:

— Да, наш корпус перебрасывают на 2-й Украинский фронт. Снимаемся с отдыха завтра. Идем...

С наших языков срываются вопросы:

— На Киев? На Житомир? На Белую Церковь?

Подполковник хмурится.

— Чего не знаю, того не знаю. Одно скажу: марш будет длительный и на много сотен километров. Двигаться будем, как обычно, ночами, потому что путь наш пролегает в зоне действия авиации противника.

Командир полка напоминает о бдительности, о светомаскировке в походе и тщательном укрытии людей, по-

возок, лошадей на дневках, особо о сбережении людей от обморожений и простуд, о сохранении конского состава.

— В период передислокации нам надо сохранить высокую боеспособность. Еще раз напоминаю: куда идем и зачем — не должна знать ни одна живая душа. Ни здесь, ни там, где будем делать остановки.

Командир полка требует еще и еще раз проверить готовность подразделений к дальнему переходу.

После совещания я задержался в штабе. С ПНШ Ковтуненко мы с любопытством смотрели на карту Украины. На ней, молчаливой и таинственной, мы искали ответ на главный вопрос: где нам предстоит воевать?

— А где бы ни предстояло, — почему-то вдруг рассердился Ковтуненко.

В первый день нового года мы выступили.

Марш был трудным. Погода неустойчивая: то морозец прижмет, то оттепель начнется, то липучий снег пойдет, то дождь — мелкий, холодный, нудный. Часто снег с дождем перемешивается. И злой ветер, пронизывающий до костей. И всюду мокрень, всюду грязища. Едешь по шоссе, по грейдеру — еще ничего, терпимо. Грязь чавкает, но в ней не вязнешь, не тонешь. Но как только ступишь на проселок — беда. Кони тонут по брюхо, колеса по ступицу.

Грязь на Украине какая-то особая, липучая и клейкая. Она схватывает намертво, как гипс, как цемент. В ней часто остаются каблуки и подметки сапог и даже подковы лошадей.

Пушки приходится тащить, запрягая в них вместо четырех коней по восемь в каждую, а в повозку — по четыре. Попытались двигаться по железнодорожным насыпям, по шпалам, но из этого ничего хорошего не получилось. На шпалах начиналась такая тряска, что ехать становилось невозможно и опасно: боеприпасы, того гляди, начнут рваться. Но как бы тяжко ни было, мы двигались вперед.

От дневки к дневке. Выручали кони — наши бессловесные, безотказные друзья и вечные трудяги.

Какую огромную тяжесть вынесли они на войне, наши кони! Мы часто видели, как с них стекала и ошметками падала в грязь желтая пена, как на них, потных от ушей до хвоста, кучерявилась шерсть, а от неимоверной усталости мелко-мелко дрожали ноги. Об их лошадиных чувствах — радости и боли — мы узнавали по ржанью и выражению больших умных глаз. В глазах коня читалось все: и отношение к тебе, его хозяину, и готовность везти любой груз до полного изнеможения, до последнего вздоха. Нам не раз приходилось видеть, как от усталости, перенапряжения, бескормицы и ранений кони падали. Это страшная беда, когда кавалерист лишается коня. И что поражало, почти всегда это происходило одинаково. Сперва конь начинает останавливаться, потом вовсе не может идти. Казак ведет его в поводу. Но конь этот уже не жилец. Пройдет еще каких-нибудь три-четыре километра, опустится сначала на колени, потом на брюхо, протянет морду и по-собачьи положит ее на землю. Бока круто вздымаются, дышит натужно, в горле что-то булькает, а из пасти рвется тихий стон. Казак и бьет, и уговаривает, а конь смотрит такими печальными глазами, словно хочет сказать: «Я исполнил все. Больше сил нет. Прощай, хозяин!» Тяжко и гулко вздохнет и уронит голову на землю. Казак снимает седло, закидывает на плечо и уходит. Тошно глядеть на умирающего коня... Коня бросишь — не оглядывайся назад. Но как не оглянешься? Конь из последних сил оторвет голову от земли, поглядит глазами, в которых и страдание, и недоумение, и мучительная боль, и мольба о помощи, и слеза, потом вздрогнет всем большим телом, замрет, откинет копыта. Все!

Конь под седлом послушно выполняет твою команду, он идет в огонь и в воду, на любые другие препятствия. В бою, в атаке он со злостью разъяренного зверя летит на врага, топчет его, бьет копытами, рвет зубами. А хорошо обученный, выезженный, он послушно ложится под

пулеметным огнем и разрывами мин и снарядов и служит бруствером, из-за которого казак отстреливается. Конь служит одновременно укрытием кавалеристу.

Если хозяин добр и сердечен к коню, конь отвечает ему двойной добротой. Он не уйдет, не убежит от казака, когда тот приляжет отдохнуть или будет занят какой-то работой.

Конь — сластена. Дай ему кусочек сахара, он будет с удовольствием похрумкивать и благодарно покачивать головой, а шершавыми губами трогать тебя за плечо, за руку, за ухо и тихо, радостно ржать: спасибо, мол, человек! Я не знаю умнее и преданнее человеку животного, чем конь, конь — друг, конь — работяга и конь — воин.

22 января 1944 года, пройдя расстояние в 750 километров, мы прибыли на место сосредоточения — в хутор Дмитриевку, что в 65 километрах юго-западнее Киева. За весь двадцатидвухдневный переход наш полк не потерял ни одного человека. Потери в лошадях были.

Теперь — в бой. Операция, которая проводилась силами двух фронтов — 2-го и 1-го Украинских, позднее получила наименование Корсунь-Шевченковской. Здесь мы, конники, и потребовались.

На рассвете 28 января два эскадрона нашего полка внезапно ворвались в село Писаревку и застали там спящих немцев. Фрицы, едва натянув портки, бежали в село Капитоновку. А любителей долго нежиться в постели казаки пленили. Таких оказалось десятка два. Эскадроны 41-го братского полка таким же внезапным ударом овладели соседним селом Оситняжкой и, не останавливаясь, повели наступление на Капитоновку.

Капитоновка — длинное, километра на три, село и идет одной улицей по взгорью. Оно похоже на большую птицу, широко раскинувшую свои крылья. По крайней мере, такое ощущение возникает, когда смотришь на село от Оситняжки через просторную и открытую долину.

Командованию 41-го полка, возможно, казалось, что проскочи казаки эту долину — и бой будет выигран, победа, считай, в кармане. Но не тут-то было! Со взгорья, из села, стрелял каждый дом. И не дойдя до половины долины, эскадроны 41-го залегли, а затем с потерями отошли на Оситняжку.

То же самое произошло и с эскадронами нашего полка. Сунулись спешенные — назад. От артиллеристов и нас, минометчиков, помощь наступающим была незначительной. Мы своим огнем не доставали до Капитоновки. Не очень эффективным был и пушечный огонь. Отдельные разбитые дома, отдельные подавленные точки не нарушали всю огневую систему противника.

Но приказ есть приказ. Кровь из носу, а Капитоновка должна быть взята. Она как шлагбаум преграждала путь к другим населенным пунктам. Два эскадрона полка — первый и третий — готовятся к конной атаке, занимая исходный рубеж. Свою батарею мы перемещаем вперед. От нас до села около двух километров. По команде с КП полка открываем интенсивный огонь из всех минометов по восточной окраине Капитоновки, перемещая его влево, к середине села. Эскадроны кидаются в атаку.

Вражеские минометчики засекают нашу батарею. Их мины рвутся на огневой позиции третьего взвода. У нас разбиты миномет и боевая бричка. Убиты ездовой Максим Микайда и заряжающий Макар Погорелец, ранены командир расчета сержант Алексей Жерлицын и наводчик Иван Козубенко. Ромадин, командир второго взвода, быстро засекает вражескую батарею и точным огнем заставляет ее замолчать. Конная атака сорвалась. Один эскадрон попал в трясину и барахтался в грязи, а другой оказался под таким губительным огнем, что продолжать движение вперед было бы просто самоубийством.

Полк отвели на исходные позиции. В ночь на 29 января мы совершаем десятикилометровый бросок и, перейдя долину в ее вершине, обходим Капитоновку с тыла. Огневую позицию батареей занимаем в полукилометре от

крайних хат. На рассвете — атака. Она начинается сразу же, как только мы, минометчики, вместе с артиллеристами открываем огонь. Первая удача: атакующие эскадроны зацепились за окраину села. «Вот с этого и надо было начинать», — рассудили доморощенные тактики. Однако все мы, как говорится, сильны задним умом. Взятый почти в полное кольцо противник не спешил поднимать кверху руки. Он сражался с каким-то яростным остервенением и фанатизмом. Его приходилось выковыривать из каждого дома, из каждого подвала и хлева. Бой затих только к вечеру.

У нас в батарее новые потери. Убиты командир расчета из ромадинского взвода Алексей Власов и наводчик Федор Топольсков. Убитых заменяют коноводы. Один из них — Станислав Музыченко.

Об этом молодом воине, Станиславе Музыченко, стоит сказать особо. Появился он в нашем полку в Писаревке, которую мы заняли вчерашним утром. И к первому попал он к Антону Яковлевичу Ковальчуку, потому что искал «самого главного комиссара». Доложил, что к наступающей Красной Армии он пробрался из города Смелы, занятого врагом. Что там, в оккупированной Смеле, он со своими школьными друзьями «маленько» партизанил, точнее, помогал партизанам. Что он слезно умоляет не гнать его, а взять в Красную Армию и назначить в разведчики, потому как он, мол, знает все про фашистов: где они стоят, сколько их.

Антон Яковлевич выслушал чернокудрого и черноглазого, мало похожего на украинца парня и спросил, чем он может доказать, что он именно тот, за кого себя выдает. Ни слова не говоря, парень сел на пол, с левой ноги снял башмак, отодрал стельку, порылся там и бережно подал в руки Антона Яковлевича комсомольский билет.

В разведку Антон Яковлевич не послал Станислава Музыченко, слишком тот был худым, слабым и заморенным, а прислал в нашу батарею. Я определил его в коноводы.

Станислав сильно огорчился. Но в первом же бою явился на огневую позицию и стал подносчиком мин.

В том первом бою, на огневой позиции, Станислав узнал, что рядом с ним воюет его земляк — сержант Андрон Руденко. Едва закончился бой, как Музыченко явился ко мне с просьбой перевести его в огневой расчет Руденко. Я не стал возражать, зная, что юный казачок попадет в добрые руки и очень скоро станет опытным воином. Так оно и произошло.

Сержант Руденко в батарею пришел из госпиталя. За его плечами была большая солдатская жизнь. В тридцать девятом он был призван в армию. До Великой Отечественной войны, как он рассказывал, успел отвоевать на финском фронте. В сорок первом из Белоруссии — через Гомель, Могилев, Оршу, Смоленск, Духовщину — отступал до Москвы. Затем, после ранения и госпиталя, были Сталинград и Курская дуга. Снова ранение. Теперь он был у нас и шел к своему дому — селу Буда Орловецкая. В Писаревке от своих дальних родственников узнал о великой беде: отец и два младших брата немцами расстреляны за связь с партизанами. Мать, избитая немецкими прикладами, умерла. Хата их сожжена. Почерневший и постаревший от горя, Руденко рвался в бой. Он даже приходил ко мне с просьбой перевести его в сабельный эскадрон: «Тот ближе к врагу, а мне надо рассчитаться и за свою кровь, и за родных...»

Я уже рассказывал вам, дорогой читатель, что у старшины батареи Рыбалкина было много хлопот с великаном нашим, Яковом Синебоком. Но не менее хлопот ему доставили и наши «недомерки» — Станислав Музыченко и Василий Шабельников. Самая малая, первого роста, солдатская одежда им оказалась великоватой, гимнастерки и штаны висели на них как на вешалках. Подол шинели у них волочился по земле, а сапоги... кажется, на двоих хватило бы одной пары. «Не гвардия, а детский сад», — ворчал старшина.

Утром 31 января мы заняли городок Лебедин, а к исходу дня прорвались в Шполу и Звенигородку. В Звенигородке полк встретился с передовым отрядом 1-го Украинского фронта. Радость для нас была необыкновенная. Мы замкнули Корсунь-Шевченковское кольцо окружения, создав новый котел врагу.

Для меня Звенигородка чуть не стала последней. По длинной улице, замощенной булыжником, мы мчались на полном галопе. Впереди моей батареи скакала батарея «сорокапяток». Последняя пушка на выбоине перед мостиком высоко подпрыгнула, соскочила с крюка и, развернувшись поперек, загородила дорогу. Мостик небольшой, всего каких-то два-три метра, перекинутый через глубокую канаву. Задерживаться не хотелось, и я пустил своего Казака через пушку. Но прыжок коня был неудачным — не хватило разбега. Казак при прыжке задел передними ногами за щит орудия и, сделав через голову сальто-мортале, остался лежать на дороге. Ну, а я, всадник, перевернувшись в воздухе не один раз, упал далеко впереди своего Казака. Удар при падении был сильным. Из ножен со звоном вылетела шашка. Лопнула шпора и на одной ноге разорвался сапог. Лежа на земле, я пошевелил ногами, руками. Кости целые. Ну, а ссадины и ушибы — что их считать? Я быстро вскочил. Мысленно поблагодарил судьбу и ПНШ Ковтуненко. Он был моим первым учителем верховой кавалерийской езды. Он научил меня приемам падения с лошади. Это ведь тоже наука. Казак все еще лежал, тяжело вздыхая. Я не скомандовал, не крикнул, не ударил плетью, а тихо попросил коня:

— Ну, вставай, дружок. В твоем падении я виноват: слишком поздно поднял на препятствие.

Казак тяжело поднялся. Я ощупал его ноги, ребра, голову. Переломов нет. Он просто сильно ушибся.

Батарея, скачущая за мной, успела остановиться, затормозить перед пушкой. Можно было пушку сбросить с мостика и освободить путь, можно было перекатить и пе-

ренести на руках через мостик, но все так спешили, что никому не хотелось терять ни секунды времени, тем более создавать затор у этого злосчастного мостика. Все знали: навстречу нам катят танкисты 1-го Украинского фронта, что вот-вот должна состояться встреча с ними.

Мои батарейцы повзводно свернули с булыжного шоссе и стали «прыгать» через канаву. А это не обошлось без потерь: поломали несколько колес у повозок и дышел.

Примерно через километр от мостика мы встретились и обнялись с танкистами передового отряда. Кони, танки, повозки, люди — все смешалось в кучу. В воздух полетели шапки. В головном танке, высунувшись из люка, стоял генерал. Из наших командиров я оказался ближним к нему. Генерал поманил меня к себе. Я подъехал к танку, представился.

— Ну, здравствуй, казачья гвардия! Теперь повоюем вместе.

...В Звенигородке мы долго не задержались. Начались бои за уничтожение противника в котле.

Сразу после того, как стало известно, что нас перебрасывают на 2-й Украинский фронт, своему старшему брату Ивану в Красноярск я написал письмо, в котором сообщил, что отныне я перехожу на работу по своей специальности к И.С. Коневу. Брат знал мою специальность и мою работу и без труда догадался о том, что воевать теперь мне придется на 2-м Украинском фронте, которым командует генерал армии Иван Степанович Конев, друг и товарищ его далекой юности.

И вот здесь я получил от брата восторженное письмо, в котором он просил об одном: если ненароком доведется встретиться с «хозяином», то от него, Ивана, плановика одного из красноярских заводов, непременно передать сердечный компривет. Коммунистическим приветом представители старой гвардии обычно заканчивали свои личные, а нередко и служебные письма в не очень далекие послереволюционные годы.

Письмо брата подняло в моей душе бурю воспоминаний. Оно повело меня в детские годы.

Генерал армии Иван Степанович Конев, командующий 2-м Украинским фронтом, уроженец села Лодейное Поле Северо-Двинской губернии, был нашим земляком. Более того, мой брат Иван Степанович Поникаровский и Иван Степанович Конев, работая рядом — один заведующим земельным отделом Никольского уезда, другой военным комиссаром того же уезда, — в молодости крепко дружили.

В 1919 году И.С. Конев формировал, обучал и отправлял на фронты Гражданской войны воинские отряды, а брат проводил в уезде земельную реформу. Они часто встречались. И не только по служебным делам. И.С. Конев бывал у моего старшего брата дома.

В том году я учился во втором классе начальной школы и жил у брата. Каждый приход к нам дяди Вани, как звал я будущего полководца, был для меня праздником. Высокий, стройный и подтянутый, в блестящих и скрипящих сапогах со шпорами да еще перетянутый красивыми ремнями и с красным бантом на груди, дядя Ваня был простым и веселым человеком. Едва появившись в доме, он хватал меня под мышки, приподымал, усаживал к себе на колени и, хитро усмехнувшись, начинал со мной игру в «угадайки».

— Угадай, что у меня в этом кармане? — спрашивал он, показывая на левый карман гимнастерки или френча, к которому каким-то значком крепился бант.

— Бумаги, — решительно говорил я.

— Правильно. В левом кармане всегда носят бумаги, документы. А в этом кармане? — Дядя Ваня показывал на правую сторону.

— Тоже документы!

— А ну-ка лезь.

Я расстегивал сияющую пуговицу и залезал ручонкой в карман. К моей радости, в нем всегда оказывалось что-нибудь сладкое: конфетка, кусок сахара или пряник.

А иногда — маленькая книжечка под названием «Переменка». Забыв сказать «спасибо», я убегал в свой закуток и с наслаждением сосал «лампасейки» или сахар.

— Сладко? — посмеивался дядя Ваня.

— Шибко сладко.

Вскоре дядя Ваня куда-то уехал. Брат сказал: на войну...

Позднее я узнал: мой брат внимательно следил за военной судьбой своего тезки Ивана Степановича, и время от времени они обменивались письмами, а к праздникам и юбилейным дням — поздравительными открытками. В моей же памяти Иван Степанович Конев всегда оставался душевным, любящим детей, отзывчивым человеком.

Все шло как обычно. Ночью мы двинулись по шоссейной дороге, связывающей Кировоград с Корсунь-Шевченковским. Ближайшая задача — овладеть Вербовкой, стоящей на шоссе. Вперед выслана группа разведчиков из пяти казаков. Они должны пробраться в Вербовку и разведать силы врага, а если удастся, захватить «языка».

Вернулись двое. Три разведчика в схватке в селе убиты. Двух убитых разведчиков удалось вынести, третий остался там. Зато задачу выполнили — захватили и привели с собой «языка». По какой-то надобности я оказался в штабе полка и слышал допрос пленного. Он не запирался, был словоохотлив. Мне даже показалось, что пленный тайно радовался, что война для него окончилась. Село и примыкающий к нему сахарный завод, рассказывал пленный, обороняют более полка пехоты. На территории завода, кроме того, стоит артиллерийская батарея и батарея шестиствольных минометов. Обороняющимся приказано любыми средствами удерживать село и завод и ждать, когда на выручку к ним придут свои войска. А что выручка придет — никто не должен сомневаться. Сам фюрер заверил. Слово фюрера свято...

...Шоссейная дорога к Вербовке спускается с небольшой возвышенности. Параллельно дороге, по обе ее стороны, к селу идут неглубокие балки. Километрах в двух от села они перерезаны линией окопов. Правее Вербовки — высота. На ней вторая линия обороны. Между этими линиями стоит сахарный завод, обнесенный толстой кирпичной стеной. В стене пробиты амбразуры для пушек и пулеметов. Окна второго этажа и крыша заводского корпуса возвышаются над стеной и наверняка тоже начинены огневыми средствами. Чердак удобен для пулеметчиков, снайперов, наблюдательного и командного пунктов. Без оглядки сюда не сунешься, а сунешься — голову потеряешь. Ко всему прочему, местность открытая. Единственным нашим укрытием служила жидкая лесная полоса, кюветы шоссе и придорожные деревья.

Огневую позицию для своей минометной батареи мы расположили на дороге в лесопосадках, выдвинув ее на возможно близкое расстояние к противнику. В районе огневой позиции разместились командный пункт и узел связи полка. Соседство не очень приятное и для командования, и для нас, но иного выхода нет. Лучшим местом для огневой позиции могла быть балка слева. Но проехать туда не позволило раскисшее поле.

Полк в течение двух суток предпринимал не одну попытку наступать и даже по придорожным канавам, но все попытки оканчивались неудачей. Однако эти попытки принесли нам пользу: мы разведали и засекли большинство огневых средств противника, их артиллерийские и пулеметные точки. Теперь мы могли действовать не вслепую. Но сил для подавления артиллерийско-пулеметных точек у полка явно не хватало. Нужна была помощь. И она пришла.

К селу подтянули 182-й артиллерийско-минометный полк, артиллерийские и минометные батареи двух полков дивизии. Создался крепкий ударный кулак. Мой наблюдательный пункт стал командным пунктом командующего артиллерией дивизии. Заняв КП, он не терял вре-

мени. Командирам артминометных подразделений сразу последовало распоряжение: минометные батареи 37-го и 39-го полков обрабатывают окопы на первой линии обороны противника, пушечные батареи полков — окопы второй линии, идущие по гребню высоты, пушечные батареи 182-го полка бьют по селу, а минометчики этого полка обрушивают огонь на сахарный завод. «Сорокапятки» огнем и колесами сопровождают эскадроны. Готовность к открытию огня через 30 минут. Все четко, ясно. Все цели одновременно накрываются огнем. Удар наносится не растопыренной пятерней, не вразнобой, а именно туго сжатым кулаком.

Через тридцать минут шквал огня и металла обрушивается на головы противника. На оборонительных линиях, в селе, на территории завода заплясали султаны огня и дыма, столбами в небо взметнулись земля, снег, пыль. Противник оглушен и ослеплен. Пользуясь этим, эскадроны по балкам идут на сближение с ним, накапливаются для броска и, когда огонь переносится дальше, врываются в его окопы.

Первый рывок удачен. Казаки нашего полка прочно обосновались в окопах противника перед сахарным заводом. Плотный огонь оживших вражеских точек со второго этажа и чердака завода приостановил дальнейшее движение. Но завод теперь блокирован. Его падение предрешено. Однако препятствием служит толстый кирпичный забор. Его не брали не только мины, но и снаряды 45-миллиметровых пушек — так, колупали лишь. Тогда командующий артиллерией выводит одну батарею 182-го артминполка на прямую наводку. Тяжелые снаряды сразу в двух местах забора делают большие проломы и сносят железные ворота и заводскую ограду. Путь наступающим открыт. И этим не мешкают воспользоваться эскадроны.

В бою за завод особо отличился четвертый эскадрон с его командиром старшим лейтенантом Прокопцом и парторгом эскадрона сержантом Алексеем Поповым.

Это была пятая и последняя атака за день. Первые четыре большого результата не дали. Никто из наступающих не мог приблизиться к стене. Но когда появились проломы, раздалась не команда, а зов, четкий и поднимающий:

— Коммунисты, вперед!

И на бруствере появился парторг Алексей Попов. С гранатой в одной руке, с автоматом в другой, стреляя на ходу, Попов бросился к одному из проломов. Не все казаки в четвертом эскадроне были коммунистами и комсомольцами, но зов парторга поднял всех. Атака была стремительной и дерзкой.

Алексей Попов упал в проломе стены, сраженный пулеметной очередью в упор.

— За смерть Лешки — бей гадов, круши их!

Кто это крикнул — может, командир эскадрона Прокопец, может, кто другой — неважно. Важно другое — вскрик этот, как и сама смерть парторга, подхлестнули, подстегнули казаков к новому, еще более решительному рывку. Казаки ворвались в заводской двор. И сражались с небывалой яростью. В ход было пущено все: автоматы и пулеметы, гранаты, штыки, ножи.

Пулеметчик Быкодоров, укрывшись за выступом административного здания, израсходовал десять пулеметных дисков. Пулеметчик Федоров бил по окнам второго этажа и по чердаку заводского здания и не давал высунуть носа засевшим там автоматчикам.

Гитлеровцы попытались выйти из боя и оставить территорию завода. На уцелевших автомашинах и бронетранспортерах они кинулись было к воротам, но там напоролись на кинжальный пушечный огонь. Расчет сержанта Никитина из «сорокапятки» в самих воротах расстрелял бронетранспортер, а казак Раковский из противотанкового ружья поджег автомашину. В воротах оказалась пробка, которая заперла путь гитлеровцам к отходу.

В эскадроне, кроме парторга Алексея Попова, было еще двое Поповых, двое братьев — Григорий и Георгий.

Светловолосые, одного роста, очень похожие обличьем один на другого. Для различия старшего из них эскадронцы звали Поповым, а младшего Попенком. В бою, на марше, в цепи наступающих, в окопе братья были неразлучны и, как могли, помогали друг другу. Однажды в Северной Таврии они ходили за «языком», привели же не одного, а целый взвод. С теми «языками» немало насмешили полк. Встречные дивились: почему все пленные, которых вели братья Поповы, руки держат в брючных карманах? И когда остановились у штаба, пленные не вынимали руки из карманов. Оказалось, Поповы, пленив румын, сняли с них брючные ремни и обрезали на штанах крючки и пуговицы. Пленные вынуждены были всю дорогу поддерживать штаны руками.

— С упавшими на коленки штанами далеко не убежишь, — коротко объяснили Поповы свои действия.

В заводском дворе Попенок вступил в единоборство со здоровенным верзилой — шофером, пытавшимся угнать машину. Схватка, происходившая в машине, для Попенка могла кончиться плохо. Верзила вцепился ему в горло и железной хваткой стал сдавливать его. Попенок уже задыхался. Но на помощь пришел старший, Григорий. Он прикладом автомата размозжил гитлеровцу голову.

Придя в себя, Попенок сказал брату: «Спасибо, брат, а то без тебя я мог и голову потерять».

Казаки четвертого эскадрона, овладев заводом, насчитали на его территории более сотни трупов солдат и офицеров противника, а несколько десятков человек сдались в плен. Трофеи были тоже не малые. Не успели уйти из ограды и около трех десятков автомашин, наполненных разным имуществом, шесть бронетранспортеров, десять пушек и 32 пулемета, склад ГСМ и боеприпасов.

Село Вербовку заняли и очистили от врага эскадроны 39-го и 41-го полков. В разгар боя за Вербовку на КП нашего полка разорвались две тяжелые вражеские мины. Были тяжело ранены командир полка подполковник

Беленко и командир взвода связи лейтенант Кулаков. Командование полком принял на себя замполит майор Ковальчук. Он и завершил бой за Вербовку.

Вечером на окраине Вербовки мы хоронили казаков, павших в этом тяжелом бою. Их было много. Вместе с ними в братскую могилу легли и два моих батарейца — сержант Павел Коноваленко и солдат Илья Багиров. Ритуал захоронения был простым, как сама солдатская жизнь. Запомнились горестная речь Антона Яковлевича Ковальчука, прощальный ружейный салют, плотно сжатые губы и застывшие в скорби лица воинов, украдкой утираемые слезы и комья сырой холодной земли. Вечерние облака, подсвеченные закатным солнцем, были кроваво-красными. Цветом войны и горя окрашивалось и все небо. Завтра из штаба полка уйдут письма с горестной строкой: «Пал смертью храбрых...»

Раздумываю над этой строкой и над самой смертью.

Смерть на войне бывает случайной. Идет воинский эшелон к фронту. Налетают стервятники, бомбят, расстреливают его. Падают, погибают солдаты, не видевшие врага в лицо, не сделавшие по нему ни одного выстрела. Товарищи даже не узнали, храбры ли эти солдаты.

Смерть бывает героической. Такой, какую принял Алексей Попов, парторг четвертого эскадрона. Тихий возглас его — «Коммунисты, вперед!» — прозвучал призывным набатом и поднял в атаку весь эскадрон. Смерть парторга удвоила решимость его боевых товарищей.

Смерть бывает нелепая, а то и вовсе глупая. Но смерть есть смерть, о покойниках не принято худо говорить. Но и умалчивать грешно. По этой причине не могу умолчать о гибели начальника штаба полка майора Димова (фамилия изменена). После того как вышел из строя командир полка, а замполита на КП не было, начальник штаба не то растерялся, не то хмель ему в голову ударил — и в эти часы тяжелого боя он был под основательными градусами. Как бы там ни было, но повел он себя по меньшей мере странно. Вместо того чтобы взять на себя руковод-

ство боем, он вызвал себе коня, вскочил на него, выхватил шашку и по открытой дороге помчался штурмовать не взятый еще завод. Пьяному, говорят, море по колено. Да только добром это не кончается. Гитлеровцы страшно удивились, увидев одинокого всадника, скачущего с шашкой наголо. Они даже стрельбу прекратили. А потом, недалеко от завода, срезали нашего офицера и его коня короткой пулеметной очередью.

Вот она нелепая, глупая смерть!

Два дня ожесточенных боев за Новую Буду нам не дали желаемых результатов. Броски эскадронов на село захлебывались под кинжальным и перекрестным огнем. Артиллерийско-минометные налеты тоже не приносили большой пользы. Каждый дом села превращен гитлеровцами в огневую точку. А местность перед селом открытая, ровная, приблизиться скрытно почти невозможно. Но мы все же нашли одно уязвимое место. С запада к селу подходила глубокая балка, заросшая мелким лесом. В ней-то и скапливались сабельники для атаки. В балке разместили свои огневые позиции артиллеристы и мы, минометчики.

После артиллерийско-минометного огневого налета казаки пошли в атаку. Неудачно. Под плотным пулеметным и минометным огнем противника эскадроны залегли. И почем зря костерили артиллеристов и нас, минометчиков. Мы не подавили огневых точек противника. Я сменил свой наблюдательный пункт. Насколько возможно, выдвинулся вперед и нашел нечто похожее на высотку, точнее — на бугор. Отсюда мне легче засечь пулеметные гнезда противника и лучше направлять огонь своей батареи.

Эскадроны снова поднимаются в атаку. Но и вторая попытка безуспешна. Однако она мне дала возможность высмотреть все огневые точки противника, не дающие эскадронам продвигаться вперед. Быстро готовлю новые данные для стрельбы. Телефонист Семенов передает их на батарею. Начинаю пристрелку. Перелет — недо-

лет. Вилка! Ну, теперь-то мы поговорим с вами, фрицы. И вдруг мой телефонист замолк. Оборачиваюсь. Голова Семенова залита кровью. Он склонился над телефонным аппаратом, выронил из рук трубку. Наше удобное место оказалось не очень удобным. Мы на мушке фашистского снайпера.

Я схватил трубку, передал командиру об открытии огня всей батареей, зная, что этот огонь накроет пулеметные гнезда. Сам наскоро стал перевязывать Семенова.

— Ползти сможешь?

— Пожалуй, смогу.

— Тогда — на батарею.

Право, не надеялся я, что Семенов доберется до батареи. Но он добрался, его отправили в госпиталь и успешно вылечили.

Я наблюдаю за разрывами. Хорошо они ложатся, точно. Заткнута глотка одному пулемету, на воздух взлетел второй, умолк третий. Сам размышляю, что делать дальше. По брустверу старого окопа, где я устроил КП, чиркнула пуля, у самой головы поднялся снежный фонтанчик от другой. Оставаться тут мне нельзя. Здесь разделю судьбу телефониста Семенова, если не хуже. И вдруг приходит дерзкое решение: двигаться вперед, к селу, под прикрытие домов. Не раздумывая далее, вскакиваю и зигзагами бегу к ближнему от меня дому. И все это на глазах противника. Немцы даже стрельбу прекратили. Наверное, подумали: перебежчик решил сдаться в плен. Командиру же полка (в Шендеровке полк принял майор Ниделевич, приехавший с учебы) из первого эскадрона передали:

— Капитан Поникаровский в одиночку атакует село!

Командир полка крепко выругался и тотчас же поднял первый эскадрон в новую атаку.

Но почему же я кинулся в село в одиночку? Не мог же я думать, что гитлеровцы, увидев русского офицера, побегут. Необдуманный, необъяснимый поступок? Нет, и обдуманный, и объяснимый. Видя подавленные пулеметные

гнезда противника, я посчитал, что как раз наступил тот момент, когда атака наших эскадронцев будет успешной. Промедли, проворонь этот момент — и все придется начинать сначала. Мысль эта возникла как-то внезапно, момент же я уловил, пожалуй, не умом, а каким-то чутьем, опытом.

Но я не мог отдать приказа эскадронам на атаку, на рывок. Почему-то подумал, что эскадроны, увидев бегущего офицера-минометчика, обязательно поднимутся. Кроме того, в ближнем доме я высмотрел более безопасное местечко для наблюдательного пункта. И перед тем как кинуться к селу, с батареи я вызвал связистов и указал, куда тянуть связь. Я благополучно добежал до крайнего дома. И прежде чем заскочить в дом, оглянулся. К дому же подбегали бойцы первого эскадрона во главе со своим эскадронным старшим лейтенантом Сапуновым. «Чутье, — подумал, — меня не обмануло». В доме оказалось шесть гитлеровцев. Они сидели в переднем углу за столом и, несмотря на такой ярый бой, спокойно чаевали. Оружие их было свалено на кровати, возле которой я остановился. Мое появление, мало сказать, было неожиданным, оно ошеломило гитлеровцев. Рожи их вытянулись, глаза стали неподвижными. Для порядка, что ли, я дал автоматную очередь над их головами, потом скомандовал: «Хенде хох!» «Век, век!» — командую им далее, а сам стволом показываю на дверь. Выходят они во двор, а там их встречают эскадронцы. Так вот моя «бесшабашность» помогла первому эскадрону зацепиться за село. Затем подошли другие эскадроны, и полк мало-помалу стал продвигаться к центру села.

Лиха беда начало. Оно было сделано. Но за него от командира полка я схлопотал выговор, а командир дивизии представил к награждению орденом Богдана Хмельницкого.

Среди офицеров полка много было тогда различных толков по этому поводу. Одни меня осуждали, называя мой поступок чуть ли не самоубийством, другие поздрав-

ляли с подвигом. Но подвига не было. Подвиг — это нечто более высокое, это проявление всех духовных и физических сил, это такое состояние человека, когда он делает, казалось бы, невозможное, то, на что не всякий способен. Но если не подвиг, то что тогда? Хорошо и вовремя исполненный долг офицера. Долг! Каким-то внутренним чутьем я понял, что именно та минута, то мгновение принесет успех. Мы, наверное, не всегда правильно относимся к употреблению таких высоких слов, как мужество, отвага, подвиг, героизм. Чуть что — подвиг, геройство. А может, ни то, ни другое. Просто хорошо исполненный долг. Долг — это хорошее слово.

В ожесточенном и многодневном бою за село Вербовку у нас произошел такой случай. Нарушилась проводная связь командного пункта полка с четвертым эскадроном. На линию вышел связист Шаронов. Раскисшая земля не позволила связисту не только бежать, но и просто идти. Сапоги засасывало. Они были как двухпудовые гири. Тогда, недолго думая, он сбрасывает сапоги, связывает их за ушки проводом, перекидывает через плечо и босиком бежит по линии. Это происходит не летом, а зимой, в феврале. Кое-где земля еще покрыта ледяной коркой, а в низинах лежит снег. Но другого выхода он не нашел. Одна мысль двигала им: скорее найти обрыв и восстановить связь. Иными словами, хорошо выполнить свой солдатский долг. Шаронов нашел обрыв, и связь была восстановлена. Через час он явился на КП полка с ног до головы облепленный грязью. Все, кто был на КП, удивились. Грязь на ногах, на брюках — понятно, а почему в грязи вся гимнастерка, лицо, голова?

Связисту растерли водкою ноги, заменили мокрое белье, дали сухие портянки. И он, как ни в чем не бывало, снова приступил к исполнению своих обязанностей.

— А что тут непонятного, — ответил связист, — обстреливали. Пришлось передвигаться где ползком, где на карачках, а то и просто лежать, погрузившись в жижу.

Казак выполнил свой долг. Но при этом проявил мужество.

...Бой за Шендеровку наш 37-й не завершил. Полк вывели, заменив 39-м полком, подоспевшим после «зачистки» в селе Городище. Мы же потребовались в другом месте.

Еще осенью 1941 года гитлеровскую армию советские люди назвали «грабьармией». В свой «блицкриг» они пошли налегке, в летнем обмундировании. Теперь шла третья военная зима. И в эту зиму гитлеровцы не имели теплой одежды.

Солдатня тащила у населения всё — одеяла, телогрейки, обувь, теплые платки, свитера, кофты, полушубки, шапки и валенки, не говоря уже о белье, оставляя свое грязное. Все, что награбили, они напяливали на себя, спасаясь от русской стужи. Была грабьармия и осталась грабьармией. Но мало того что гитлеризм воспитал грабителей. Он воспитал убийц, насильников, палачей. За длинную дорогу наступления от горных хребтов Кавказа и песков Кизляра мы насмотрелись на злодеяния, которые творили гитлеровцы на нашей земле. Массовые расстрелы ни в чем не повинных советских людей, в которых не щадили ни стариков, ни женщин, ни детей. Полное уничтожение огнем и взрывчаткой предприятий, городов и сел. Издевательства над военнопленными. С гнусными злодеяниями, творимыми фашистскими молодчиками, мы встретились и здесь, в Корсунь-Шевченковской операции.

Однажды в расположение третьего эскадрона фашистский самолет сбросил большой мешок. Раскрыв его, обнаружили человека с признаками жизни. Спасти человека нашим медикам не удалось. В кармане телогрейки была обнаружена записка на русском языке: «Это вам лучший из евреев на пост председателя колхоза».

В Вербовке, на территории сахарного завода, мы увидели подвал смерти. После боя из подвала, что находил-

ся под заводом, выползла молодая, но совершенно седая женщина. Она волочила распухшую простреленную ногу. Вид женщины был ужасный: лицо изможденное, тело — кожа да кости, на лице, на груди, на ногах — кровоподтеки. Одежда — рванье, лохмотья. Женщина говорила тихо, с частыми перерывами. От нее мы узнали «тайну» подвала. Озлобленные неудачами на фронте, смелыми налетами неуловимых партизан, гитлеровцы мстили мирным жителям. В Вербовке и прилегающих к сахарному заводу селах они переписали поголовно всех жителей. И по этим спискам хватали людей. В закрытых машинах схваченных привозили на заводскую территорию. Здесь пытали, истязали, мучили, затем бросали в подвал да вдогонку посылали еще автоматную очередь.

Оставшихся в живых в подвале держали без воды, без пищи. В страшных муках люди умирали. Садизм, издевательства гитлеровцев не знали предела.

Казаки четвертого эскадрона подняли из подвала 118 трупов, изрешеченных пулями в спину, в затылок, изуродованных побоями, залитых кровью. Среди трупов было немало детей от двух до двенадцати лет. Гнев, боль, возмущение — вот чувства, которые переполняли душу каждого нашего бойца и вызывали лютую ненависть к врагу. Комиссия, созданная командованием полка, составила акт о злодеяниях фашистов в Вербовке и близлежащих селах. Документ этот был передан органам Советской власти.

Всех замученных, заморенных голодом, расстрелянных мы совместно с жителями сел похоронили в общей могиле недалеко от центральных заводских ворот. Был траурный митинг. Антон Яковлевич Ковальчук сказал:

— Палачи не уйдут от возмездия. Кровь за кровь, смерть за смерть! Святая ненависть поведет нас в новые бои. Мы будем драться с врагом еще беспощаднее, еще злее.

А в селе и на железнодорожной станции Городище мы встретились вот еще с такой формой злодейства: с

попыткой обесценить советские денежные знаки в освобожденных районах, наводнить эти районы знаками-фальшивками и помешать налаживанию нормальной жизни, восстановлению хозяйства. Среди застрявшего в грязи и брошенного отступающими гитлеровцами транспорта мы обнаружили одну грузовую машину, битком набитую, под самый тент, советскими деньгами. Увязанные в кипы купюрами от пяти до пятидесяти рублей, все они оказались фальшивками. Узнав об этом от наших финансистов, мы кидали их под колеса пушек и повозок, мостили ими дорогу.

Для нас, конников, труден был глубокий — в 750 километров — рейд и еще более трудны бои за уничтожение Корсунь-Шевченковской группировки противника. И дело не только в том, что немцы отчаянно сопротивлялись, сражаясь порой до последнего человека. Но еще и в погоде. Январь и февраль на Правобережной Украине — самые слякотные месяцы. То заморозки, то оттепели. То мокрый снег, то дождь. Проселочные дороги стали непроезжими и непроходимыми, поля превратились в болота. В грязи застревали пушки, повозки, автомашины и даже танки. Но спасибо населению освобожденных сел и городов. От мала до велика — старики, женщины, подростки — стали помогать нам. По всем дорогам, по полям, часто под обстрелом и бомбежкой, шли вереницы людей и в охапках, мешках, в корзинах, в фартуках несли снаряды и мины, патронные цинки, коробки и ящики с гранатами. Женщины в домашних печах пекли хлеб, резали последних кур, поросят, бычков и кормили воинов. Люди отдавали все своим избавителям от фашистской нечисти. И это удваивало, утраивало наши силы.

Петля все туже затягивалась на горле врага. А он все еще ждал выручки. Но выручить его никто уже не мог. Все попытки фашистских танковых дивизий прорваться к ним были отбиты нашими войсками. Теперь остатки, стянутые к Шендеровке, Почапинцам, Моренцам, сами колоннами двинулись на юго-запад, на прорыв. В ночь с 16 на

17 февраля начался снегопад, затем поднялась метель. Непогодой и хотели воспользоваться гитлеровцы, чтобы выскользнуть из котла. Не удалось. Наши войска навалились на них всей силой.

Мы, конники, столкнулись с гитлеровцами в метельном поле. Закутанные в одеяла, скрюченные от пронизывающего ветра, залепленные снегом, эти страшные, грязные, заросшие бородами фигуры, словно призраки, метались по полю, но нигде не находили спасения. Это была сумасшедшая и последняя игра со смертью. И смерть их настигала. Снег, вьюга тут же заносили, заметали трупы.

Операция закончилась прочесыванием леса, что северо-западнее села Почапинцы. Но не для нас, конников. 17 февраля наша дивизия сделала рывок в село Моренцы. Нас вел туда лозунг: «Спасем хату Тараса!» В Моренцах родился Тарас Шевченко. Гитлеровцы бежали из села густой толпой. Их косили из пулеметов и автоматов, рвали минами и снарядами, рубили шашками. Командующий 2-м Украинским фронтом Иван Степанович Конев, наблюдая одну из атак казачьей дивизии в конном строю, может быть, вот эту самую, позднее в своих воспоминаниях писал:

«29 января кавалерийский корпус вошел в прорыв. В дальнейшем он сыграл свою положительную роль в окружении противника и в боевых действиях на внутреннем фронте кольца окружения. Тут, забегая вперед, хотел бы сказать, что казаки отличились вовсю при попытке врага выйти из окружения.

Пожалуй, это был один из редких случаев за всю войну, когда конница действовала открыто в конном строю и смело рубила неприятеля.

Кавалеристы в этой сложной и трудной операции показали свою былую славу «донцов-молодцов» и вписали в историю Великой Отечественной войны еще одну яркую страницу. За это им большое спасибо...» (Конев И.С. В кн.: Корсунь-Шевченковская битва. Киев, 1975)

За активное участие в Корсунь-Шевченковской операции наша 11-я Донская гвардейская казачья кавалерийская дивизия и наш 37-й полк удостоились ордена Богдана Хмельницкого II степени, а корпус был награжден орденом Красного Знамени.

... Ну а мне не довелось выполнить просьбу брата. Я не передал его «сердечный компривет» Ивану Степановичу Коневу. Да и каждый ли командир батареи и даже полка мог встречаться с командующим фронтом? Мне приятна была сама мысль, что я «работаю» в огромном хозяйстве человека, которого в детстве звал «дядей Ваней» и которого теперь знал весь мир.

Мне удивительно и радостно сознавать и сейчас, что тот «дядя Ваня» — один из выдающихся советских полководцев, Маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза — до последних дней жизни оставался простым, сердечным и душевно открытым человеком, не забывающим ни свою малую родину, ни друзей далекой молодости. Занятый огромной государственной и военной работой в послевоенные годы, он выкраивал время на то, чтобы черкнуть короткое письмо, вспомнить былое, что-то уточнить. Вот одно из писем маршала моему брату И.С. Поникаровскому.

«Дорогой Иван Степанович! Сердечно поздравляю с Новым, 1967 г., годом 50-летия Великого Октября! Прочитав Вашу статью, еще ярче вспоминаешь те незабываемые дни становления Советской власти в наших родных краях. У меня на днях были никольчане, писатель-поэт Александр Яшин и представители редакции районной газеты. Многое вспоминали и в том числе то, о чем Вы пишете — о бунте мобилизованных.

Всю эту историю я сейчас хорошо помню. Да! Это была острая обстановка, но ничего, справились и мобилизованных отправили. Только их было не 600 чел., а около 400 чел.

Хочется побывать в наших краях, но, к сожалению, подводит здоровье. Однако в год моего семидесятиле-

тия постараюсь все же побывать в родных краях. Сегодня мне, батенька мой, исполнилось 69 лет, вот не ожидал, что я буду таким стариком.

Пока не сдаюсь. Много работаю, особенно вот эту осень в связи с празднованием 25-й годовщины разгрома немцев под Москвой.

Желаю Вам доброго здоровья, такой же активности в жизни и в общественно полезном труде.

С товарищеским приветом. Ваш Конев.

28.12.67 г. Москва. Дом отдыха «Сосна».

Глава десятая

ВПЕРЕДИ — РОДНАЯ ГРАНИЦА

Нас продолжают кидать с одного фронта на другой. Едва только завершилась Корсунь-Шевченковская операция, как конников передали 3-му Украинскому фронту. И опять начался новый рейд, сейчас к Первомайску, что на Южном Буге. Расстояние — свыше трехсот километров. Но этот рейд сильно отличался от прошлого. Там мы шли по освобожденной земле, опасались только авиации противника. Теперь же идем среди отступающего врага и нередко впереди него. Ночи по-прежнему постоянные и верные наши спутники.

Сырая погода сопровождала нас всю дорогу. Но с такой погодой мириться еще как-то можно было, если б не грязь. Она была еще более сильной, чем на Каневском выступе, на котором наши войска только что покончили с немцами. Темпы наступления из-за бездорожья сильно замедлились. Войска противника отдельными группами откатывались за реку Южный Буг. Много таких групп оставалось в стороне от больших дорог. На ночевку они останавливались в лесах и рощах, в селах и хуторах. В поисках пропитания гитлеровцы грабили население или нападали на отставшие наши обозы. Немецкие армейские подразделения, а то и целые части превращались в обыкновенные бандитские шайки. Так что постоянно приходилось ухо держать востро, быть начеку. Сбивая заслоны противника, мы вступали с ним в скоротечные

встречные бои. Бывало и так, что противник оказывался у нас в хвосте или где-то неподалеку с боков. На дорогах под ночным небом, на местах дневок случались всякие курьезы. Как-то на рассвете мы остановились в хуторе Очепель Винницкой области. К нам прибежал мальчонка лет девяти-десяти.

— Мне нужен самый большой командир.

— Зачем он тебе, малец?

— У меня есть военная тайна!

Парнишка говорил почему-то шепотом и все время зыркал глазенками назад, на край улицы.

— Ну, если тайна, да еще военная, то пошли к «большому» командиру.

Паренек, шлепая оторванной подошвой старых ботинок, подошел к командиру полка, приложил левую руку к ломаному козырьку старого, наверное еще от деда, картуза, браво выкрикнул:

— Товарищ майор, я — Грицко!

— Очень приятно, товарищ Грицко, только приветствуют-то правой рукой.

Парнишка, не смутившись замечанием, продолжал:

— У нашей хаты на базу стоит живой немецкий танк.

— Откуда знаешь, что «живой»?

— Так вин рокочет мотором. И может утикнуть. А я его выменял.

— Танк — выменял?

— Ну да. За восемь яиков.

— Что же ты будешь делать с ним?

— Так вьего я вам вотдам. Чтоб швидче били в утих подлюг.

— Ну что же, придется помочь тебе, Грицко.

Под городком Юзефполь на правой обочине дороги остановилась какая-то воинская колонна численностью, наверное, до полка. Ночь темная, хоть глаз коли, к тому же дождливая. По левой обочине весь наш полк прошел

мимо этой молчаливой колонны, которая, пропустив нас, пристроилась в хвосте. Всю ночь мы шли тихо, спокойно. Когда начало светать, в голову полка проскакал начальник продовольственно-фуражного снабжения старший лейтенант Селиванов и доложил командиру полка о том, что на нашем хвосте сидят румыны. Ниделевич не поверил.

— Ты не того, не хватил с утра пораньше? — прикрикнул он на Селиванова, но тут же подозвал командира взвода разведки.

— Ну-ка, Кальмин, проверь.

Полк продолжал двигаться. Михаил Федорович, сидя в фаэтоне, запряженном парой рысаков, усмехался и подтрунивал над незадачливым начальником продовольственно-фуражного снабжения, лошадь которого шла рядом с фаэтоном.

Прискакал командир взвода разведки.

— Товарищ гвардии майор! За нами действительно тащится противник!

Ниделевич вызвал командиров третьего и четвертого эскадронов и приказал им «разогнать дремоту у румын». Через три-четыре минуты в хвосте колонны затрещали очереди автоматов и засверкали шашки. А через полчаса этот скоротечный бой утих. Уцелевшее румынское воинство подняло руки.

Или случай в Екатериновке той же Винницкой области. Мы вошли в село поздним вечером. На этот раз было разрешено здесь сделать большой привал. Село большое, улица с двумя порядками хат тянется километра на два. Полк разместился на входной окраине, заняв два-три десятка домов. На рассвете нас подняли по тревоге и приказали готовиться к маршу. Первыми, как всегда, отправились разведчики. И вдруг с той стороны села, куда мы должны двинуться, поднялась стрельба. Отдав приказ своим минометчикам готовиться к бою, я поскакал по улице, чтобы выяснить обстановку. И что же оказалось?

На той окраине села ночевала немецкая часть. Разведчики, обнаружив гитлеровцев, открыли стрельбу. К ним на помощь прискакал первый эскадрон. У противника поднялась несусветная паника. Солдаты выскакивали из хат босые, раздетые и тут же падали, сраженные автоматами или порубанные шашками. Большинство повылезали из хат с поднятыми руками. Пленных набралось около двух батальонов. Надо же быть такому, потом удивлялись мы — ночевать с противником рядом, в одном селе.

Пять суток движения — и все пять суток под дождем и пронизывающим ветром. И никак не удавалось ни обогреться, ни обсохнуть. Мы дьявольски устали. Но на войне, говорят, усталых не должно быть. Кто устал, тот пропал. Как могли, мы бодрились и боевую задачу выполняли. С ходу заняли Первомайск, вышли на берег Южного Буга. «Теперь отдохнем», — думали мы. Только отдых наш продолжался не более суток. Нас возвращали снова в Юзефполь, в городок под Винницей, который мы прошли несколько дней тому назад. Его захватила оставшаяся где-то в тылу, не замеченная ни нами, ни другими стремительно наступающими войсками, какая-то крупная немецкая часть и укрепилась в нем.

Полк спешно возвращался туда, но теперь по хорошей грейдерной дороге. На пути до Юзефполя пришлось дважды встретиться с гитлеровцами. В первом случае мы напоролись на засаду. В одном месте прямо у дороги были нарыты окопы. В них лежали какие-то люди. Ночью все кошки серы. То ли разведчики, шедшие впереди, приняли этих «кошек» за своих, то ли они их не видели и спокойно проехали. Мимо прошел и весь полк. Никому в голову не пришло проверить. Вдруг за нами затрещала стрельба. В хвост колонны поскакал четвертый эскадрон. Выяснилось, что «серые кошки» — эсэсовцы. Пропустив полк, они попытались отбить одну «сорокапятку», шедшую в тыловом прикрытии. При внезапном нападении были убиты командир орудийного расчета старший сержант Трубавин и замковый Кузнецов. Остальные открыли

яростный огонь. Подоспевший эскадрон зарубил шесть гитлеровцев и пятнадцать пленил.

Вторая стычка была куда более серьезной. Она произошла на подходе к Юзефполю. Полковую колонну атаковали — и опять же с тыла — до двух батальонов пехоты противника, поддержанных пятью танками и пятью бронетранспортерами. Не будь мы в постоянной боевой готовности и на марше, растеряйся или чуть замешкайся, враг, используя внезапность, мог бы крепко нас потрепать. Мгновенно оценив обстановку, Ниделевич создал боевую группу. В нее вошли третий и четвертый эскадроны, взвод ПВО с крупнокалиберными пулеметами ДШК, минометный взвод, взвод пэтээрщиков и батарея противотанковых пушек. Боевая группа под командованием капитана Ковтуненко быстро развернулась и заняла оборону по гребню близлежащей высоты. Остальные силы полка были отведены в укрытия. Противник предпринимал одну атаку за другой. Но все атаки успешно отбивались. В первой атаке гитлеровцы потеряли один танк и два бронетранспортера. В другие атаки гитлеровцы почему-то остерегались бросать свои бронированные силы. Через несколько часов подошел 39-й полк и с ходу, в конном строю, ударил во фланг атакующим и обратил в бегство. К вечеру этого же дня силами нашего 37-го и 39-го полков гитлеровцы были вышиблены из Юзефполя и попутно и из большого соседнего села Строгозяны.

Противник бежал за реку Южный Буг и закрепился в селе Долгая Пристань.

В бою за Юзефполь мы потеряли казака Алексея Андриановича Шарлая, калмыка по национальности. Гибель его была случайной, от шального снаряда. Впрочем, таких случайностей на фронте много. Шарлай пришел к нам в сорок втором, в Сальске. По рассказу Рыбалкина, первые шаги Шарлая в военной службе были трудными. Сказывался и возраст, и слабое знание русского языка, и неумение читать и писать, и привычная медлительность, какую вырабатывает у человека степная жизнь и степная

профессия. В огневом расчете, куда определили Шарлая попервоначалу, он растерялся было совсем: делал все не то и не так, с задержками и запозданием. Нетерпеливый командир расчета стал поругивать за «несусветную лень», хуже того, за нежелание служить и воевать. Дошло до командира батареи Кривошеева. Тот вызвал казака к себе.

— Что же ты, казаче, такой... непроворный?

— Неспособный я к технике, товарищ комбат.

— К чему же ты способный?

— Я всю жизнь был вожаком баранов, чабаном.

— Но мы воюем, и баранов у нас нет и не будет, вожаки не требуются.

— К коням бы меня, товарищ комбат...

—Ну что же, казак, ступай к коням. Ездовым.

Калмыки — природные конники. Они, можно сказать, с детства, с пеленок, имеют дело с конем. И комбат ругнул себя за то, что он сразу, с первого дня не определил в ездовые «вожака баранов». Для наших коней бывали разные времена. Но удивительное дело: пара серых меринов Шарлая — малорослых, большеголовых и широкогрудых «монголов» — была всегда в добром теле, всегда ухоженная, всегда в строю. Как он ухитрялся так содержать коней — оставалось загадкой.

Службу Шарлай нес исправно. Его повозка — склад старшины с продуктами — была лучшей по прочности и укладке. Он очень любил петь. В длинных дорогах, когда только было возможно, он пел. В песнях, длинных и тягучих, он рассказывал на своем родном языке о том, что видел перед собой — о конях, о дороге, о казаках, войной разлученных с домом и семьей, об изрытой, обезображенной окопами и воронками земле.

У него были привычки, которые нам казались странными и необъяснимыми. Одни из них мы пытались ломать на пользу самому Шарлаю, другие старались не замечать, считая их чудачеством и упрямством человека. Никакой

силой мы не могли его заставить рыть щели, укрытия для себя. При бомбежке, при артобстреле он обыкновенно забирался под свою повозку, считая ее единственным надежным укрытием. Однако он все-таки иногда брал в руки и лопату, ею рыл щели... для своих лошадей. Спал Шарлай тоже не как другие, а по-своему: он не растягивался, не ложился на бок или на спину, а садился возле лежащих лошадей, как-то по-особому скрестив ноги, на коленки клал руки, на них опускал голову и спал. Питался тоже по-своему. Утром съедал два котелка бульона, кусок недоваренного и недосоленного мяса, килограмм хлеба и выпивал, наверное, с полведра подсоленного зеленого — карымским его зовут — чая. Без сахара. Обеда не признавал. Вечером пил только чай. Зеленый чай он хранил в кожаном мешочке. А когда запасы его кончались, он жестоко страдал. Два фронтовых года судьба берегла Шарлая. Он не знал ни ушибов, ни контузий, ни ранений. А тут не на огневой позиции батареи, а в тылу, ездовой погиб. Вместе с ним погибли кони и в щепки разнесло повозку с имуществом.

Приказ краток: форсировать Южный Буг, овладеть селом Долгая Пристань и гнать противника до границы, не давая ему передышки. На реке перед селом — мост. Немцы его не взорвали. Видимо, ждут свои отходящие части. Но он наверняка заминирован и охраняется сильным заслоном. Сунуться на него — значит потерять много жизней. Да и неизвестно, удастся ли прорваться. Переправляться на конях через реку невозможно. Только что был ледоход, и вода ледяная. К тому же начался паводок, Южный Буг вздулся и час от часу прибывал.

Командир полка и штаб ждут разведчиков, посланных вверх и вниз по реке. Первыми возвращаются «верхние». Ничего утешительного. Правый берег крутой и укреплен противником. Без больших жертв не зацепиться. Да и с переправочными средствами худо. Посланные же вниз

по реке нашли подходящую переправу в десяти километрах от Юзефполя, возле села Токаревки. Местные жители ждут не дождутся своих. По просьбе разведчиков они начали собирать лодки, разбирать хаты и хозяйственные постройки для плотов.

Вечером полк тихо снимается. На берегу перед мостом, зарывшись в землю, остается первый эскадрон. Его задача и задача дивизионного артминполка — создать видимость, что форсировать реку мы готовимся только здесь, и этим ввести противника в заблуждение. Обман противника удался как нельзя лучше. Всю ночь по Долгой Пристани размеренно долбили наши пушки. На берегу в разных местах ржали лошади и стучали топоры.

А тем временем форсированным маршем полк пришел в Токаревку, из подготовленного лесоматериала сколотил плоты и безо всяких потерь переправился на тот берег. На рассвете с фланга и тыла мы ударили по Долгой Пристани. Удар был ошеломляющим и настолько неожиданным, что противник сразу побежал, забыв даже взорвать мост. Мы начали преследование.

За неделю мы продвинулись на юго-запад на триста километров, освободив много населенных пунктов. Среди них такие крупные, как Синява, Ямполь, Киштейницы, Кукурузяны и город Оргеев. Дальше продвигаться стало невмочь. Из-за бездорожья далеко отстали тылы. Мы оказались без продовольствия, фуража и почти без боеприпасов. Но если продовольствием и фуражом нас выручало местное население, то боеприпасов оно не могло дать.

Трудное, если не сказать критическое, для нашего полка сложилось положение в молдавских селах Киштейницы и Кукурузяны. Заняв эти два села, мы расположились в них на суточный привал. В Киштейницах остались первый и четвертый эскадроны, минометная и артиллерийская батареи, тыловые подразделения. В Кукурузянах разместились второй и третий эскадроны и штаб полка. С нами следовали и расположились в Кукурузянах по

одному эскадрону из 39-го и 41-го полков. Общее командование этими подразделениями в селе было возложено на начальника штаба капитана Драбкина (фамилия изменена). Но не успели мы еще устроиться, как наше боевое охранение завязало бой с подходящей к селу Киштейницы колонной противника. И вместо отдыха нам пришлось занимать оборону. Нашей бедой было то, что у нас очень ограниченное количество боеприпасов. Мин и снарядов мы имели только НЗ (неприкосновенный запас) для самообороны. Патронов у казаков оставалось по 10—15 на карабин и по одному-двум дискам на автомат. А у противника танки и бронетранспортеры. Чем и как отбиваться? Били только наверняка. По редкой стрельбе гитлеровцы скоро поняли, чем мы «дышим», и усилили нажим. И вот они уже на окраине Киштейниц. Решительной конной атакой мы отогнали немцев. Удержались мы и во второй атаке. Тогда гитлеровцы отступились от нас. Обойдя село стороной, они двинулись на Кукурузяны и вскоре завязали там бой. Село немцы взяли в кольцо. И скоро ворвались в него.

Бой шел за каждый дом. В ход пошли последние гранаты, последние патроны, а за ними шашки, ножи, лопаты и приклады оружия. В помощь дерущимся командование полка направило во главе с комиссаром первый эскадрон, собрав ему все остатки гранат и патронов. Эскадрон, ударивши по противнику с тыла, помог разгромить ворвавшихся в село немцев.

Знамя полка. Знамя части. В Советской Армии с первых дней ее рождения живет такой закон: утерял Знамя, утратил его — утерял и утратил воинскую честь. Полк, отдельный батальон или дивизион, сколько бы много бойцов в них ни оставалось, расформировывается. Части без Знамени не существует. Знамя — святыня. Если же Знамя сохранено, сохранен и полк, сохранена любая часть, пусть в ней останется лишь десяток-другой вои-

нов. Полк будет жить, будет жить и его честь, его боевая слава. В Кукурузянах сложилась такая обстановка, что знамя нашего 37-го гвардейского оказалось под угрозой захвата противником. И это могло случиться, если бы не ПНШ-1 Корней Ковтуненко. Он спас его. В самую критическую минуту Ковтуненко отделил полотнище от древка, обернул им себя, сверху надел гимнастерку и затянулся ремнем. Потом накинул шинель. Трем казакам из комендантского взвода он приказал не отходить от себя ни на шаг.

— Если я буду убит, — жестко сказал офицер, — то Знамя возьмет тот, кто останется в живых. Если все будем мертвые, то и мертвые мы обязаны сохранить наше гвардейское Знамя.

Знаменосец по собственной инициативе Корней Ковтуненко и три казака-ассистента на конях пошли на прорыв. С шашками наголо. Казаки-ассистенты погибли. Судьба сохранила Корнея Ковтуненко. Он сберег Знамя и сберег честь полка.

Смелость и осторожность, говорят, на одном коне ездят. Эти слова я вспоминаю всякий раз, когда начинаю размышлять о двух людях. Один из них — Корней Ковтуненко. Чуть насмешливый и прямой, отлично знающий штабную работу, очень смелый, порой до безрассудства, он всегда рвался в бой. Личностью совершенно противоположной был новый начальник штаба. Как-то о нем я заговорил с Корнеем, высказав мысль, что не слишком ли осторожен начштаба, что во время боя его никогда не найдешь.

— Осторожен? — усмехнулся Ковтуненко. — Нет, не то слово. Он просто трус.

Признаюсь, меня кольнула нехорошая мысль: уж не зависть, не обида ли заговорила в моем друге. Только на Ковтуненко это не похоже, не в его характере. Я спросил Корнея, в чем же трусость НШ? Он не стал распространяться. Буркнул что-то невнятное. Но наш разговор услы-

шал заведующий делопроизводством штаба старший лейтенант Поляков.

— Да, Ковтуненко прав, — вступил тут же в разговор Поляков. — За три месяца пребывания в полку он не написал ни одного приказа и не оформил ни одного решения командира полка. Едва услышав выстрелы вблизи, начальник штаба сразу исчезает. То в штадив его вызывают, то ему тылы надо проверить...

Исчез Драбкин и из Кукурузян, хотя он был старшим начальником здесь. Лишь сообщил заведующему делопроизводством, что его срочно вызывают в штаб дивизии. Бой в селе продолжается до глубокого вечера. Наконец он утих. Ночью к казакам, зажатым в центре села, проник командир взвода полковых разведчиков лейтенант Кальмин. Перед рассветом, когда, по народной молве, черти в кулачки играют, через оборону противника без единого выстрела он вывел всех из окружения. Для этого был использован глубокий и топкий овраг, который разрезал Кукурузяны на две части. Немцы никак не могли предполагать, что по топкому оврагу может кто-то пройти.

Утром гитлеровцы предприняли атаку и, наверное, страшно были удивлены: атаковать-то некого. Правда, им попали в руки наши пушки, но все без замков и прицелов, которые предусмотрительно были сняты и взяты с собой орудийными расчетами. Пушки вывезти по оврагу было невозможно. Но уже назавтра к полдню они были возвращены своим хозяевам.

Назавтра, получив боеприпасы, мы выбили немцев из села. И сразу же в полк приехал начальник штаба дивизии полковник Терентьев. Тут-то все и открылось. В штабе дивизии Драбкина никто не видел. Он где-то прятался. Через два дня на должность начальника штаба прибыл майор Вдовин (фамилия также изменена).

За спасение Знамени полка гвардии капитана Ковтуненко, за вывод из Кукурузян эскадронов и артиллеристов гвардии лейтенанта Кальмина представили к орденам Красного Знамени.

Город Оргеев немцы превратили в прочный узел сопротивления. Обойти его, взять в клещи было невозможно. Город отделяла широкая и топкая долина, простреливаемая насквозь с противоположных высот. Сунулся было в долину 41-й полк, да чуть не увяз в нем. Под пулеметным огнем противника пришлось откатиться па исходные позиции. В город вел один путь: дорога, по которой мы пришли из Кукурузян. И пробиться по ней было приказано нашему 37-му.

Первыми пошли разведчики. Лейтенант Кальмин из своего взвода выбрал десяток наиболее ловких и сообразительных бойцов. В тот десяток вошли сержанты Лавриненко и Радько, рядовые Дырочка, Осадов, Соплыко, Раковский, Халкотян, Афонин, Ильичев и Никитин. Повел разведчиков сам взводный. Но прежде чем добраться до города, надо было пробиться через пригородный поселок. В поселке разведчиков заметили и обстреляли. Пришлось принимать бой, некоторым — в одиночку. Сержант Лавриненко оказался в одном из дворов. Группа гитлеровцев решила захватить воина живым, Лавриненко кинул гранату. Удачно! Его все-таки окружили. Сержант в ход пустил приклад и нож. Уложив пять фрицев, он вышел из смертельной драки победителем. В другом дворе казак Дырочка из захваченного немецкого пулемета отразил атаку взвода, уничтожив семь гитлеровцев.

Сразу за поселком была высота. На карте она значилась под цифрой 132,6. Она господствовала и над городом и над поселком и разделяла их. Пока разведчики вели бой, поселок обошел батальон «тридцатьчетверок», приданный полку, и начал штурм высоты. Гитлеровцы не выдержали танковой атаки и разбежались. Тут в дело вступили сабельники первого и четвертого эскадронов. Проскочив поселок и обогнув высоту, они направились к городу. Находчивость, быстрота и отвага в этом бою для многих бойцов стали родными сестрами. Старший лейтенант Прокопец, командир четвертого эскадрона, был ранен в бою за город Юзефполь. Но, не долечившись,

он сбежал из госпиталя. Должность его была занята. Командир полка держал Прокопца пока возле себя. На этот раз Прокопец сбежал в свой эскадрон. И случилось так, что с четырьмя казаками он первым ворвался в Оргеев. Ворвался и опешил: в городе текла тихая, почти мирная жизнь. Немцы не подозревали даже, что «красные» могут прорваться через их оборону. А казаки здесь уже хозяйничали.

— Не будем пороть горячку, — сказал своей четверке Прокопец, — спешимся и оглядимся.

Спешились. К забору привязали лошадей. Стали оглядываться и приглядываться. Увидели: по направлению к ним верхом на лошади едет странный фриц. Автомат на пузе, в руках лукошко с чем-то, за спиной «живой» мешок. Мешок шевелится и квохчет куриными голосами. Фриц мечтательно улыбается.

— Ну-ну, радуйся, курощуп, — тихо говорит Прокопец и кивает головой одному из эскадронцев.

Фриц-курощуп не успел ни удивиться, ни испугаться, как был снят с седла пулей. Упало лукошко. На булыжную мостовую полилась смятка. Из «живого» мешка вылетели четыре курицы. Прижимаясь к стенам домов, Прокопец и его казаки пошли по улице, направляясь к центру. Увидели идущую колонну. В ней до роты. Казаки завернули за угол. Ждут. Жалеют, что автоматов только два на пятерых. Один у Прокопца, другой — у Попова, снятый с убитого фрица-курощупа. У троих карабины. Колонна гитлеровцев совсем рядом. Впереди вышагивает длинноногий, похожий на журавля, офицер. По команде Прокопца бьют по колонне. Крик, визг, давка и бегство. Жалко, длинноногий «журавль» успел укрыться за колонной и первым драпануть. На мостовой остаются шестнадцать трупов. Казаки собирают трофеи. Ничего, богатые. Двенадцать автоматов.

— Будем отходить, — говорит Прокопец, — наш отход прикроет...

— Разрешите мне, товарищ гвардии старший лейтенант, — просит Попенок.

— Прикрывай, Гоша, — соглашается Прокопец. — Оставляем тебе пять автоматов и один пулемет. Перезаряжать некогда будет.

Четверо уходят. Пятый остается. Уходят переулками, дворами к своим лошадям. Уже издалека слышат: зататакал пулемет. Георгий Попов бьет.

Находят своих лошадей в переулке. Садиться на них не спешат. Поджидают Попенка. А он все бьет и бьет. В это время в город входит весь полк. Прокопец спешит к командиру полка, докладывает. А вдали все татакает пулемет и кузнечиками трещат автоматы. На улице разворачивается в боевой порядок третий эскадрон. И сразу берут в галоп. Над головами конников синими молниями сверкают шашки.

Половина города от врага очищена. Вторая половина за рекой. Она, словно клинок, разрубила город Оргеев на две равные части. Полк уперся в реку Реут. А у Реута здесь еще две протоки, два рукава. Их не объедешь, не обойдешь. Во вторую половину города можно прорваться только по мосту, перекинутому через Реут и его рукава. Но мост, как подтвердили пленные, заминирован. Надо не дать гитлеровцам взорвать его. Сделать это можно лишь при одном условии — незаметно переправиться через Реут и его протоки-рукава, найти провод, идущий к взрывчатке, перерезать, перекусить его. Но переправиться непросто. В обычное время сама река невелика, а протоки и того меньше. Сейчас весна, половодье. На лодке не поедешь. Нужен смельчак, который бы вплавь перебрался на тот берег и перекусил тот злосчастный провод. Найдется ли такой? Это могли бы сделать разведчики. В разведке лихие, отчаянные ребята. Но никого из них нет под рукой. А медлить нельзя. Размышления командира полка и представителя штаба дивизии прерывает временно прикомандированный к штабу старший лейтенант Прокопец, явившийся на КП полка.

— Разрешите? — Прокопец чувствует себя виноватым. Знает: за ослушание по головке не гладят. Ниделевич строг и щепетилен в этом. Вот и пришел Прокопец повиниться.

— Ну что, недолечившийся гвардеец, — строго спрашивает командир полка, — погеройствовать захотелось?

— Да вот, так уж вышло.

— Хорошо вышло, Трофим Сергеевич, очень хорошо. Спасибо тебе. Только не за ослушание. За ослушание же...

За Прокопца вступается представитель штаба дивизии.

— Повинную голову меч не сечет, Михаил Федорович, — миролюбиво говорит майор.

— Пусть так, — соглашается Ниделевич и возвращается к тому разговору, что был у них с майором до прихода Прокопца. О том, что крайне нужен смелый и ловкий казак, умеющий плавать и, если потребуется, в одиночку сражаться. Посвящают Прокопца в замысел.

— Такой казак есть, — говорит Прокопец.

— Кто?

— Гоша Попенок. Виноват, Георгий Попов.

— Тот самый, что прикрывал отход твоей группы?

— Да.

— Но не велика ли будет нагрузка на одного человека в один день? — высказывает сомнение представитель штадива.

— Выдюжит. Я уверен в нем. И все сделает как надо.

— Где он ваш «Гоша Попенок» сейчас?

— Приехал со мной. Здесь.

— На ловца и зверь бежит, — усмехнулся командир полка. — Зови!

Некоторое время командир полка и представитель штадива разглядывают Попова. Невысокий ростом, кудрявый казачок. Лицо мальчишеское, улыбчивое. Жилистый, подтянутый, собранный. Понравился. Командир

полка объясняет задачу. Просит не торопиться с ответом, хорошенько подумать. Это еще не приказ.

Но Попов не раздумывает. Взгляд его прямой и просящий:

— Дозвольте выполнить эту задачу мне.

— Дозволяем. — Ниделевич смотрит на часы. — Сейчас шестнадцать ноль-ноль. К выполнению задания приступить в восемнадцать ноль-ноль. Два часа — на изучение подходов к реке, маршрута по островам, выходов на противной стороне. Огневую поддержку обеспечит гвардии старший лейтенант Прокопец, — добавляет Ниделевич.

Время — 18.00. Река, ее протоки и острова, мост, перешагивающий через них, — все затянуто мелкой сеткой дождя со снегом. Дождь и снег сегодня — помощники. Они и укрывают, и глушат звуки.

— Пора, — говорит майор из штадива. Он лежит за бетонной тумбой недалеко от берега. Рядом с ним Прокопец и Попов.

Прокопец оглядывает Попова. Автомат, ракетница, пара гранат, нож. Все предусмотрено.

— Будь осторожен, — сильными руками Прокопец прижимает Попова к себе, целует и легонько отталкивает: — Ступай.

Попов осторожно спускается с берега, некоторое время бредет, потом, подняв автомат над головой, пускается вплавь. За ним наблюдают двенадцать пар казачьих глаз — отделение из четвертого эскадрона. У них два ручных пулемета, карабины и автоматы. Река Реут и ее протоки не быстрые. Но течение все-таки сносит. Или Попов сам забирает чуть ниже. Там, у берега — тальник, краснотал, чапыжник. Хоть небольшое, но все же укрытие. У тальника Попов выползает на берег и некоторое время лежит, отдыхая. Прислушивается и из-за кустов наблюдает за островами, за мостом, за чужим берегом. Там тихо. Казак снимает сапоги, выливает из них воду и

по канаве, укрываясь за валунами, ползет через остров к основному руслу реки.

С высокого берега Прокопцу и майору из штадива долгое время не видно Попова. Там, на основном русле реки, наверное, сильное течение. Офицеры биноклями шарят по берегу. Находят: разведчик прижался к валуну, снова отдыхает. И вокруг пока тихо. Но вот Попов зашевелился, пополз дальше. Последний рывок. Напряжение нарастает. Ждать да догонять хуже всего. Но, набравшись терпения, надо ждать. Многое сейчас зависит от Георгия Попова. Доберется он незамеченным до того берега, найдет и перекусит провод — на мост ринутся приданные полку танки, а за ними конники. К рывку полк готов. С той стороны должна взвиться ракета. Вся надежда на Гошу Попенка.

Последняя протока мелкая. Но берег совсем открытый. На возвышении — окоп. В нем лежит гитлеровец. Ближе к мосту бугрится дзот. Из его амбразуры торчит пулеметный ствол. Гитлеровец, что в окопе, видать, сильно озяб. Пилотка его глубоко нахлобучена на уши. Воротник шинели поднят. Он крутит головой, встряхивает плечами, колотит руками по бокам — греется.

Попову легко выстрелом снять гитлеровца. Но тогда он всполошит всю их оборону и не выполнит задания. Казак ждет. Вот немец поворачивается к нему спиной. Попов делает рывок к воде, шлепается в нее. Шлепок предательский. Немец круто оборачивается и бьет по протоке из автомата. Попов приподнимается и дает очередь по гитлеровцу, сам рывком приближается к берегу. Зататакал крупнокалиберный пулемет из дзота. Наши пулеметчики бьют по дзоту, по бегущим к берегу немцам. Огневая дуэль между сторонами разрастается. В бой вступают наши артиллеристы. Мы, минометчики, ставим огневую завесу — не даем гитлеровцам приближаться к берегу. Попов выползает на берег и недвижно распластывается. Прокопец связывается с КП полка и кричит в телефонную трубку:

— Попов убит. Разрешите мне... с казаками.

Он отдает трубку майору, сам машет рукой казакам, зовет к себе. Коротко им бросает:

— За мной! — и скатывается с берега.

Казаки преодолевают протоку. Там, рассыпавшись в цепь, бегут к руслу реки. Противник бьет по ним из пулеметов. Но казаки не останавливаются, не залегают. Они форсируют реку и, едва отдышавшись, снова в полный рост бегут к третьему рубежу. Последнюю протоку преодолевают легко. Прокопец падает возле Попова. Тот приподымает голову. Рот плотно сжат. Губы обкусаны. Лицо синее.

— Жив?

— Нога чужая... И рука.

— Крепись!

Прокопец делает рывок вперед, к тому окопу на возвышении, где сидел гитлеровец. Сейчас гитлеровец переломился на бруствере. Попов его укокошил. Прокопца прикрывают огнем казаки из отделения. Но где провод? Пленные показывали, что где-то здесь.

Прокопец шарит по земле и... находит провод. Красная двойная жилка бежит к мосту. Он хватается за нож, а ножа нет. Утопил в речке. Пытается рвать руками. Сдирает кожу с ладоней, а провод не поддается. В трех шагах от него лежит казак Шитиков с карабином.

— Давай карабин!

Казак отдает, хотя не понимает, зачем командиру, вооруженному автоматом, потребовался еще карабин. Прокопец приподнимает прицельную рамку, под нее на колодку подсовывает провод и резко нажимает рамку. Рамка как кусачки перекусывает провод.

— Гоша! Попенок! Ракету!

В небо уходит красная ракета.

По мосту на полной скорости мчится танк. Он успевает его проскочить. Его подбивают сразу за мостом. Но мчатся еще четыре танка с десантниками. За мостом десантники горохом сыплются с танков и бросаются в атаку. За

танками скачут конники. К утру вторая половина города была очищена от противника. Гитлеровцы бежали и с высот, которые поднимались сразу за городом.

...Гвардии старший лейтенант Прокопец утром подъехал к штабу полка. Подъехал с шиком. На тройке лошадей, запряженных в немецкую пулеметную тачанку. В тачанке он привез раненого Георгия Попова и еще двух казаков из тех, что форсировали с ним Реут. Раненые были отправлены в госпиталь. Вместе с ними отправлен и Прокопец. Он застудил не зажившие еще раны, и его температура подпрыгнула к сорока градусам.

За мужество и отвагу в бою за город Оргеев Георгий Попов был представлен к ордену Отечественной войны 2-й степени, а гвардии старший лейтенант Прокопец — к ордену Александра Невского. Казаки из отделения четвертого эскадрона, что были с Прокопцом, тоже были представлены к правительственным наградам.

До советско-румынской границы оставалось менее трехсот километров. Дивизия, сбивая противника с промежуточных рубежей, форсированным маршем шла к границе.

...Мы были недалеко от Прута, когда противник пытался нас задержать. Этот бой и сейчас стоит перед моими глазами. Его вели два полка — наш и 39-й. Бой трудный, непривычный. Ночью мы выбили немцев из леса и на опушке заняли их окопы. А утром гитлеровцы начали контратаковать, не сами, а силами своих союзников. Они ввели в бой полнокровный румынский полк. Позднее выяснилось, что полк этот был едва сформирован и совсем не обучен. Румыны шли на нас толпой. Толпу сзади гнали цепи гитлеровцев. Минометная батарея, артиллеристы, пулеметчики прицельным огнем буквально выкашивали румын. Их становилось все меньше и меньше. Они кидались из стороны в сторону, но всюду натыкались на наш огонь. Потом они пытались бежать назад, но там их тоже встречал огонь и, может быть, не менее яростный, чем наш. Гитлеровцы расстреливали своих союзников.

Когда румыны пытались залечь, то их поднимали силой оружия и вновь гнали под наш пулеметный, минометный и пушечный огонь. Десять раз румыны ложились под нашим огнем, и десять раз гитлеровцы поднимали их вновь. Поднимали до тех пор, пока некого стало поднимать. Весь полк был уничтожен.

Еще через день мы вышли к Скулянам, местечку на берегу Прута, на советско-румынскую границу. В двух километрах от реки Прут лежал разрушенный поселок бывшей заставы. Вокруг развалин — густые заросли бурьяна и лебеды, скрывавшие старые окопы, траншеи, воронки. На берегу реки в таких же зарослях была бывшая контрольно-следовая полоса. Здесь бурьян и лебеда перемешались с высоко поднявшимся кустарником. Сохранился пограничный столб с номером 1685.

Граница. Священная черта. «Вот она, — писала «Правда» 27 марта 1944 года, —...долгожданная, трижды желанная Государственная граница нашей Отчизны, 33 месяца назад попранная врагом». Казаков охватывает волнение. Волнуюсь и я. Волнуюсь от того, что всегда мечтал служить на границе. Мечта не сбылась. Мне оставалось только завидовать сверстникам и друзьям, которым выпадала удача нести службу на священной черте государства, и восхищаться их мужеством.

Мне очень хотелось узнать о тех, кто июньским утром первый встретил здесь, в Скулянах, войну и первым сложил голову. Но у кого узнаешь? Да и времени нет...

За Прутом лежала Румыния, ставшая сателлитом фашистской Германии. Из разведданных нам стало известно: немцы бежали на реку Серет и там создают укрепленную полосу.

Глава одиннадцатая
ВЫСОКАЯ МИССИЯ

В марте 1944 года наша дивизия в числе первых соединений Красной Армии перешла Государственную границу Союза Советских Социалистических Республик, форсировав реку Прут, и вступила на землю Румынии.

Перед тем как перейти границу, нас, командиров подразделений, собрали в штаб полка. Командир полка и его заместитель по политической части просили понять самим и разъяснить всем бойцам, что воюем мы не с народами Германии и их союзниками, а с фашистскими режимами, с их военной машиной. На землю Румынии мы вступаем не агрессорами, не захватчиками и завоевателями, а с великой освободительной миссией. Организованность, дисциплина, дружеские чувства и гуманность — вот какой должен увидеть румынский народ нашу армию, нашего советского солдата. Недопустимы вражда к населению, высокомерие победителей и тем паче какое-либо насилие. В то же время наши старшие командиры предупреждали о повышенной бдительности. Ни на минуту нельзя забывать, что боевые действия придется вести на чужой земле, среди чужого окружения.

Мое поколение выросло с сознанием святости интернационального долга. Слушали командира полка и его заместителя, и все для нас становилось ясным. В то же время мы, многое повидавшие и пережившие, не были теми легковерными и простодушными юнцами, какими

вступали в войну. Мы понимали: нас не будут встречать как добрых друзей. Но тогда — как врагов? Вот это-то оставалось задачей со многими неизвестными. Но, как говорится, поживем — увидим.

Первые шаги на румынской земле. И первое, с чем мы столкнулись, встретившись с населением, — страх. Всеобщий страх перед нами. Вражеская пропаганда крепко поработала, чтобы оболванить людей, запугать их. Она вдолбила в головы такую гнусную и несусветную чушь о нашей армии, что мы диву давались. Население ждало нашествия варваров. В первых населенных пунктах мы почти не встречали жителей. А те немногие, что остались, к нам относились настороженно.

Особенно боялись женщины. В первые дни мы их вообще не видели. Они прятались. Потом стали появляться. Но в таком затрапезном виде, что казались страшилищами. Они надевали на себя самую грязную и рваную одежду, лохмотья, лица, руки и ноги мазали грязью, сажей и красками, рисуя себе разные коросты-болячки. Пробегая мимо, отворачивали лица. В разговоры не вступали. Дико!

Миф, созданный фашиствующим словоблудием о страшных и злобных большевиках, рассеялся как дурной сон — и очень скоро. Первыми с нами познакомились и подружились ребятишки. К нашему приходу школы были закрыты, детей распустили на каникулы на неопределенное время. Детям — приволье. Народ этот — вездесущий, любопытный. От нас они получали то кусок сахара, то звездочку, а нередко угощались добротной и сытной солдатской кашей. Потом стали постреливать глазами девушки. Лохмотья, сажа, «коросты» исчезли. Девушки стали миловидными и нарядными. Казаки — парни крепкие, бравые, веселые, озорные и всегда обходительные — определенно им нравились. Румыны поняли: советские солдаты совсем не такие, какими изображала их пропаганда. Страхи, настороженность очень скоро сменились доверием и доброжелательностью. В прошедших

зимне-весенних боях под Корсунь-Шевченковским и в Молдавии полки дивизии заметно поредели. Поредел и наш 37-й гвардейский. Даже в моей минометной батарее до штатной численности недоставало 32 человека, а лошадей еще больше. В последнее время на маршах многие безлошадные номера огневых расчетов вынуждены ехать на бричках, а то и топать пешком. Требовало ремонта или замены некоторое оружие.

Наше обмундирование и обувь от непрекращающихся всю зиму дождей и снегопадов в непролазной грязи изопрели и пришли в негодность. Вид казаков в рваных и замызганных шинелях и таких же телогрейках был далеко не бравым. Обувь не поддается описанию. На одних казаках были сапоги, на других ботинки с крагами, на третьих ботинки с обмотками. На некоторых невесть откуда и как появились украинские чеботы домашнего изготовления, а то и просто нарядные, но никак не подходящие для походных условий штиблеты. Эскадронные и батарейные сапожники не успевали латать обувь. Да и когда было латать? Полк не слезал с коней. Казаки с надеждой поглядывали на старшин. Да только что они могли сделать?

Дивизию вывели из боев. Наш полк разместился в лесу возле большого села Григорешти. Никто из нас не знал, сколько времени придется здесь стоять, но устраивались капитально: устанавливали палатки на каждое отделение и расчет, копали щели на случай воздушного налета, строили коновязи, ремонтировали повозки, чинили сбрую, одежду и обувь. Дел было по горло. Мы спешили поскорее закончить все строительные и хозяйственные работы, чтобы приступить к планомерному обучению пополнения, которое начинало поступать в эскадроны и батареи.

Но с первых же дней пребывания «на ремонте» наши планы работ часто нарушались. И, как ни парадоксально, а нарушались по вине одного, из «высокого» штаба. Своими действиями он просто мешал нам.

Я не стану называть фамилию этого начальника. Но расскажу, какая блажь пришла ему в голову. Вот эта-то его блажь и мешала нам.

Едва только полк прибыл на место и капитально разместился, как этот начальник пожаловал к нам и «осчастливил» своим посещением. Объехав, как это принято у начальства, все подразделения полка, на прощание сообщил, что он завтра будет производить строевой смотр полка. А чего и на что ему было у нас смотреть-то? На рвань, на грязь, что ли, ему захотелось у нас любоваться? Ничего же еще не успели сделать после таких длительных и тяжелых боев и маршей. Но поступила команда, и ее надо выполнять.

Строевой смотр — выводка, где проверяется не только личный состав, люди, но и конский состав, амуниция, вооружение, транспортные средства, сам по себе нужен. Смотр определяет готовность полка к новым боям и походам. Значит, бросай всё и начинай готовиться к смотру, наводи на всё шик и блеск, чисти, скобли, смазывай. На это обыкновенно уходили сутки и даже более. Но ведь новых походов, боев и маршей пока как будто не предвидится?

На первой выводке-смотре особых замечаний начальник как будто не сделал. Но... через четыре дня снова явился. Потом еще и еще...

Чем наш полк понравился боевому и уважаемому генералу М., сразу мы понять не могли. Но эти вот выводки и так часто — нам до чертиков опротивели. Ведь, в самом деле, не дай бог, если лошадь окажется недостаточно почищена и на белоснежном генеральском носовом платке останется перхоть, лошадиная шерсть. Или на амуниции, трензелях, удилах и стременах проглянется крапинка ржавчины? Не говоря уже об оружии и шпорах сапог. Сообщение из штаба, что к нам едет генерал М., воспринималось как боевая тревога.

Не знаю, как он смотрел эскадроны и всех тех, кто проходил перед очами генерала впереди моей батареи,

но каждый раз он останавливал моего коня, подходил к нему и любовался, а заодно и любовался, как я заметил, стременами седла, чмокал этак губами и нахваливал их. Они были из чистого серебра.

На третьей или четвертой выводке командир полка, с которым я по обыкновению стоял слева рядом, легонько толкнул меня локтем в бок и тихо, чтобы не услышали генеральские уши, но сердито сказал:

— Да отдай ты ему эти свои стремена и ну его ...

Последние слова гвардии подполковник Ниделевич проглотил, но я догадался, какими они были. Догадался я, что уважаемый генерал мучает выводками полк из-за моих стремян. Генералу, видимо, очень захотелось их заиметь. Серебряные, не знающие ржавчины, с малиновым звоном — они, видимо, застили генералу белый свет. Просто отобрать стремена-мечту от какого-то командира батареи генерал не смел, это было бы расценено как хулиганство, грабеж при всем честном народе. Выпрашивать — чин, высокое положение не позволяло. На первой выводке, когда генерал их увидел вторично (первый раз он видел стремена в батарее), потрогал их, потом, крякнув от удовольствия, восхищенно сказал:

— Какая красота, а?

И не удержался, намекнул:

— Не худо бы генералу иметь такие стремена, а?

Я сделал тогда вид, что не понял намека. На второй выводке тоже не понял. А генерал ждал от меня подарка. Мне же дарить стремена очень не хотелось, они мне были очень дороги как добрая память о воинском братстве.

Преследуя отступающего противника, после боев под Корсунь-Шевченковским, около узловой железнодорожной станции Вапнярка, нашему полку была разрешена остановка на короткий отдых. В лесу, недалеко от нас, на отдыхе стояла другая воинская часть. Вскоре стало известно, что соседи наши — воины из Первого чехословацкого корпуса, которым командовал генерал Свобода.

Офицеры, как и солдаты чехословацкой части, оказались общительными ребятами. В один из вечеров я пригласил к себе в гости собрата и коллегу по оружию, командира минометной батареи. Это был очень веселый и жизнерадостный капитан (жаль, имя его запамятовал). Вечер мы провели в задушевной, дружеской беседе. Я подарил чешскому другу на память еще не бывшую на плечах жилетку на беличьем меху. Чешский комбат не захотел оставаться в долгу и пригласил меня в гости к себе. Ответный визит я нанес вместе с командирами взводов — благо, что батареи наши стояли в каких-то двухстах метрах друг от друга. Чешский комбат в знак дружбы подарил мне серебряные шпоры и такие же стремена к седлу.

И вот... наш генерал решил заполучить их не мытьем так катаньем. Беспрерывными выводками. До чего же некрасивыми бывают человеческие слабости!

Ослушаться командира полка я не захотел, хотя в этом случае и мог. А тут я все понял и пожалел не себя, а полк. Дурость генерала не дает нормально жить всему полку. Нарочито громко я крикнул своему коноводу, казаку Перегудову Михаилу, чтобы тот сейчас же снял с моего седла стремена и принес их ко мне. Через несколько минут мое приказание было выполнено, и я преподнес «в подарок» генералу стремена и шпоры, на его глазах мною снятые с сапог.

— Ну, спасибо, капитан. Славно вы уважили слабость генерала к прекрасному!

И пожал мою руку в знак своей благодарности.

А я, хотя и через силу, но сделал улыбку, показав, что и я доволен «своей догадке». Генеральское спасибо для меня было горькой пилюлею, которую я проглотил через силу.

И что же? Выводки-смотры в полку прекратились. А генерал М., видимо, уже забыл дорогу в наш полк.

ЧП — чрезвычайное происшествие. Обнаружит санинструктор после бани вошь на ошкуре кальсон или в нательной рубахе казака — ЧП. Собьет казак спину коня на марше, не почистит оружие и амуницию — ЧП. Все подобные недостатки в армии обозначаются этими двумя буквами — ЧП. А если вдуматься, то во многих событиях, случаях и происшествиях ничего чрезвычайного нет. На войне многие мелочи ратной службы не заслуживают того, чтобы их так именовать и делать из этого что-то трагическое.

Но вот в нашей армейской жизни все-таки действительно произошло Чрезвычайное происшествие — ЧП. И вот какое.

В один из григорештинских дней я срочно был вызван к замполиту Ковальчуку. Антон Яковлевич объявил мне, что в полк прибыл военный трибунал и сегодня после полудня будет слушаться дело об измене Родине, о предательстве бывшего командира сабельного взвода третьего эскадрона младшего лейтенанта Шипицына, и что я приказом по полку назначаюсь заседателем трибунала. Слушаться дело будет в открытом судебном заседании в присутствии всех офицеров полка.

Всякие у нас бывали ЧП, точнее, случаи. Но подобное, действительно чрезвычайное, происшествие встретилось в первый и в последний раз. Я попытался вспомнить Шипицына — и не смог. Здесь же, в штабной землянке замполита, дали мне для ознакомления материалы следствия. Читаю: Шипицын (фамилия негодяя мною изменена), рождения 1920 года, место рождения — хутор (название хутора), в 1940 году был призван в Красную Армию и направлен в Харьковское военное пехотное училище. Началась война. Враг подходил к Харькову. Курсантов бросили на защиту города. Здесь курсантско-офицерский полк попал в окружение. Курсанты и офицеры дрались до последнего патрона, до последней гранаты. Большинство погибло. Младший лейтенант Шипицын решил

сохранить свою жизнь. Он добровольно сдался в плен гитлеровцам. Некоторое время просидел в лагере, а затем пошел на службу к врагу. Его профессией стало предательство. В 1942 году, когда немцы рвались к Волге, к Сталинграду, Шипицын, надев форму полицая, из шкуры лез, чтобы угодить своим хозяевам в наведении «нового порядка». В Тормосине, затем в станице Нижне-Чирской он участвовал в насильственной отправке молодежи на каторжные работы в Германию и расстреле военнопленных солдат и офицеров.

В ноябре 1942 года началось наступление наших войск под Сталинградом. Гитлеровцы попали в «котел», а те, кто не попал, откатывались на запад. Вместе с ними побежали их верные псы русского происхождения, обагрившие свои руки кровью советских людей. В станице Цымлянской Шипицын, не без ведома гитлеровцев, «задержался» и встретил советские войска в форме... советского офицера. Легенда, с которой он явился в военкомат, своей правдоподобностью не вызвала подозрений. Бежал из лагеря военнопленных. Да и не до проверки легенд было военкомату. Бежавших из лагерей в ту пору было немало. Пункт сбора, фронтовой офицерский резерв, отправка в действующие части на пополнение. Так Шипицын оказался в нашем полку. Здесь он получил назначение в сабельный взвод, в третий эскадрон.

В ночном бою за Цюрупинск третий эскадрон отправили для захвата переправы. Задачу эскадрон выполнил. При возвращении эскадрона на левый берег, в полк, Шипицын отстал от своего эскадрона и, пристрелив коновода, перебежал к гитлеровцам. В полку решили: взводный и его коновод пропали без вести. Но предатель не пропал. Он вместе с немцами воевал против нас. Но сколько, говорят, веревочке ни виться, а конец будет. В бою за город Юзефполь в Молдавии предатель попал в наши руки, но теперь в немецкой форме и с оружием в руках. На этот раз готовых легенд не оказалось. Шипицын был разоблачен как изменник Родины.

При рассмотрении дела на открытом заседании трибунала предатель полностью признал свою вину. Он каялся в тяжком преступлении и просил об одном — о сохранении ему жизни. Он якобы готов искупить свой позор кровью. Не поверил трибунал в чистосердечность признания. Перед нами, перед трибуналом стоял гад, стояло ничтожество, по вине которого погублены десятки жизней. Трибунал не нашел никаких смягчающих обстоятельств и приговорил подлеца к высшей мере наказания.

Офицеров полка выстроили на лесной поляне. Автоматчики привели осужденного, поставили возле ямы. Еще раз огласили приговор, уже утвержденный в верхах. Командир полка громко подал команду-просьбу:

— Офицеров, желающих привести приговор в исполнение, прошу выйти из строя.

Шагнул весь строй.

— Приготовить оружие, зарядить.

Клацнули затворы пистолетов и автоматов. У осужденного подломились коленки.

— По изменнику Родины и предателю — огонь!

Вот и все. Стихли автоматные очереди и пистолетные щелчки. Молчаливые и суровые, мы расходились по своим подразделениям. А там, на лесной поляне, саперы, зарыв яму, утаптывали и сравнивали ее с поверхностью земли, чтобы не осталось никакого следа. Собаке — собачья смерть!

Только я вернулся на батарею, как ко мне в землянку пришел старшина батареи Рыбалкин. Таким взволнованным и обеспокоенным старшину я еще не видел.

— В батарее что-нибудь неладно? — спросил я, и голос мой дрогнул. По пустякам старшина не любил мозолить глаза начальству.

— У меня, лично у меня неладно, товарищ гвардии капитан, — тихо ответил он. Тон его голоса, блеск в глазах никак не говорил о беде.

— Что случилось, Алексей Елизарович?

— Сын явился!

— Какой сын, чей?

— Петька мой...

— На службу к нам, что ли?

— Какой там к черту на службу, ему же пятнадцать лет всего.

— Откуда он взялся?

— А прибег с родины, со станицы Ремонтной прибег. Час от часу не легче. Из дому сбежал разбойник. Матери сказал, что райком комсомола на оборонные работы мобилизует. Та собрала. А он сюда драпанул. Мать, Дарья Захаровна, с ума, наверное, там сходит: сын пропал. А он, видите ли, фашистов решил бить с батей. Каков, а?

Старшина, ошалевший от радости, явно гордился сыном.

— Как он нашел нас? Мы же скрыты под номером полевой почты.

— Туда, в Ремонтную, казак один после госпиталя приехал. Выступал в школе. Рассказывал про дивизию, про наш геройский полк. Само собой — про боевой путь. Мой стрекулист намотал себе на ус. Два месяца в дороге был. Где в воинском эшелоне ехал, где товарняком, где попутной машиной. А то и просто пехом. «Чем питался? — спрашиваю. — Не святым ли духом?» «Нет, не святым, — отвечает. — Хлебом кормили крестьянки меня, как поется в старой сибирской песне. Но чаще кормили солдаты, едущие на войну». Врать научился напропалую. Когда задерживали комендатуры, крутился ужом: «Иду (или еду) на запад». Сначала называл Киев, потом Молдавию. Там, мол, у меня дедушка с бабушкой в оккупации были, теперь вот разыскиваю их. Отец на фронте. Мать тоже на фронте. Сам в детском доме жил. Люди верили. Помогали. А он пользовался, слезу при случае пускал: страдалец, мол. И вот сегодня нарисовался собственной персоной. Глянул я на него — и ахнул, не узнал. Худющий, волосами обросший, в лохмотьях, грязный как чертенок. «Чего тебе надо, хлопчик?» — спрашиваю. «Гвардии старшину Алексея Елизаровича Рыбалкина», — и смеет-

ся. «Петька — ты?» — «Я, батя!» И кидается мне на шею. Первое мое намерение после того, как в себя пришел, было: снять ремень, спустить с него штаны, выпороть хорошенько и отправить домой. Но пороть — рука не поднимается, большой уже. Домой — не близкий путь, боязно отправлять, пропадет где-нибудь, умишко-то детский. Оставлять при себе — еще страшней. За милую душу сгинуть может. Как быть — ума не приложу.

Алексей Елизарович растерянно и беспомощно развел руками.

— Малые детки — малые бедки. Растут детки — растут и бедки. Теперь все время думаю о Дарье Захаровне, как она там? Сгинул парень. Натворил шельмец делов. То-то ни одного письма за целых два месяца. Извелась, видать, вся...

Рыбалкин, гордясь сыном, страдал. Страдание было в его глазах, на его лице. Ко мне он пришел за советом. А что я мог посоветовать, что сказать, чем и как помочь?

— Где он, твой разбойник?

— Здесь, под сосною сидит. Ждет командирского слова.

— Зови.

Зачем этот отчаянный хлопец мне понадобился, я не знал. Как и не знал того, о чем говорить с ним буду. «Ждет командирского решения». Командир дивизии может принять решение, командир полка может. И помочь. А я, командир батареи, что могу решить? Мои права и власть ограничены батареей. Придется идти с рапортом по команде и ходатайствовать. Но о чем?

Парнишка смело шагнул в землянку, пропущенный отцом вперед. Стрельнул по мне взглядом, словно оценивая.

— Здравствуйте, товарищ гвардии капитан.

Голос мальчишки писклявый, ломается, но он старается говорить баском. Хочет показать: взрослый, мол.

— Здравствуй, казак, — говорю я, про себя отмечаю: знает звания, потерся, видать, среди военных. Впрочем,

кто из мальчишек не знает воинских званий? У всех деды, отцы, братья — рядовые, сержанты, лейтенанты, майоры. В глазах «казака» нет ни испуга, ни робости, скорее, пожалуй, любопытство и упрямая решимость. Лобастенький. Очень похож на отца. — Садись, гостем будешь.

Он зыркает глазами по углам. Садится на краешек скамейки, долгого разговора не ждет. Рядом с ним садится старшина. Он часто затягивается самокруткой, густо дымит, кидает радостные и в то же время тревожные взгляды на сына. Пытается унять волнение и не может. Я разглядываю Рыбалкина-младшего. Тощ, как хворостинка. За длинную дорогу, видать, хватил лиха. Ноги в рваных башмаках, прячет их под себя. Курточка и штаны с заплатками.

— Вид у тебя, казак, — говорю Петру, — не очень бравый, не гвардейский. Но это дело поправимое. Оденем, обуем. Отец, конечно же, рад встрече с тобой.

Петя оглянулся на отца, сидящего рядом, просиял белозубой улыбкой.

— А вот мать зря оставил. Обманул ее, страдать заставил. — Рыбалкин-младший насторожился, снова оглянулся на отца, стер с лица широкую улыбку.

— Деньков пять погостишь у отца и поедешь домой. О билете на дорогу походатайствуем. До границы — машиной.

— Обратно не поеду. — Петр набычился, опустил голову, глядит из-подо лба. Переносицу перерезала морщинка.

— Как это не поедешь?

— А так.

— Но здесь война, стреляют, бомбят. Убить могут.

— Я на войну и ехал.

— Но мы не можем тебя к себе взять. Командование не позволит.

— Не возьмете — все равно пойду за вами, поползу.

— Но тебя в комендатуру заберут и силой отправят в какой-нибудь детдом.

— Пробовали забирать. На границе. И в тыл отправлять пробовали. Да ничего не вышло. Я по дороге сбежал и все равно пробрался к вам.

— Смельчак! — Мне говорить больше нечего, нет убедительных доводов. Хватаюсь за последний шанс. — А как же с мамой, с Дарьей Захаровной как? Она же от горя помрет. Вот уже два месяца отцу не пишет. Вдруг что-нибудь случилось там из-за тебя?

Петька вздрогнул. Откинул космы с крутого лба. Твердо сказал:

— С мамой ничего не случилось. Я знаю. Сегодня напишу маме и попрошу прощения. Она добрая, она простит нас.

— Кого это «нас»? — быстро спросил Рыбалкин-старший. В голосе его прозвучала тревога. — Ты не один явился? Не приволок ли ты и Шурку с собой?

— Нет, не приволок. Он маленький еще, всего одиннадцать лет. И темноты боится. Дома Шурка, с мамкой.

— А кого же нас?

— Ну, меня простит. И тебя тоже.

— Ты нашкодил, а прощать надо меня? — Рыбалкин-старший начинал сердиться. Младший понурил голову. — Ловко у тебя получается. За что же она меня-то прощать будет, а?

— За то, что оставил меня здесь.

— Как оставил? Кто тебе сказал, что оставил?

Мне стало ясно одно: никакой силой мальчишку не выпроводить. Упрямый чертенок. Отцовская порода. Отправим из полка — он пристанет к другому. Но тогда отца и сына навсегда разделит неприязнь, а возможно, и целая пропасть между ними, если... в живых останутся. Но что же мне делать?

— Вот что, казак, — сказал я Рыбалкину-младшему, — твою дальнейшую судьбу будет решать командование.

— А вы, товарищ гвардии капитан, разве не командование? — По лицу его пробежала злая усмешка. — Вы не

хотите решать? А то командование, про которое говорите, скоро будет решать?

— Скоро, Петр, — сказал я, словно не заметив ни его злой усмешки, ни его обиды. Ко мне, как я понял, он шел с великой надеждой.

Рыбалкина-старшего я на минуту-другую задержал.

— Что будем делать, Алексей Елизарович? — Теперь и я беспомощно развел руками.

— Остается одно, — Рыбалкин нахмурился, некоторое время молчал, — оставлять сына возле себя.

— Опасно. Я бы не решился.

— Другого выхода не вижу.

Рыбалкин ушел. Я сел за стол и на имя командира полка написал рапорт-ходатайство об оставлении Петра Рыбалкина в батарее или в другом подразделении полка. Пошел в штаб. Но не к командиру полка, а к его заместителю по политчасти. Антон Яковлевич выслушал мой рассказ, подивился, как и я вначале, ушлому казачонку, который смог добраться и найти отца на огромном фронте, по-стариковски покряхтел, поворчал, потом весело поглядел на меня и рассмеялся, как бы обрадовался.

— Чуешь, комбат, мальчишки лезут на фронт, хотят сражаться с фашистами. Да что хотят — сражаются! И в регулярных войсках, и в партизанских отрядах, и в подпольных группах. За примерами далеко ходить не будем. Возьмем Сашу Никитенко, нашего полкового сына. Казачку тоже пятнадцать лет. А разведчик незаменимый и бесстрашный. Награжден двумя медалями «За отвагу» и орденом Славы III степени. Орден — за бои под Корсунью. Ведь что натворил он там? Первый и второй эскадроны дважды врываются в Новую Буду и дважды с потерями отходят обратно. Откуда-то из-под Шендеровки с закрытых позиций лупит тяжелая артиллерия, огонь ее такой плотный и точный, что спасу нет. А мы не можем нащупать и подавить. Посылаем Сашу Никитенко. Перед посылкой доктор наш лицо, шею, руки парнишке разделывает под всякие болячки. Одеваем в лохмотья — под

нищенку. Двое суток пропадал разведчик в тылу у гитлеровцев. Попрошайничал. Его гнали из одного места, он лез в другое. Наконец, явился. И принес точную схему всей системы огневых средств противника. Данные разведчика оказались настолько ценными, что ими артиллерия почти всей дивизии воспользовалась и тут же подавила огонь вражеских батарей и многие пулеметные точки. Через несколько часов освободили Новую Буду, а затем с ходу ворвались в Шендеровку.

Антон Яковлевич некоторое время молчал, о чем-то думал.

— Документы оформили на Никитенко для поступления в суворовское училище. Пришел вызов. На днях его отправляем. Хороший офицер будет! — Антон Яковлевич даже зажмурился, представляя, видимо, каким может стать офицером в будущем Александр Никитенко, нынешний разведчик и сын полка. — Так чуешь, комбат, какую замечательную молодую гвардию мы вырастили. И такой вот народ господа фашисты хотели поставить на колени. Вот в чем их ошибка, вот чего они не учли, начиная войну с нами. Духа советского человека не учли!

Антон Яковлевич прочитал мою бумагу, сказал, чтобы Петра Рыбалкина я зачислил в казаки и поставил на все виды довольствия, а сам он с командиром полка все уладит. Крепко предупредил: беречь юного бойца пуще, чем себя.

Петю Рыбалкина по просьбе отца мы зачислили коноводом в бывший взвод Рыбалкина-старшего. С конями он имел дело дома.

Растревожило меня появление на батарее Петьки Рыбалкина, сына старшины. Во мне проснулась до поры до времени дремавшая тоска. А тут накатилась она с такой неожиданной силой, что хоть волком вой. Ни сна не стало, ни покоя. Появилась раздражительность. При надобности и без надобности маячил то на огневой позиции, то у ездовых-транспортников, то у коноводов. Кого-то поучал, кому-то делал замечания. Командиры расчетов, люди,

знающие службу и умеющие блюсти порядок, провожали меня недоуменными взглядами: какая муха укусила комбата? Поругался с начальником артиллерии полка майором Полуяновым. В другой раз все свелось бы к шутке, а тут — к злой насмешке над начартом и его обиде. Проверяя состояние транспортных средств батареи, начарт ничего существенного не обнаружил. Но начальство должно делать замечания, указывать на упущения, на недостатки. Майору Полуянову не понравилась невыравненность на линейке бричек и повозок. Не по передкам, не по колесам надо ровнять, не то в шутку, не то всерьез заметил он, а по дышлам. Ладно, мол, примем к сведению ваше замечание и недостаток устраним — и делу конец. Человек ушел бы, считая свой служебный долг исполненным. Да еще по начальству бы доложил, что с транспортными средствами в минбатарее полный порядок. Так нет, взыграл дух непокорности, появилось желание уличить не очень компетентного офицера в глупости.

— Но дышла-то, — с ехидцей говорю начарту, — разные: одни короче, другие длинней. Как же по ним выравнивать?

— Длинные — обрежьте.

— Обрезать можно бы. Но лошади у нас тоже разные: одни короткие, другие длинные. Не лучше ли у длинных лошадей что-либо подрезать?

Фыркнул майор, побежал в штаб. Наверное, будет жаловаться на грубость. Нет, надо брать себя в руки. Пусть на душе скребут кошки, пусть давит зеленая тоска, — командир не может, не должен распускаться. С такой мыслью явился к коноводам. И тут встретил Петю Рыбалкина.

— Здравия желаю, товарищ гвардии капитан! — в радостном возбуждении отрапортовал Петр.

— Здравствуй, казак. Как служится?

— Отлично!

Парнишку оказачили. В кою-то пору успели сшить гимнастерочку по росту и штаны с малиновыми лампасами,

подобрали сапоги-маломерки и кубанку. До сабли казак не дорос. Его вооружили штыком-тесаком. Отец постарался. Что ж, старшина. Своя рука — владыка. А парнишка от радости на седьмом небе. У меня же тревожное настроение. Я смотрел на бравого казачка и думал: сумеем ли сберечь? Не лучше ли было найти способ доставить его домой? Мужчина в доме. Незаменимый помощник матери. Спросил, написал ли он письмо матери. Написал. Вспомнил строки поэта: «В письмах все не скажется и не все напишется». Так ли этот парень объяснил? Но дело сделано и переделывать что-либо теперь поздно. Между прочим, спросил у Петра, как там, в глубоком тылу, живется людям. Петька посмотрел на меня внимательным взглядом, ответил уклончиво:

— В письмах на фронт — хорошо.

— А не в письмах?

— Не сладко, товарищ гвардии капитан, — ответил Петька.

На том мы закончили разговор с Петей Рыбалкиным. Его недетские слова о тягостях жизни в тылу снова царапнули по сердцу. Моя жена Нина Николаевна в своих письмах ко мне тоже всегда писала: «Живем хорошо». Не хочу упрекать ни свою жену, ни других женщин в святой неправде. Скажу только, что их неправда помогала нам воевать и верить в победу.

О неправде же слов «живем хорошо» я узнал не от Петьки, а значительно раньше, весной 1942 года, когда на пути на фронт мне посчастливилось заскочить к семье, которая жила в Вологде.

Из уральского городка со своим 151-м УРом мы двигались на запад, к фронту. Узнав в дороге, что останавливаться УР будет в Вологде, мне разрешили выехать вперед. На одной из маленьких станций под Свердловском, бросив в мешок буханку хлеба, три банки тушенки, кольцо колбасы, пачку сахара и банку сгущенки, я бегом напра-

вился к вокзалу, и как раз дали отправление воинскому эшелону. Недолго думая, я запрыгнул на тормозную площадку одного из вагонов. Место для пассажира не очень уютное, но об удобствах думать не приходилось. Скорее бы оторваться от своего эшелона. Рассчитывал: зайцем доеду до Свердловска, а там пересяду на пассажирский. Но получилось несколько по-иному. На короткой стоянке на станции Глазово охрана эшелона сняла меня с площадки и доставила к своему начальству. Начальством оказался лейтенант. Разобравшись, кто я и что я, куда и зачем еду, лейтенант предложил в Свердловске не сходить, а составить ему компанию, остаться в эшелоне.

— До твоей Вологды мы домчимся побыстрее курьерского, — сказал он.

Эшелон с военными грузами шел к фронту, и ему была открыта «зеленая улица». Таким образом, свой эшелон я опередил на целых двое суток. И вот я дома. Явился нежданный, негаданный. Словно с неба свалился. Все: жена Нина, трехлетняя дочь Танюшка, мать жены Глафира Андреевна — безмерно рады. Обо мне и говорить не приходится. Глафира Андреевна хлопочет с самоваром, собирает на стол посуду, в чайнике заваривает какую-то траву. Садимся за стол. Глафира Андреевна наливает чай, подает. Я смотрю на тещу, на жену. Та и другая молчат. И отводят глаза в сторону.

— А к чаю у вас что-нибудь есть? — спрашиваю.

Жена опускает голову. На щеках у нее появляются слезы. Говорит тихо, с дрожью в голосе:

— Сегодня у нас ничего нет.

Я спохватываюсь. Ругая себя за глупейший вопрос, торопливо развязываю свой сидор.

— А вчера что-нибудь было?

— Чай был...

— Вареный или жареный? Чай или чаище?

Понимаю: шутки мои грубые, вульгарные, никчемушные здесь, но что-то меня прорвало, я не могу себя оста-

новить. На стол не выкладываю бережно, а кидаю хлеб, колбасу, тушенку, сахар. У жены — широко открытые, испуганные глаза. Танька, дочка моя, выскочила из-за стола, прыгает посредине комнаты. А бабушка, Глафира Андреевна, кончиками платка утирает глаза. Такого богатства в доме давно не было. Говорю громко, весело:

— Будем пировать!

— Будем пировать! — вторит мне несмышленая дочка, прыгает мне на руки, обвивает шею тонкими, худыми и слабенькими ручонками. — Мама, баба, будем пировать!

— Нет, — качает головой жена, — пировать не будем. Нашей семье этих продуктов хватит на две недели, а то и больше.

— Пировать будем после войны, — говорит Глафира Андреевна, собирая со стола изобилие моего сидора. — Сейчас же попьем чай с хлебом и сахаром.

Знал я, что люди живут трудно, но не ведал, что именно вот так. Не просто трудно — тяжко.

Я не сразу заметил, что в письмах жены, в их тоне изложения, произошли перемены. Исчезла фраза «живем хорошо». Ее заменила другая, более сдержанная: «живем не хуже других». Я же отлично понял, что скрывалось за этими словами. Понял, да, как оказалось, не всю ее глубину и трагичность. Во многом этом разобрался позднее. Попытаюсь рассказать, что скрывалось за некоторыми строчками писем жены:

— «Заготовили на всю зиму дрова, а также и семенной картофель» (строка из письма). Жены фронтовиков, да и не только они, живущие в одном доме, сбивались в артель и, когда на реке Сухоне начиналось половодье, все шли на ее берег. Весеннее половодье несло бревна, коряги и где-то смытые строения. Все это они вылавливали и вытаскивали на берег. Набухшие водою бревна тут же на берегу распиливали на чурбаки и лишь тогда, кто как мог, волокли домой и прятали в сараюшках. Весною в обмен на «лишнюю одежонку и обувь» приобретали на семена

картофель. Участки земли под посадку картофеля получали в десяти и более километрах от города. Вскапывали их лопатами, потом по несколько раз за лето их пололи, окучивали, удобряли, а собрав урожай, возили до дому на велосипедах, в детских колясках, ручных тележках, а то и просто на плечах. Не легко им доставалась картошечка, но когда ее вырастало порядочно — не бедствовали. Только вот хорошего урожая в поле, вспаханном лопатой, обыкновенно не было. Если удавалось растянуть его до весны — считай, «живем хорошо, не хуже других».

— «Родилась дочка. Назвала Наталией, так, как ты хотел. Здоровенькая. Растет быстро. К твоему возвращению с войны будет большая» (строка из письма). В семье прибавился лишний едок. Теперь их четверо. Работает одна. Заработанных денег учителя начальных классов хватает лишь на то, чтобы выкупить продукты, выдаваемые на карточки. Денег, переводимых мною по аттестату, хватает для того, чтобы на рынке купить две-три бханулки хлеба, ведро картофеля и литр молока дочкам (это стоило 500 руб.). «Но живем не хуже других».

— «Город наш часто бомбят. К бомбежке уже привыкли» (строка из письма). Плохая эта привычка. Город Вологда, где живет семья, большой и прифронтовой железнодорожный узел, база снабжения и вооружения войск. Немцы это знали. И налетами авиации стремились вывести из строя узел дорог и воинские склады.

— «Как только начнут стрелять зенитки, которые стоят рядом с нашим домом, в окнах звенят стекла, а чтобы они не выпали, мы на них наклеили кресты из бумаги и наш дом трясется как от землетрясения. Наша Танюшка в это время бросает свои игрушки и в страхе прячется под столом и даже под кроватью. А когда я или бабушка дома, надежной защитою она считала наши колени, крепко, с дрожью прилипала к нам. В бомбоубежище и щели, нарытые возле дома, мы не бегали, надеялись на девушек-зенитчиц, они своими орудиями всегда отгоняют от нашего дома немецких стервятников. Вообще в

такое время у нас бывает фронт. А вчера... в магазине у меня выкрали все продовольственные карточки. А месяц-то только начался, думала, пропадем. Не пропали. Выручили из беды, помогли прожить добрые люди, а точнее, наша Наташенька» (строки из письма). Надо же только представить! Семья из четырех человек, женщины и дети на целый месяц остались даже без хлеба. Им всем грозила голодная смерть. Но соседка по квартире, Бусарина София, видя бедственное положение семьи, а вернее, за милую Наташкину мордашку и, всего скорее, по доброте душевной, устроила девочку в ясельки и даже на круглые сутки. Жена же стала кормилицей девочки другой соседки, у той сгорело в грудях молоко. А соседка в благодарность за это смогла как-то достать и передала ей рабочую продовольственную карточку. Вот на этой одной карточке и «жила» семья в три человека целый месяц. Вот она и поддерживала в их хрупких организмах жизнь. Общая беда — война, сблизила, сдружила людей. Жены фронтовиков как и чем только могли помогали друг другу. Вместе было легче выстоять и выжить.

— «У нас большое горе. Заболела и умерла моя мама» (строка из письма). Мама жены, бабушка нашим дочуркам, Глафира Андреевна, которую и я звал мамой, принесла себя в жертву семье. Когда были «потеряны» продкарточки, она целыми неделями, да и после, не брала в рот крошки хлеба. Все отдавала внучкам и дочери, сама же довольствовалась кипяточком-чаем. Но долго ли продержишься на воде?!

В годы Гражданской войны Глафира Андреевна в одиночку вырастила, воспитала и подняла на ноги четверых детей. Вынести испытание новой войны уже не хватило сил. Смерть ее наступила от голода.

— «Дальше в школе работать я не смогла. По моей же просьбе перевелась на работу воспитателем и учителем в детский дом» (строка из письма). Так, как и в мирные годы, жена учила в школе детей читать, писать и считать. Казалось, что в школе ничего не изменилось и в годы

войны. Но это только казалось. Чем дальше во времени шла война, тем больше приходило в школу других детей — тихих, бледных, истощенных, задумчивых, с сонными глазами. Они засыпали на уроках. Учительница же, ведя урок, вдруг забывшись, строго спрашивала: «Что с тобой, Вася (Петя, Света, Галя)?» Мальчишка или девчонка только виновато слабо улыбнется, а за нее (за них) ответят другие: «Он сегодня не ел ничего». Учительница прикусит язык. Переменки стали без шалостей, беготни, возни и крика — тихие. Соберутся кучками по углам и о чем-то тихо толкуют, этакие малолетние старички.

Частыми стали и опоздания на урок и неявки в школу. Закончив урок, учительница идет к малышу домой. А там плач. С фронта пришла похоронка!

К горю взрослого, хотя и трудно, притерпеться можно. А вот к детскому горю — никогда! Не раз бывало, когда учительница урок начинала и кончала с плачем. Молча, тихо плакали дети, а вместе с ними плакала и учительница. У кого-то из ребят умерла мама, сломленная бедой, непосильной работой или от голода, или только вчера погибла от бомбежки, спасая детей. Мальчик или девочка остался на всем свете один, как перст. Ни папы, ни бабушки с дедушкой, ни теперь вот и мамы. Круглый сирота, а ему или ей кажется, что сейчас он всем чужой. Таких вот, горемычных, учителя часто брали с собой домой, в свою семью и на какое-то время становились им родителями. Скоро в детском доме из класса жены оказалось свыше десяти человек детей круглых сирот. И они, эти сироты, сейчас своею мамой считают только ее, свою учительницу. И роднее ее у них сейчас нет никого.

Бывая часто в детском доме, навещая своих учеников, жена одновремено выяснила, что большинство детей здесь вывезено из блокадного Ленинграда, их мамы не могли доехать до Вологды и в дороге умерли от голода. Спасти этих детей, сберечь, дать им хоть чуточку материнского тепла — вот что велело сердце моей жены. Вот

поэтому она и попросила гороно перевести ее из школы на работу в детский дом, считая, что она сейчас там нужнее, чем в школе.

Не сохранил я этих писем жены на фронт, но сохранил я их в сердце своем на всю жизнь. Этого забыть нельзя.

Наш отдых под Григорешти продолжался три недели. За это время мы получили пополнение в людях и лошадях, привели в порядок вооружение, в достаточном количестве обеспечили себя боеприпасами.

Пополнение в людях на этот раз пришло опытное, прошедшее школу в окопах, почти все они имели ранения в боях и награды. И совсем хорошо, что в полк вернулись из госпиталей многие из наших воинов. Вернуться из госпиталя в свой полк и подразделение считалось удачей, как возвращение в родную семью.

Здесь сменили мы обмундирование и обувь. Правда, не всем досталось новое, но и б/у (бывшее в употреблении) оказалось вполне приличным и добротным. Моему старшине снова пришлось помучиться, готовя персональное обмундирование и сапоги рослому Якову Синебоку.

Батарейцы привыкли к Якову, но ростом своим казак-заряжающий все-таки удивлял и тешил людей. На закрепленного за ним коняшку монгольской породы он, садясь в седло, не залезал, не запрыгивал, а просто зашагивал. В седле сидел смешно. Острые коленки его торчали выше седельной луки так же, как у взрослого человека они торчат, когда он садится на детский стульчик. С коня Синебок не слезал, не спрыгивал, а, поставив ноги на землю, чуть приподнимался на носках, и конь выходил из-под него, как из калитки ворот. Когда Синебок опускался в окоп-ячейку, то окоп этот оказывался ему не более как по пояс, в лучшем случае — по грудь. Но если кто оказывался в окопе Якова, то «тонул» в нем. Не только голову казака не видели, но даже и поднятых рук. Не окоп — колодец.

Война — это тяжкая, изнурительная работа. Я не раз наблюдал, даже любовался работой заряжающего Синебока в бою. Ее он делал без суеты, с некоторой медлительностью, но по-крестьянски основательно. И в бою, и после боя настроение казака всегда оставалось ровным, спокойным. Но вот здесь, в Григорешти, на отдыхе, он запечалился и затосковал. Мы часто выезжали на полевые тактические занятия. На одном из выездов я подошел к Синебоку. Взвод, собравшись на лесном закрайке, дымил самокрутками, а он сидел на бруствере возле миномета одинокий и задумчивый, отрешенный от всего.

— О чем думаешь, Яков? — опустился я рядом.

— Да так, ни о чем, — встрепенулся он и хотел вскочить.

— Сиди, сиди. О доме небось?

В эти весенние дни на многих казаков, особенно сельских, хуторских, накатывалось и бередило душу щемящее чувство тоски по дому. Все мысли их были там, где оставили они своих родных и близких, на родине.

— Из дома пишут, товарищ комбат, — неторопливо и задумчиво заговорил Яков, — что в колхозе начались полевые работы. Ни тракторов, ни коней нет. В плуги, в бороны бабы запрягают своих коровенок, а то и сами запрягаются. А деды из лукошка разбрасывают зерно. Как в глубокой древности...

Яков вздохнул и замолчал. Я тоже не сдержал вздоха и произнес: «Да, трудно там...»

Мне хотелось еще сказать, что кончится война и вновь поднимутся наши колхозы, тучными хлебами заколосятся поля и жизнь станет не хуже, а лучше, чем до войны. Но я ничего этого не сказал. Он, крестьянский сын, знал и чувствовал это не хуже меня.

— Дивлюсь я, товарищ комбат, — после некоторого молчания снова заговорил Яков, — очень дивлюсь, когда гляжу вот на эти румынские пашни. Ну ладно, маленькие лоскутки и межи — понятно. Живут несчастными едино-

личниками, сами по себе. Но почему на этих лоскутках не видно ни одного пахаря? Весна ж идет!

Верно, шла весна, она была в самом разгаре. С чистого голубого неба с редкими барашками облаков стреляли теплые лучи солнца. Земля прогревалась и нежилась. Над невспаханными и незасеянными полями волнами тек и качался теплый воздух. Он был наполнен запахами земли, леса, цветов. Леса уже оделись в молодую и нежную зелень. Зеленели подвязанные к проволоке рядки виноградных кустов. Зелень пробивалась и на пашнях. Но какая? Бурьян, кислица, чертополох, горчичник. Я как-то по-новому взглянул на Якова Синебока. У него болела душа не только за нашу землю, что на далекой родине, на Полтавщине, но и за эту, чужую — неужели она, земля-кормилица, в эту военную весну не примет и не взрастит хлебные и кукурузные зерна, неужели ей дадут зарасти чертополохом?

— А может, они считают, — Яков кивнул на недалекую деревню, — что с нашим приходом конец света пришел? Или думают, что фашисты вернутся? Чудаки, темнота несчастная.

Глава двенадцатая
И СНОВА ПО КОНЯМ

В серьезные бои наш полк пока не вводили и держали в резерве. Сейчас наши действия заключались лишь в обезвреживании небольших, разбитых и отставших от своих частей, а то и просто заблудившихся маленьких групп этого воинства.

Иногда, отчаявшись от голодных скитаний по нашим тылам и тешившие себя надеждою прорваться или соединиться со своими, эти вояки даже нападали на нас. Эти стычки нельзя было назвать боями. Какие это бои? Но такая обстановка на нашем пути продвижения приносила и пользу, так как в этих стычках мы обкатывали прибывшую на пополнение молодежь, учили их воевать на действительном противнике, смотреть ему в лицо.

С 20 августа, когда началась историческая Ясско-Кишиневская операция наших войск, мы, конники, встали в оборону на внешнем северном фланге и намертво закрыли пути отхода немцам в Карпаты. После разгрома ясско-кишиневской группировки противника советские войска устремились к столице Румынии Бухаресту, к другим промышленным центрам страны. Двинулись и мы. Направление нам дали на город Роман. Проходя севернее Ясс, мы видели работу нашей артиллерии и авиации. Сильная, замечательная работа! Прошло уже более суток, как перестали здесь рваться снаряды и бомбы, но дым, пыль и гарь все еще не улеглись. Плотным облаком

они висели над бывшей обороной гитлеровцев. Вокруг, насколько хватало глаз, валялись искореженные и сгоревшие танки, бронетранспортеры, автомашины, тягачи, пушки, минометы и пулеметы. По полю боя раскиданы глыбы железобетона, бревна, скрюченные рельсы блиндажей и дотов. И трупы. Они всюду: у засыпанных и перепаханных плугом войны окопов и траншей, у разбитых блиндажей и дотов, сожженных танков, в кюветах дорог и на самой дороге. Лес, куда уходил передний край обороны, дочиста снесен и наполовину выкорчеван. По этому полю прошел огненный смерч гигантской силы, не оставив на нем ничего живого.

Страшная картина и... приятная. Мне приятная. Нет, я не злодей, чтобы радоваться чьей-то гибели. Проезжая по этому полю, я невольно вспомнил разгром гитлеровцами 151-го УРа на Керченском полуострове в мае 1942 года. Они упивались тогда победами. На губных гармошках выводили воинственные марши. Смеялись: «Москау — капут. Ленинград — капут. Советы — капут». Пришло возмездие. Враг, посеяв ветер, пожинает бурю.

До города Роман мы почти не встречали сопротивления противника. Шли ускоренным маршем. И только на подходе, в местечке Синешти, натолкнулись на гитлеровцев, засевших на высотах. С высот мы их быстро сбили. Теперь предстояло овладеть городом. Город лежал перед нами как на ладони. Яркое полуденное солнце выделяло и подчеркивало ослепительную белизну домов с красными черепичными крышами и зелень садов и парков, сверкало чистым серебром на широкой ленте реки Серет, опоясывающей полуподковой и сам город и пойменные, прилегающие к городу с юга, в изумрудной зелени луга. Не из пушек и минометов бить бы по такой красоте, не пулеметным огнем выкашивать травы и сады, а вместе с ними и человеческие жизни,— картины писать бы с такой красоты, любоваться ею. Но — война. Сколько чудесных по своей красоте было на нашей земле городов,

но пришли варвары XX века и испоганили их, взорвали, сожгли, превратили в руины.

Разведка, пробравшаяся накануне в Роман, установила: город обороняют румынские войска. Немцы отошли к Бухаресту. Но здесь, за спиной румын, они оставили свои заслоны вроде заградительных отрядов. Оборона построена обводом по северо-восточной окраине. В ней — окопы и траншеи, доты и дзоты, огневые точки в подвалах, на этажах, на чердаках.

Полки дивизии готовятся к атаке в конном строю. Наш участок — с севера и северо-запада. Нам стало известно, что с востока к городу подошли полки 63-й кавдивизии и танковые части фронта.

Один танковый батальон придан нашему полку. Танкисты демонстративно, на глазах у противника, прошли параллельно переднему краю врага, отклонились несколько в сторону и скрылись за одной из высот, чтобы там развернуться в боевой порядок и вместе с нами ринуться в атаку.

На переднем крае противника было тихо. Лишь редкие пушечные выстрелы да короткие пулеметные очереди нарушали дремавшую тишину. Но когда вдоль фронта пошли танки, враг всполошился: зачастили пулеметные выстрелы, залаяли минометы. По торопливой, лихорадочной стрельбе мы поняли: враг нервничает.

В 19.00 все артиллерийские и минометные батареи дивизии одновременно, каждая в своем секторе, обрушили удар по огневым точкам противника и по его переднему краю обороны. И тут же взвились красные ракеты — сигнал для начала атаки. На солнце блеснули сотни, тысячи обнаженных клинков. И конная лавина, подобная девятому морскому валу, рванулась к городу. На флангах атакующих эскадронов перекатами двигались тачанки и с разворота поливали вражескую оборону пулеметным огнем.

Легендарные боевые тачанки! Широко примененные прославленной Первой Конной армией на полях сра-

жений Гражданской войны, они стали грозой для врага. В юность моего поколения тачанки вошли красивой песней с ее припевом, как широкий выдох:

Эх, тачанка-ростовчанка,
Наша гордость и краса,
Конармейская тачанка —
Все четыре колеса!

Что же это такое — тачанка? Рессорная повозка с открытым легким кузовом. Иными словами, подвижная боевая площадка с усиленной запряжкой — тройкой или четверкой лошадей, со станковым пулеметом, обращенным стволом назад. В обслугу обычно входили три человека: пулеметчик с помощником и ездовой. Тачанки хорошо послужили и в боях Великой Отечественной.

...В атаку на город Роман пошли танки. Артиллерийские и минометные батареи, снявшись с временных огневых позиций, уступами вправо и влево двинулись вслед за эскадронами. За батареями снялись и двинулись штабы, подразделения связи, саперы, хозяйственники. Все устремились к городу. Атака была настолько стремительной и сокрушающей, что с первых ее минут вражеская оборона оказалась парализованной. Обороняющихся объял страх. Сначала из окопов стали выскакивать солдаты-одиночки, а потом началось повальное, паническое бегство. Его не мог остановить ни пулеметный, ни автоматный огонь немецких заслонов. В эти обезумевшие толпы и врубились казаки. Через час все было кончено.

Город Роман, как и многие города, строился для телеги. Улочки и переулки его настолько узки, что разъехаться невозможно. А в них сбился чуть ли не весь корпус с танками, пушками, повозками. На перекрестках улиц образовались пробки, в самих улицах началась невообразимая толчея. Части и подразделения перепутались, перемешались. А тут наступила по-южному темная, глухая ночь. Выйти из города, не потеряв своих подразделений,

полки не могли. Надо было ждать рассвета. Рассвет же ничего хорошего не сулил.

Не у одного меня, у многих офицеров возникла тревожная мысль: а ну как налетит авиация противника? Предчувствие беды не обмануло. Едва только первые солнечные лучи чиркнули по крышам домов, в небе появилась «рама». А вскоре пришли и фашистские бомбардировщики. Спасибо нашим летчикам-истребителям, которые почти в самом начале бомбежки разогнали фашистских стервятников, а затем в течение дня не подпускали их к городу. Иначе нам не избежать бы больших потерь. Да и город был бы сильно разрушен.

Вечером 24 августа нас, командиров подразделений, вызвали в штаб полка. Михаил Федорович Ниделевич и Антон Яковлевич Ковальчук были в торжественно приподнятом настроении. Удачно проведенной атаке на Роман радуются? Но в боевой жизни полка бывали не менее удачные атаки. Что-то, видать, другое произошло.

— Стало быть, так, — поднялся командир полка. Он потер руки и обвел всех взглядом. — Мы имеем добрую весть...

И рассказал, что вчера, 23 августа, в столице Румынии вспыхнуло вооруженное восстание против фашистской диктатуры. Выступили рабочие и части Бухарестского гарнизона. Арестованы Антонеску и вся его клика.

От такой вести и наше настроение подпрыгнуло до самой высокой отметки. Командир полка порадовал нас еще одной доброй вестью, точнее — необычным, непривычным и интересным боевым заданием: завтра, в 12.00, в районе села Подолем полку предстояло принять капитуляцию румынской пехотной дивизии. Дивизия эта в боях с нами сильно потрепана. Теперь, прекратив боевые действия, она готова сложить оружие. Командир полка предупредил, чтобы к сдавшимся относиться как к возможным союзникам. Вот это-то и было непривычным, когда вчерашний враг сегодня может стать союзником. Но, как сказал на этом совещании Антон Яковлевич Ко-

вальчук, будем радоваться тому, что одна спица из военной колесницы Гитлера уже вышиблена нами. Лиха беда начало.

До места расположения румынской пехотной дивизии было километров пятнадцать. Прошли мы их скорым маршем. Не доходя до леса трех километров, где был румынский бивак, полк на всякий случай занял оборону. Вперед был выслан первый эскадрон, который примерно в километре от леса тоже остановился. Далее двинулись полковые парламентеры под охраной взвода лейтенанта Алиева. Словом, мы действовали со всеми предосторожностями. На опушке леса наших парламентеров поджидали румынские. А дождавшись, не в переговоры вступили, а бросились обнимать казаков. Командир полка Ниделевич и его заместитель Ковальчук, наблюдавшие в бинокли за процедурой встречи наших представителей с румынскими, не стали ждать донесения о том, принимает ли румынское командование наши условия капитуляции, а вскочили на коней и помчались на опушку леса. На месте, мол, сами разберемся. Скоро там была поставлена штабная палатка.

Далее все происходило так, как было условлено. В 14.00 на лесной дороге показалась большая колонна. Впереди нее ехала группа всадников — командование дивизии. На опушке леса, где встретились парламентеры и где находились командир полка с заместителем, всадники остановились. От группы отделились два генерала и, чеканя шаг, словно на параде, подошли к командиру полка, откозыряли, представились: командир дивизии и представитель генерального штаба румынской армии. Ниделевич, приняв доклад о готовности дивизии к сдаче оружия, пригласил румынских генералов в штабную палатку. Там, подписав акт о капитуляции, генералы сдали свое личное оружие. Затем начали сдавать оружие и боеприпасы роты и батальоны.

Мы идем на Бухарест. За плечами у нас остались Роман, Бакэу, Аджуд Ноу, знаменитые с суворовских времен

Фокшаны. Но до румынской столицы мы не дошли. Из занятого полком городка Бузэу нас резко повернули на север, на Семиградские Карпаты, в ущельях и на перевалах которых укрепился противник.

Вот где нам пригодился опыт, приобретенный в боях в предгорьях и ущельях Кавказа. Карпаты, как и Кавказ, непреодолимы. Так считали гитлеровцы, обломавшие зубы на Кавказе. Теперь им хотелось думать, что русские, подобно им, обломают зубы на перевалах и в ущельях Карпат.

Зубов своих в Карпатах мы не обломали. Но переход через них и изгнание врага стоили нам немалых потерь и неимоверных трудностей. Чтобы одолеть расстояние в триста километров, нам понадобилось затратить ни много ни мало 48 суток, в которых не было ни дня, ни ночи без боя. Как нигде в другом месте, здесь требовалось знание и понимание каждым казаком маневра взвода, эскадрона, батареи. Отступающие гитлеровцы в Карпатах использовали против нас, кажется, все возможное и невозможное. Они взрывали и сжигали мосты, висящие над ущельями. В узких местах дороги и на поворотах закладывали фугасы и, взрывая их, оставляли огромные воронки или завалы из обрушенных скал. Все труднопроходимые места и повороты держали под пулеметным и минометным огнем. В расщелинах скал, на их вершинах они устраивали орлиные гнезда, в которых оставляли снайперов. В светлое время над полковой колонной постоянно висела «рама», налетали бомбардировщики и остервенело бомбили. Укрыться же от авиации было некуда: с одной стороны дороги поднимались отвесные скалы, с другой — обрывы и пропасти. Людей и лошадей поражали не только осколки бомб, снарядов и мин, но и камни. Но ничто не могло остановить нашего движения. Пусть медленно, иной раз на три-четыре километра пути затрачивалось по двое суток, мы упорно шли вперед, расчищая дорогу огнем. Встретится подорванная или заваленная камнями тропа — одна группа казаков глушит

огневые точки противника, а другая засыпает воронки, разбирает завал на дороге или чинит мост.

Встретится горящий мост — казаки безоглядно кидаются и проскакивают по нему через пламя. Какой-то участок дороги сплошь простреливается, кажется, мышь по нему не проскочит. Но малыми группами или поодиночке пролетают казаки. Невозможно пролететь — переползают. И вперед, только вперед.

Через две недели полк достиг главного перевала Карпат. Высота его, как помечено на оперативных картах, 1131 метр. Вершину закрывают облака.

Разведка установила: перевал держит рота горных егерей, пушечная и минометная батареи. Попытка полка взять перевал с ходу оказалась неудачной. Пришлось попятиться. Полковая колонна, словно пружина, сжалась, уплотнилась. Гитлеровцы не замедлили этим воспользоваться. Они начали усиленно обстреливать колонну из пушек и минометов, вызвали авиацию. Артобстрел и бомбардировка с воздуха много бы бед наделали, если бы полк не успел рассредоточиться и, насколько было возможно, укрыться. Для укрытия использовали зигзаги дороги, расщелины и выемки скал. И все-таки потери мы понесли немалые.

Под прикрытием своего огня егеря пошли в контратаку. Но эскадроны заставили их повернуть назад. В срыве контратаки большую помощь эскадронам оказали мы, минометчики, ударив и на какое-то время заставив замолчать пушки и минометы на перевале. Мы лишили контратакующих огневой поддержки. И тут отличился знанием правил ведения огня в горах командир первого взвода лейтенант Тарасенко. Несколькими выстрелами он нащупал расположение вражеских батарей, а по его данным подготовились Ромадин и Мостовой. Двух залпов батареи оказалось достаточно, чтобы заткнуть глотку вражеским артиллеристам и минометчикам.

Два эскадрона, улучшая позиции, отбивая новые контратаки егерей, шаг за шагом подбирались к вершине

перевала. Однако взять его без больших потерь не представлялось возможным. Егеря сражались с отчаянием обреченных. Какой же найти выход? И тут выручила находчивость и смекалка старшины третьего эскадрона Пефтибаева. Он предложил небольшой группой казаков спуститься в ущелье, по речке пройти вверх, затем подняться на скалы и ударить по немцам с тыла.

Командир эскадрона капитан Безруков ухватился за поданную мысль и привел Пефтибаева к командиру полка.

— Кто возглавит группу? — спросил Ниделевич, выслушав старшину, и, не ожидая ответа, ткнул пальцем. — Стало быть, так. Твоя идея, тебе ее исполнять.

— Буду рад.

— Кого возьмешь с собой?

— Наиболее крепких казаков.

— Сколько.

— Со мною пятнадцать.

— Отбирайте.

Тут же договорились: спускаться в ущелье завтра до восхода солнца, чтобы к вечеру (назначили час) подобраться к вражеской обороне с тыла. И еще: к тому часу эскадроны устраивают ложную атаку, отвлекая на себя внимание егерей. В группе старшины Пефтибаева не было ни одного альпиниста. Но казаки должны были стать ими, как на этой Карпатской дороге становились все мы, начиная от командира полка и кончая шорником из хозяйственного взвода, саперами.

Поднявшись по речке километра на полтора-два, казаки в связках по три человека начали взбираться на скалы. Удача сопутствовала казакам. К исходу дня они уже подбирались к обороне гитлеровцев на перевале с тыла. Здесь у врага не было никакой охраны. Казаков, кроме того, скрывали облака, окутавшие вершины гор, и наступающие сумерки. Ложная атака третьего и четвертого эскадронов началась в назначенное время. Все это дало возможность группе старшины, в которой было все-

го лишь пятнадцать казаков, незамеченной подползти к врагу вплотную. Дружный удар группы — беспрерывный автоматный огонь, взрывы гранат, громкоголосое «ура» — сделал свое дело.

«Окружение!» Одно лишь это слово гитлеровцев бросало в панический испуг и трепет. Они боялись его как черт ладана. И немудрено: после Сталинграда, после Корсунь-Шевченковского, после многих других больших и малых «котлов» они хорошо знали, что это такое. Так получилось и в этот раз. Бросив позиции, гитлеровцы побежали. Поначалу они было кинулись по дороге-спуску с перевала, но напоролись на кинжальный огонь. Старшина Пефтибаев предусмотрительно оставил здесь старшего сержанта Середу в паре с казаком-автоматчиком. Потом они заметались на маленькой площадке, но всюду натыкались на огонь. Немногим удалось укрыться в скалах.

Атака эскадронов, начатая как ложная, ради того, чтобы отвлечь внимание противника от группы смельчаков, теперь превратилась в настоящую, и очень скоро темное сентябрьское небо прочертила зеленая ракета — путь на перевал открыт! Казаки стремительно пошли вверх, чтобы завершить зачистку.

Перевал, казалось, неуязвимый и недоступный, оказался в наших руках за считаные минуты. Горстка смелых и смекалистых людей сделала то, что не могли сделать эскадроны лобовыми атаками. В этой операции пали геройской смертью старший сержант Середа и казак Нургалиев и тяжело ранен парторг эскадрона Чариев.

Впереди перед нами лежали новые ущелья-теснины и новые горные перевалы. Но главный был пройден.

Кони... Не устану повторять, какого великого уважения и доброго слова заслуживают эти безответные труженики войны. Помню, в начале войны между нами, молодыми командирами, «великими» и начинающими стратегами, шли споры о роли родов войск в современной войне. Как это у Шота Руставели: «Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны». Кто-то из нас преклонялся перед

танками и авиацией и этим объяснял успехи гитлеровских войск в первоначальный период войны, кто-то предпочтение отдавал артиллерии, громко именуя ее «богом войны», кто-то — матушке-пехоте, «царице полей». Но когда разговор заходил о кавалерии, все сходилось на одном: век кавалерии отошел, она умерла. Легендарная слава Первой Конной, родившаяся в годы Гражданской войны, была последней яркой вспышкой конницы. С развитием моторизации начался ее закат, а затем тихая смерть как рода войск. Память о ней сохранится лишь в песнях.

И вдруг ошеломляющие известия: в битве под Москвой отличились конные корпуса генералов Белова и Доватора. Нет, не умерла, стало быть, конница, не кончился ее век. Она нашла свое место и в этой великой войне. Когда же я сам стал казаком-конником, то влюбился в этот род войск.

...Для кавалериста забота о коне — особая. Казак без коня — не казак. Коня надо холить, лелеять и жалеть. С ним ведь и в бой, и на смерть идти. А хлопот с конем много: его и почистить надо, без крайности и нужды на марше не запалить, не дать обезножить, не набить спину, научить выполнять команды. Да, нас частенько называли «ночными птицами», а то и «артистами из гастрольных бригад». Мы не обижались на прозвища! Изменились условия войны — изменились и действия конницы. Теперь кавалерия чаще всего действовала совместно с танкистами в составе конно-механизированных групп. Но нередко бывало, когда боевые задачи конники решали самостоятельно.

В глубоких снегах Подмосковья, где останавливалась и застывала порой вся колесная и гусеничная техника, в ущельях и скалах Кавказа, где и об автомобиле и о танке не могло быть и речи, в сыпучих песках Кизляра, в непролазной грязи Корсунь-Шевченковского, наконец, здесь, в Карпатах, конь оказывался незаменимым. Милый, безотказный коняга всюду проходил. И не только проходил. Он

нес на себе всадника да еще вьюк до 200 килограммов, а в упряжке — до 300 килограммов. Переменным аллюром коняга преодолевал за ночь расстояние до сотни километров. Он ходил в яростные атаки. Он стонал и плакал слезами от боли при тяжелых ранениях. Он принимал смерть в бою, как принимает ее солдат...

Этот ночной бой за село Олеш-Телек не был ни особенно трудным, ни особенно тяжелым. Но он отозвался глубокой горечью и болью для старшины Рыбалкина, для меня, для всех батарейцев. Погиб Петя Рыбалкин. Не уберегли мы юного казачка, нашего приемыша.

...Вечером пятнадцать казаков из четвертого эскадрона под командой помкомвзвода Рязанцева отправились лазутчиками в село. Вся группа была облачена в немецкую форму. Задание давал лично командир дивизии генерал Сланов. Оно было простым и дерзким: под видом немецкой команды, возвращающейся из разведки, пройти в село, там разбрестись по разным местам, укрыться и, как только гитлеровцы сыграют отбой, на усадьбах одновременно зажечь стога сена и копны соломы, а самим, не сходясь вместе, открыть автоматный огонь — создать впечатление у врага, что все село занято русскими. Поджигателям — «немцам» выдали немецкие автоматы, по фляжке с бензином и по коробку спичек. Иметь в виду: при появлении пламени в разных местах села по обороне противника ударят артиллеристы и минометчики. Они поставят огневой вал, за которым эскадроны пойдут в атаку.

Все произошло, словно по расписанию.

К утру село было очищено. Эскадроны захватили богатые трофеи. В их числе шесть штабных автобусов с рацией и документами. Сами же потерь почти не понесли. Зато потери понесли мы, минометчики. Увидев загоревшиеся стога сена и соломы в селе, батарея залпами открыла огонь. В начале боя гитлеровские минометчики начали огрызаться и, видимо, по вспышкам засекли нашу батарею. Прямым попаданием их мины у нас был разбит

один миномет и полностью погиб расчет, которым командовал старший сержант Шайхулин. Две мины угодили в укрытие для коней. Погибли четверо коноводов. Среди них и Петр Рыбалкин.

Алексей Елизарович во время боя был на огневой позиции. Но как только донеслись два глухих хлопка со стороны укрытия, он сразу же метнулся туда. Ему словно сердце подсказало, что с сыном беда.

Всю ночь Рыбалкин просидел возле сына. Утром пришел ко мне. Я не узнал старшину, так он изменился за одну ночь. Лицо стянулось и почернело, глаза провалились, а волосы засеребрились, словно их прихватил иней. Он сидел передо мной и ронял редкие, как дождевые капли, фразы:

— Только что от Дарьи Захаровны получил письмо. Обрадовалась: нашелся пропавший сын. Пишет: «Береги». Что я теперь отвечу ей? Ах, Петька, Петька. Радость ты принес мне, а теперь вот горе. Ну зачем я просил оставить его? Я застал его живым. Умирая, он открыл глаза, узнал и очень ясно сказал: «Прости, папа». В чем я должен его простить?

Чем я мог помочь Алексею Елизаровичу? Какие найти слова, чтобы утешить? Никаких слов я не находил. «Берегите мальчишку пуще, чем себя». Это наказывал Ковальчук. Но разве знаешь, где упадешь? Знал бы, говаривали деревенские деды, соломки бы подстелил, ушел от беды. На войне и командармы гибнут.

Петя Рыбалкин лег в братскую могилу вместе с другими воинами.

Два человека, два батарейца особенно крепко запали мне в душу. После гибели Пети Рыбалкина я почему-то прежде всего подумал о них. Первый — Катя Мельникова, батарейный санинструктор. Она пришла к нам после того, как уехала домой Пана Мазурик. Вернее, ее привез на батарею заместитель командира дивизии по политчасти полковник Юрченко.

— Сохрани, комбат, Катю, — попросил он, — очень талантливая девушка. Убьют или покалечат на войне — страна потеряет, может быть, вторую Любовь Орлову или Веру Марецкую.

Все в дивизии знали, что Виктор Захарович преклоняется перед искусством. Он постоянно искал таланты, а находя, тревожился за их судьбу.

— Девушка мечтает о ГИТИСе, но... после войны, после победы. Сейчас и слышать ни о чем не хочет.

— Но, — заикнулся было я, — в дивизии — в штабе, в санэскадроне, пожалуй, легче сохранить.

— Нет, не легче, — замполит покачал головой. — Во-первых, все мы на колесах и в седле. В том числе и наш походно-передвижной санэскадрон. Во-вторых, она рвется на передний край — в эскадрон или батарею. И в-третьих, девушка она умная, статная, красивая. А в штабе дивизии женихов слишком много. Они вьются вокруг нее и льнут, как мухи к меду. Боюсь, окрутит какой-нибудь хлюст, далекий от искусства, привяжет ее к своему частоколу, скорее же всего, вдовой сделает, вдовой-мамой и — прощай театр, прощай киностудия. Жалко будет.

— Я должен уберечь Катю и от любви? Непосильная задача. В батарее тоже могут найтись хлюсты.

— Девушка она самостоятельная и разборчивая. Она из тех, кто не отдает поцелуя без любви. Последние слова принадлежат, кажется, Герцену.

«Сохрани, сбереги...» Шутка сказать, а выполнить как, где сберечь? У нас нет железобетонных бункеров. От противника мы располагаемся в полуверсте, а то и того меньше. Нас достают и снаряды, и мины, и крупнокалиберные пулеметы, не говоря уже о бомбах. Так что место для «сбережения» не очень подходящее. Нет, мне не хотелось брать на себя такую обузу. Каким бы это «нет» решительным ни было, оно ничего не значило. Полковник просто мог бы приказать — и никаких разговоров. Но, как

человек деликатный, он не приказывал, а просил. И его просьбу нельзя не уважить.

Катя перешла на батарею. Санинструктором она оказалась умелым, расторопным и бесстрашным. Когда надо было оказать первую помощь раненому, ее не пугали ни разрывы вражеских снарядов на огневой позиции, ни близость танков противника, ни пулеметный обстрел. Свое дело она делала самозабвенно и увлеченно. Катя очень скоро приглянулась всем батарейцам своей сдержанностью, открытостью, добротой души.

«Сохрани, сбереги...» Тревога за Катю никогда не покидала меня. Но, видно, сама судьба сберегала Катю. А вот от любви эта судьба уберечь не захотела. Катя подружилась с командиром взвода Михаилом Тарасенко. Дружба их была такая чистая, трепетная и возвышенная, что я не только не стал мешать и показывать свою командирскую власть, но даже способствовал, устраивая как бы невзначай им встречи.

Юрченко не забывал о своей подшефной. Частенько он звонил по телефону на батарею и справлялся о Катином житье-бытье, о ее боевых делах.

Каким-то образом до Юрченко дошла весть о Катиной дружбе с Тарасенко. Замполит специально приехал на батарею.

— Ну, комбат, показывай мне своего жениха.

— Какого жениха? — притворно удивился я.

— Не хитри. Вызывай сюда. Познакомлюсь.

Ну, думаю, нагорит на орехи Тарасенко, а попутно и мне за то, что «не сберег». Беседа их длилась долго. О чем они говорили — не знаю. Только тот и другой остались друг другом довольны. Уезжая, Юрченко сказал о «женихе»:

— Хороший парень. Хотел бы я сына такого иметь. Береги его. Всех береги. Ты понял, комбат?

Прошло немного времени, как снова позвонил Юрченко. Разговор о Кате. Ее направляют на учебу в Москву. Но не в театральный институт, а в какую-то медицинскую

школу для повышения квалификации фронтовых сестер. Думаю, что без Юрченко здесь не обошлось. Виделся уже конец войны, и Катя могла день победы встретить на учебе. Такому обороту дела в душе я был рад. Рад за Катюшу — война закончится, и она придет к своей мечте, за Тарасенко — он не будет дрожать за ее жизнь, был рад и за себя. За себя потому, что я... «сберег» ее. Катя, узнав о направлении ее на учебу, заявила: «Не поеду — и все!» Мне и Тарасенко стоило немалых трудов, чтобы уговорить девушку. Не куда-нибудь отправляют, а в Москву. Я больше напирал на приказ по дивизии, которого нельзя ослушаться.

Второй человек — мой коновод Николай Иванович Чернышев.

В полк Николай Иванович пришел ополченцем в дни его формирования в Урюпинске. Сам он родом из города Калача Сталинградской области. Солдатская лямка старому казаку, прошедшему в молодости две войны, не была в тягость. Всякое дело он делал спокойно, без суеты и спешки, но надежно и добротно. До того, как стать моим коноводом, Николай Иванович работал ездовым на повозке с боеприпасами. Повозку свою содержал исправной, а лошадей — ухоженными.

Старый казак по возрасту давным-давно мог уйти из армии, как уходили его одногодки. Но он этого упорно не хотел. «Эту работу (войну) надо одолеть до конца. Прикончим Гитлера — душа будет спокойна». Когда я заводил разговор о том, что не пора ли ему, Николаю Ивановичу, подумать об отдыхе, он начинал не на шутку сердиться, вставал на дыбы, с обидой выговаривал мне, что, мол, я хочу избавиться от него, спровадить старого коня, как надоевшего и ненужного.

— Ишь, на отдых... Неужели нет того разумения, что на том свете наотдыхаемся?

Я выслушивал стариковское ворчание и оставлял казака. Я глубоко уважал Николая Ивановича. Как старшего товарища, как отца. С ним я не знал никаких житейских

забот и хлопот. А мой Казак благодаря Николаю Ивановичу вызывал зависть многих офицеров полка своей ухоженностью. В Казака Николай Иванович был просто влюблен. В последнее время Николая Ивановича стал жестоко мучить ревматизм ног. И хотя он всеми силами скрывал свою хворь, но я видел страдания старого воина. И, набравшись мужества, при очередном увольнении старших возрастов решительно сказал:

— Все. Собирайтесь, Николай Иванович, домой. За службу, за работу великое вам спасибо.

Казак пытался еще артачиться, наговорил мне всяких страстей-напастей, что, дескать, со своею бесшабашностью (напомнил мне случай под Корсунью) я пропаду ни за грош ни за копейку, что молодые казачата не доглядят за командиром и я буду ходить голодным, разутым, раздетым, что славного Казака новый коновод доведет до ручки, потому что не знает его характера и привычек.

— Нет, Николай Иванович, никакие доводы не помогут. Приказ по полку подписан. Собирайся, дорогой друг и товарищ, в дорогу.

Он понял, что это решение окончательное. Сразу както сгорбился, сник. Спросил тихо, чуть заикаясь:

— Уезжать — когда?

— Сегодня вечером. Идите в штаб полка за документами.

Он побрел от меня стариковской шаркающей походкой. Но не в штаб полка, а на коновязь. «Прощаться с Казаком», — с грустью подумал я.

Вечером на батарею приехал полковник Юрченко. Виктор Захарович был оживлен, весел. Сразу спросил, собралась ли Катя.

— С грехом пополам.

— Ну ничего, в Москве она все поймет и оценит.

На проводы пришло полковое начальство — командир полка и его заместитель. Пригласили Тарасенко.

Николай Иванович и Катюша на скорую руку сгоношили прощальный ужин. Сели за стол. Трофейную «цуйку»

разлили по кружкам, чокнулись, выпили. И заговорили о Москве. О том, что жизнь в столице наладилась, что затемнение снято, что театры из дальних городов вернулись. Большие синие глаза Кати заблестели, щеки налились малиновым соком. Ее попросили что-нибудь спеть. Но петь она не захотела, сославшись на не соловьиное настроение.

— А вот прочитать что-нибудь прочитаю. — Она задумалась, как бы ушла в себя.

Катя знала уйму стихов. И там, где она оказывалась — в блиндаже, в землянке, в палатке, — батарейцы не скучали. Сейчас же она стала читать не стихи, а рассказ Алексея Толстого «Русский характер».

...Танкист, горевший в танке, перенесший всякие пластические операции на лице, приезжает из госпиталя домой и, сказавшись матери и отцу другом их сына Егора, рассказывает о героизме Егора, о самом себе. Мать не признает сына, но глаза — сыновьи, жесты — сыновьи. Материнское сердце не обманешь. Не обманешь сердце и любимой Кати. Егор, чтобы не мучить родных и любимую, чтобы не мучиться самому, уезжает в полк. И следом получает письмо. А в нем — крик души: приезжий человек был — это ты, Егор!

Катя побледнела. Глаза ее горели. Она неотрывно смотрела на своего друга Михаила Тарасенко. И в рассказе обращалась только к нему. Этим рассказом она клялась ему в верности, что бы с ним ни случилось.

Потом обратила свой взгляд на Ниделевича, как будто знала и плохо сложившуюся судьбу его семьи. Ниделевич от этого взгляда и от слов Кати вздрогнул, отвернулся и нервно стал тереть лицо. Потом как-то суетливо поднялся, неуклюже извинился за свою забывчивость — мол, не сделал очень важного дела и торопливо ушел. Забыв даже попрощаться.

— Что это с ним? — недоуменно спросил я, кого — и сам не знаю.

Ковальчук сердито толкнул меня в бок: «Молчи-и-и!»

Катя негромко и устало произнесла последние слова рассказа о силе и красоте русского характера и, не ожидая наших похвал, выбежала из блиндажа. Мы, потрясенные и рассказом, и исполнительницей, долго молчали. Потом Юрченко тихо сказал:

— Пора по коням.

Поднялись разом и вышли. Рядом со мной шел Николай Иванович. Закинув за плечо мешок с нехитрым солдатским имуществом, по дороге к замполитовской машине он ворчливо, по-стариковски наставлял меня, как вести себя в бою, как следить и ухаживать за Казаком. И вздыхал. Я понимал его вздохи. Подарить бы старому воину Казака да отправить его домой по пути, пройденному полком, — большей радости для Николая Ивановича не было бы. У меня даже разговор по этому поводу был с командиром полка. Но тот отказал. В полку не хватало лошадей.

Николай Иванович устроился на заднем сиденье открытого «виллиса», нахмурился, нахохлился и стал похож на неприютного осеннего воробья. Пригласил в гости на Дон. Я пообещал приехать после победы.

...Не суждено было Кате Мельниковой ни прийти к своей мечте о театральных подмостках, ни встретиться с Мишей Тарасенко, ни дождаться Дня Победы. За два месяца до окончания войны она заболела и умерла, как сообщили в дивизию из той самой медицинской школы. Не состоялась наша встреча и с Николаем Ивановичем. Он умер после операции на правой ноге в апреле 1945 года, так и не узнав вкуса завершенной великой работы.

С Матвеем Михайловичем Пантелеевым мы вместе, наверное, больше пуда соли съели. И знал я его, кажется, лучше, чем сам себя. И вдруг в нем открывается новая черта, доселе мне неизвестная. Мягкий, добрый, покладистый — кажется, мухи не обидит. И в то же время умеющий, да еще как, постоять за себя, за свое достоинство.

Это случилось на большом ночном переходе полка от города Деж до города Сату-Маре. Погода стояла сырая с ветром. Матвею Михайловичу нездоровилось. Еще в Карпатах он жестоко простыл. Его бросало то в жар, то в холод. Таблетки, которых он проглотил немало, не помогали. Я видел его трясущегося в седле, сгорбившегося, как нахохлившегося от сырости воробья, и жалко стало мне старого «гусара». Подъехав, я предложил ему пересесть с седла на повозку с боеприпасами и, если удастся, то укрыться, чем найдет, и подремать.

Пантелеев недоуменно и вместе с тем ласково посмотрел на меня и ничего не сказал. Хотя и тяжело ему было трястись в седле, но знал он и строжайший приказ комдива, которым кому бы то ни было строжайше запрещалось на марше находиться на повозках, тачанках и даже пушечных лафетах, кроме ездовых. Такие меры командованием были предприняты для того, чтобы полки и его подразделения были в постоянной, сиюминутной готовности перейти от марша к бою. А я этот приказ своим указанием явно нарушал. В пути на марше неоднократно уже вспыхивали короткие, но внезапные и яростные стычки с отдельными частями противника, отступающими в том же направлении и по той же дороге, по которой двигались и мы. Или с группами противника, оказавшимися у нас в тылу и прорывающимися к своим частям.

Когда я отъехал, мой Матвей охотно спешился и перебрался на повозку, да еще и укрылся от ветра брезентом.

А тут, на нашу беду, комдив — генерал Сланов проверял свое войско на марше. И как раз против повозки, на которой лежал укрывшийся брезентом Пантелеев, громко скомандовал: «Сто-о-о-о-й!» Повозка остановилась, а за нею и вся колонна. Генерал толкнул своего иноходца и подъехал к повозке. «Быть грозе», — подумал я, находясь рядом с генералом. Но произошла гроза другая.

Не знаю, был ли генерал до нас еще в великом гневе — может быть, потому он не смог сдержать свою ярость. Он

заметил, что под брезентом лежит человек и его приказ явно нарушен — размахнулся и ударил своим стеком по брезенту. Удар оказался сильным, он ожег бок и руку Пантелеева. Наш Матвей Михайлович, также в гневе на обидчика, молниеносно сбросил с себя брезент, спрыгнул с повозки и сделал выпад для удара обидчика штыком. Он, оказывается, и под брезентом лежал в обнимку с винтовкою, да еще и с примкнутым штыком, готовый к немедленному бою. Далее могло случиться непоправимое, если бы ездовой повозки, казак Ищенко, не успел схватиться за приклад пантелеевской винтовки и не дернул ее назад с криком:

— Одумайся, Михайлович! Остынь!

Я же был ни жив ни мертв от происшедшего. Ведь могут расценить как покушение на жизнь генерала, а за это... скорый суд военного трибунала и... страшно представить, что за этим последует. У меня потемнело в глазах. Я сейчас в таком состоянии, что не знаю ни что сказать, ни что предпринять. Ведь по моей вине нарушен приказ генерала, ведь это я предложил Пантелееву...

Между тем Матвей Михайлович разразился ругательствами: «Мальчишка! Сопляк! На кого ты руку вздумал поднять? Ты под стол пешком ходил, когда мне, конармейцу, сам Семен Михайлович лично приколол на грудь орден Красного Знамени. Или ты возомнил себя благородием и превосходительством? А?.. Так напомню, время благородий и превосходительств мы закончили еще в семнадцатом году».

Красив был в гневе Матвей Михайлович. Глаза его сверкали и ночью, пышные усы дергались, сам он был напряжен как струна и винтовку, как трость играючи, перекидывал из одной руки в другую. Наконец, кончился поток его ругательств, приведенных мною здесь далеко не полностью (упустил непечатное). Выдохся наш Михайлович. Всё это генерал выслушал молча, со спокойствием, потом резко спросил:

— Звание?

Матвей Михайлович, видать, пришел в себя. Щелкнул каблуками:

— Гвардии старшина ветеринарной службы Пантелеев!

— Ты знаешь, гвардии старшина, кого бранил сейчас?

— Так точно, знаю. Гвардии генерал-майора Сланова Леонида Алексеевича. Командира моей дивизии.

Генерал спрыгнул с коня и быстро подошел к Пантелееву, обнял его, по-сыновьи прижал к себе и, поцеловав его в усы, произнес: «Спасибо, отец, за науку!» Молодцевато вскочил на коня и ускакал. За ним ускакали офицер, видимо, адъютант генерала, и три автоматчика, видимо, из его охраны. А мы?.. Еще сколько-то времени стояли в немом оцепенении.

Придя в себя и видя, что мы держим всю колонну, прежде всего распорядился, скомандовал: «Товарищ Пантелеев, забирайтесь снова на повозку, а коня привяжите к задку и до конца марша в седло не садиться».

— Слушаюсь, товарищ комбат. Спасибо за заботу о старике.

И Пантелеев, кряхтя, устало полез снова под брезент. Коня его любезно привязал к задку повозки ездовой Ищенко и тоже полез на передок повозки, разбирая вожжи.

— Батарея! Рысью! Ма-а-а-рш! — подал я команду и потрусил впереди повозки. Нужно было догонять уже порядочно ушедшую вперед колонну полка.

К чести генерала Сланова, случившееся на марше он оставил без последствий. Об этом в нашем полку, кроме моей батареи, мало кто знал. А в штабе дивизии и в других частях дивизии, наверное, так никто и не узнал до конца войны. А я вот сейчас проболтался и думаю, что свое достоинство не уронили оба виновника «ЧП». К сожалению, их обоих уже нет в живых. Но память о генерале обозначена названием улиц в нескольких городах Волгоградской области.

Трудные Карпаты остались позади. Мы вышли на равнинный простор. От городка Кехер, занятого войсками 1-го Украинского фронта, нас, конников, повернули на юго-запад. За пять ночных переходов мы преодолели путь почти в четыреста километров и у румынского городка Арадеа-Маре вышли к венгерской границе.

На командирских картах появились отметки новых освобожденных от противника городов: Брашев, Сегишиор, Тыргу-Муреш, Бистрица, Деж, Бая-Маре, Сату-Маре и многих сотен сел и деревень. Теперь ждала своего часа Венгрия.

За три недели отдыха около села Григорешти мы познакомились со многими его жителями, а кое с какими больше чем познакомились, прямо скажу — подружились. Я имею в виду нашего батарейного ветфельдшера Матвея Михайловича Пантелеева. Ему чаще, чем другим, нужно было бывать в селе, общаться с его властями и жителями. Именно он решал все вопросы выпаса лошадей и приобретения фуража, а населению села не отказывал в лечении их лошадок, коз и буренок.

Матвей Михайлович по своей натуре человек мягкосердечный, добрый, а в работе безотказный. Мы все в батарее уважали его, указания и требования его выполнялись всеми безоговорочно. Уважали его не только в нашей батарее и называли в шутку «Конским доктором» и на это он нисколько не обижался.

Михайлович, так попросту звали в батарее Пантелеева, имея солидный возраст, пришел в полк по велению сердца, ополченцем. Ему тогда уже было больше шестидесяти лет и выглядел довольно бодрым и держался молодцевато. Невысокий ростом, этакий березовый кряжик, он не знал никаких болезней, ни усталости. А при случае не упускал случая и уластить бабенку, если та попадала ему под руку и была слабовата на искушение. Такой грешок за ним водился, он же донской казак!

Главным своим украшением Михайлович считал свои усы. Он их постоянно холил. Не очень густые, но пышные, бегущие по верхней губе вразлет красивыми метелками, они сразу обращали на себя внимание.

Вот на эти-то усы, видать, и обратила свое внимание супруга григорештинского примаря — сельского старосты, головы села. «Усатого конского доктора», как звали его григорештинцы, однажды пригласил в гости примарь. Погостевал Михайлович раз и скоро снова был приглашен. А потом и сам зачастил туда, уж очень по душе пришлась ему супруга примаря — примариха. Да и она стала оказывать «усатому гостю» всяческие знаки внимания или, по выражению самого Михайловича, положила на него свой глаз.

Примарь же — мужичонка слабый и такой безликий. Перед своей супругой, женщиной дородной, глазастой, не потерявшей еще былой красоты, он выглядел этаким серењким воробышком перед соколихой. И при «докторе» ходил на цыпочках, покорно исполняя все ее желания и прихоти. Властью в селе была, пожалуй, она, а не ее мужичонка.

Каждый раз при появлении Михайловича примариха откровенно радовалась. Она стлалась перед ним скатертью, не зная, чем и как лучше угостить дорогого гостенька. И всем видом показывала, что он, усатый русский конский доктор, ей люб и желанен. Ее горящие огнем огромные глаза, ее зазывные улыбки, ее слова — она немножко говорила по-русски и этим как бы гордилась, часто сменяемые наряды и игривые жесты не могли не зацепить чувства Михайловича.

Однажды у меня с Михайловичем состоялся полушутливый и полусерьезный разговор.

— Слушай, Матвей Михайлович, — я всегда звал его так, — что-то твои визиты к примарю затяжными стали?

— К примарихе, товарищ комбат. — Он был, как всегда, откровенен.

— Что, баба с жиру бесится? Старая она, молодая?

— В сорок пять, баба ягода опять, — усмехнулся Михайлович. — А насчет жиру... Есть с чего. Он, примарь-то, всю деревню, паршивец, доит. По-старому сказать — контра. А она — бестия.

— И далеко зашел... с примарихой-то?

— Нет, пока не далеко. Но, кажется... — Михайлович при этом гусарским жестом расправил усы.

— Старый конь, — ругнулся я, — куда ты лезешь?

— Старый конь никогда борозды не испортит, товарищ комбат.

— Но и глубоко не вспашет. Не поздно ли пахать-то?

— Пока не поздно, товарищ комбат.

— А если своей пахотой репутацию подпортишь? Если примарь поймет, узнает ваши... шуры-муры?.. Это же международный скандал.

— Того и опасаюсь, товарищ комбат.

— Воздержись, Матвей Михайлович.

— Попытаюсь, товарищ комбат.

Он ушел на очередной ужин приглашенный лично примаркой. В лагерь вернулся перед рассветом. Утром я встретил его на коновязи, расстроенного и удрученного.

— Что-нибудь случилось, Матвей Михайлович?

— Не спрашивай, товарищ комбат. Правду говорят, что от великого до смешного — один шаг. Правильно сказано, и я это подтверждаю. А что произошло, потом как-нибудь расскажу

Ни в этот день, ни в последующие наш конский доктор не отлучался из лагеря. Как отрезало. Визиты и званые ужины кончились. В последний день, когда мы снимались из лагеря, примариха амазонкою приехала на коне в седле и привезла конскому доктору в подарок большой жбан виноградного вина. Последняя встреча и расставание их были какими-то неловкими. Она молчала и все смотрела на него, словно что-то хотела спросить, а спросить никак не могла. Он тоже молчал и стыдливо отводил в сторону глаза. Вдруг поспешно подал ей руку. Она качнулась к нему, но остановила себя, кругом был народ. Быстро

вскочила на коня и ускакала в сторону села. Любовь ее осталась безответною.

На марше он подъехал ко мне. Наши лошади шагали рядом. Мы двигались туда, к войне, к ее переднему краю.

— Помнишь, товарищ комбат, хотел рассказать вам?

— Рассказывай, Матвей Михайлович.

— Тот званый ужин у примаря был особо торжественным. Много пили и ели. Хозяин был принаряженным. Надел широченные белые штаны. В таких штанах у нас форсили грузчики в тридцатые годы. Рубаха на нем тоже была белая, с широко расшитою цветами грудью. Воротник на шее стянут тесемочкой. На ногах — постолы, чулки, перевитые ремешками. Выпив две-три рюмки цуйки — кукурузной водки, он велел прислуге принести ему скрипку. Приняв ее, грациозно взмахнув, положил ее на плечо и заиграл... «Катюшу».

Я похвалил примаря, назвав его великим музыкантом — мои слова картаво переводила его «красавица». И, сам наливая в рюмки цуйку, пригласил выпить. Как не выпить за «великого музыканта»? Выпили!

— Дай-ка сейчас плясовую, русскую, — попросил я.

«Великий музыкант» и русскую плясовую дал. Я поднялся со стула, вышел на середину зала, притопнул, гикнул по-казачьи и показал в пляске всю, какую еще имел, удаль. И вижу, что привел в восторг обоих хозяев. И... снова пили. Теперь пили за меня и за казачью удаль.

Скоро, и как-то сразу, примарь захмелел и сник — уронил голову на стол и задремал. Я и моя Марица завели патефон и стали танцевать. Но признаюсь, что я танцевать совсем не умел, да и голова от них, этих танцев, сразу закружилась. И больше, наверное, от близости разгоряченного и так податливого тела хозяйки. Марица все сильнее льнула ко мне.

А время уже за полночь. Проснулся и примарь, осоловело поглядел на нас, на стол, налил себе рюмку, выпил и, шатаясь, поднялся. Я его понял без слов: погостил —

пора и честь знать. Но его Марица вдруг предложила ночевать у них. Я не стал возражать. Одну из комнат отвели гостю. В ней стояла кровать, застланная не то ковром, не то каким-то покрывалом, и до самого потолка высилась пирамидой гора подушек. Служанка из этой пирамиды сделала мне постель и ушла. Я быстро разделся и лег, утонув в мягких пуховых подушках. Не спалось. Было как-то непривычно и неудобно спать на подушках. Привычной была у меня другая постель: шинель под бок, седло под голову, бурка сверху и — спи, казак.

В голову полезли всякие мысли. Почему-то подумалось: она, Марица, ко мне придет, и я ждал ее. Но она все не шла. Тогда какой-то бес толкнул меня под ребро. Не она придет, а я должен прийти к ней. Она же ждет, а я, дурень, разлеживаюсь. И с этой думкой я приподнялся со своего ложа и прислушался. Дом спит. Не одеваясь, тихонько пошел к двери. Усмехнулся: «Тоже мне, гусар». И, не раздумывая далее, вышел в гостиную. Перед сном, когда расходились, обратил внимание, что супруги разошлись по разным комнатам. Вот эта, видимо, комната ее. Примарь дрыхнет сейчас без задних ног, не проснется. И я, легонько ступая по домотканой дорожке, пошел к ее комнате. Осторожно нажал на дверь. Она оказалась незапертой. Ждет! Приблизился к кровати, застланной тоже подушками. Край ее был свободный, значит, для меня. Лег в кровать и крепко обнял ее, прижал к себе, губами потянулся к ее губам.

Ворочались, сопели и молчали. Мои руки путались в складках не то юбки, не то шаровар. Вот так шарясь, я вдруг подивился — в ее теле сейчас почему-то не было той мягкости, гибкости и нежности, которую запомнил танцуя. Рука натыкалась на жесткие жилистые руки, на плоскую и твердую, как доска, грудь. Что такое? Неужели обманула? Неужели она, стервоза, вместо себя подсунула костлявую сухостоину-служанку? И вдруг голос, мужской хриплый, испуганный голос примаря:

— Ты что, Михайлович?

И только теперь дошло до моего, «гусара», сознания, что я ошибся комнатами и попал не к Марице-примарихе, а к самому примарю Иону!

Я вскочил от примаря, словно крутым кипятком ошпаренный, бегом, к себе в комнату, кое-как натянул штаны, сунул ноги в сапоги, схватил гимнастерку, ремень и, на ходу ее надевая, выбежал на улицу. Здесь привел себя в порядок, привалился к забору, отдышался. Дрожали руки и ноги. В окне дома, из которого я вылетел пулей, зажегся слабенький свет свечки. За занавеской заметались тени. Между супругами, подумал «гусар»-неудачник, началось объяснение.

— Вот и выходит, — закончил рассказ Матвей Михайлович, — что от великого до смешного один только шаг. Надо же старому дураку так влипнуть.

— Может, к лучшему? — спросил я.

Мне почему-то было совсем не смешно от этой истории и почему-то было жаль Матвея Михайловича. В его ли годы «гусарские» похождения?

— Да! Наверное, к лучшему, — согласился Матвей Михайлович и, вздохнув, придержал свою лошадь и без слов отстал. Ему, видимо, надо было побыть наедине с собой.

Полк приближался к фронту, к его переднему краю.

Глава тринадцатая
РЫВОК В ВЕНГРИЮ

13 октября 1944 года, освободив румынский город Карой, мы пересекли румыно-венгерскую границу. Дорога горная: с кручами, обрывами, перевалами. Но нам не привыкать ни к степным, ни к горным дорогам. Мы шли к большому венгерскому городу на востоке страны Дебрецену. Головным в колонне дивизии двигался наш 37-й полк.

За Дебрецен уже несколько дней дрались подошедшие ранее части 2-го Украинского фронта. Мы спешили к ним на помощь. Но на половине пути наше движение застопорилось. Дорогу преградили два горных села Естер и Почай, сильно укрепленные немцами и мадьярскими фашистами. Обходных путей, как выявила разведка, села не имели. Пришлось ввязываться в бой. Сначала попытались взять их с ходу. Не удалось. Оборона противника была сильно насыщена огневыми средствами. Командование дивизии не могло развернуть другие полки: не позволяла местность. Тогда оно стянуло в единый кулак артиллерийско-минометные средства дивизии. На рассвете вторых суток начали артминподготовку. Противник ответил тем же. Четыре часа длилась контрбатарейная стрельба. Успех эскадронов зависел от того, сумеем ли мы подавить противника. На третьем часу огонь вражеской артиллерии стал ослабевать, а на четвертом совсем прекратился. Последний удар мы нанесли по засеченным

пулеметным гнездам. И тогда в дело вступили сабельники. К концу дня пало село Естер, а на следующий день — Почай.

В бою за Естер и Почай потери эскадронов были незначительными. Зато мы, минометчики, пострадали крепко. От разрывов двух тяжелых мин на огневой позиции взвода было разбито два миномета, убито девять и пятеро казаков ранены. Особенно тяжкой и горькой для меня, да, наверное, и для всех батарейцев, была гибель командира второго взвода лейтенанта Ромадина и парторга батареи Павла Марченко. С ними я прошел путь от Северного Кавказа. С ними я делил все радости и горести походной жизни. Они были настоящие боевые друзья, истинные товарищи, мои первые помощники во всех делах. Я уважал, любил их братской любовью.

Юрий Ромадин был трижды ранен. Но каждый раз он возвращался на свою батарею, в свою семью, причем дважды — не долечившись, просто сбегал из госпиталя, считая, что среди своих ребят он скорее долечится. Последний раз Ромадин был ранен под Юзефполем. Нас он нашел уже в Румынии. Помню, у меня с ним тогда произошел полушутливый разговор.

— Теперь, после трех отметин, мне уже ничего не страшно, — сказал Ромадин и усмехнулся.

— Это почему же?

— Поверье такое есть, комбат: если тебя три раза клюнул жареный петух, то больше уже не доберется...

Вот тебе и не доберется.

Павел Марченко, парторг. Сколько теплых и душевных писем он написал родным и близким казаков, рассказывая в них о мужестве своих товарищей. Душа-человек. Не одна семья получила от Марченко слово благодарности за воспитание замечательных воинов. Он аккуратно делал очень трудную и очень горькую работу, сообщая родным о гибели их сыновей, о месте захоронения, о скорби и вечной памяти, которую сохранят батарейцы. Он называл эти письма «похоронными». А теперь вот и о самом

надо писать. Ах, война, война! Сколько матерей не дождутся своих сыновей, сколько солдаток останутся вдовами, сколько жизней она еще оборвет. После каждого боя возле дорог, на околице сел и городов мы оставляем братские могилы. И при каждом захоронении мозг сверлит одна неотвязная мысль: может, скоро и самому придется лечь в одну из них? И еще другая: живым надо жить и бороться за себя и всех живых. Мстить за погибших без пощады, до полной Победы!

В этом бою был ранен командир расчета и секретарь комсомольской организации батареи Никифор Комаров. Перевязав себе ногу, Никифор продолжал командовать расчетом. И только тогда, когда бой утих, он пошел в медпункт.

— Вы тут занимайтесь делами, — сказал он своим казакам, — а я, как только переменят повязку, вернусь.

Не скоро вернулся Никифор на батарею. С медицинского пункта его прямым ходом отправили в госпиталь, дивизионный санэскадрон. Рана оказалась опасной.

...Я вызвал старшину Рыбалкина. Он пришел от всего отрешенный, притихший. Давненько от него никто не слышал обычных шуток. Раньше он говорил: «Боюсь одного: голову потерять. А то навек калекой останешься». Теперь не говорит. Молчит. После гибели сына он не пришел еще в себя. А тут новые утраты — гибель людей, с которыми он дружил.

— Алексей Елизарович, придется принимать вам второй взвод.

— Придется, — глухо сказал он и вздохнул.

Он все понимал. Мне почему-то вдруг захотелось обнять этого мужественного и стойкого человека, но я сдержался. Телячьих нежностей Алексей Елизарович не любил.

В Почае у нас состоялось летучее партийное собрание. Коммунисты батареи избрали своим парторгом Рыбалкина. Алексей Елизарович не возражал.

— Тяжела ноша, — сказал он, — но нести надо.

Сметая мелкие вражеские заслоны, расчищая завалы, мы продолжали марш. Без сна и отдыха, днем и ночью мы преодолели 120 километров труднейшего пути и 19 октября вышли на подступы к городу Дебрецену с восточной его окраины.

Нас не ждали! Не ждали с этой северо-восточной стороны.

Связанное по рукам и ногам боями южнее и западнее города — бои шли уже неделю — немецко-фашистское командование было спокойно за северо-восток. С этого направления город, как ему казалось, надежно прикрывали горы с их малопроходимыми тропами и дорогами. К тому же оно, по-видимому, еще не знало об уничтожении нами сильных гарнизонов в горных селениях Естер и Почай и засад на дороге, ведущей от румынской границы. А мы, как птицы небесные, спустились с гор и ранним утром оказались под стенами города в каких-нибудь трех километрах!

Внезапность появления там, где нас не ждут, быстрота действий были всегда главным козырем конников. Вот и в этот раз. На подступы Дебрецена вышло пока немного сил: наш головной полк, 182-й артминометный, две батареи истребительно-противотанкового полка и танковое подразделение из четырех «тридцатьчетверок». Остальные полки дивизии находились еще на марше.

Разведка установила: в километре от окраины города вырыт противотанковый ров и поставлены в несколько рядов проволочные заграждения. Разветвленной системы окопов, траншей, дотов и дзотов, минных полей между противотанковым рвом и окраиной города нет. Ждать подхода и сосредоточения всей дивизии — значит дать противнику время разобраться в обстановке, подтянуть силы и встретить нас организованной обороной, проломить которую будет нелегко. Тут дорог каждый час. И командование полка принимает решение: атаковать противника в конном строю и во что бы то ни стало зацепиться за окраину. Потом другие полки, с марша вступая

в бой, разовьют успех. Старая истина: смелость города берет. Ниделевичу в смелости не откажешь. Преимущество внезапности упускать нельзя.

Но тут случилось непредвиденное. Из одной окраинной улицы выскочило десятка полтора танков. Развернувшись в боевой порядок и стреляя на ходу, танки помчались на нас. Это была полная неожиданность. На какое-то время у нас произошло замешательство. Мы готовились к наступлению, к атаке, а надо обороняться. Вся наша артиллерия, все минометы были в походном положении, огневые позиции не только не оборудованы и не заняты, но еще и не выбраны. Указаний из штаба полка никаких нет. А передние вражеские танки миновали уже проволочные заграждения и ров. Замешательство длилось считаные минуты. Нам помогли опыт и привычка ко всяким случайностям. Артиллеристы и минометчики быстро заняли огневые позиции и с дистанции километра открыли дружный и точный огонь. Из полутора десятков танков артиллеристы подбили восемь. Остальные повернули назад. И тут рванулись к городу четыре наших танка, первый и четвертый эскадроны. Лихая конно-танковая атака! Поддерживая огнем танкистов и конников, мы не жалели снарядов и мин.

Немцы, занимавшие оборону на окраине города, почему-то молчали. Или их ошеломила конно-танковая атака, или наш огонь не давал поднять головы, или у страха глаза велики. К нашему внезапному появлению они психологически не были готовы и растерялись. Их было мало, и они сразу же стали отходить. Достигнув окраинных домов, эскадроны спешились. Но не остановились, рванули в улицы. Теперь уже не два эскадрона, а дрался весь полк, все подошедшие полки дивизии, очищая от врага улицу за улицей. Мы шли помогать другим частям фронта, штурмующим город, а получилось так, что они стали помогать нам. Бой шел весь день и всю ночь. Утром Дебрецен — третий по численности город Венгрии — был очищен от вражеских войск.

Из Москвы в дивизию пришла радостная весть. За особые заслуги во взятии Дебрецена наш 37-й гвардейский казачий Краснознаменный полк и 182-й гвардейский артминполк удостоены почетного наименования «Дебреценских».

Не ведал гвардии капитан Николай Сапунов, что ему, лихому командиру первого эскадрона, придется когда-либо, тем более на войне, заниматься административной деятельностью. В то утро, когда мы заняли город, его вызвал к себе командующий конно-механизированной группой войск генерал Горшков, только что прибывший в Дебрецен.

— Твой эскадрон первым ворвался в город?

— Было дело.

— За хватку хвалю. А ранение сильное? Докторам показывался?

— Шкуру немножко подпортило. Но в строю оставаться могу.

— В строю останешься. Но эскадрон придется сдать.

— К-как сдать? — У Сапунова глаза полезли на лоб. Он никогда в жизни не был заикой, а тут стал заикаться. — Я п-провинился в чем-то, т-товарищ генерал?

— Нет, не провинился. Назначаю тебя комендантом города.

— Н-но я и не знаю, с чем это едят, — еще больше удивился Сапунов.

— Узнаешь. К исполнению обязанностей приступишь сегодня, сейчас. Гитлеровцы, уходя из города, взорвали мельницу, уничтожили продовольственные склады и людей оставили без хлеба, многих лишили жилья. Тебе предстоит наладить нормальную жизнь...

Так Николай Сапунов стал военным комендантом Дебрецена.

Через день мы, командиры подразделений, возвращаясь из штаба полка, решили навестить своего товарища.

В приемной чинно сидели несколько человек: благообразный седенький старичок с тросточкой, какой-то

господин неопределенного возраста с большим портфелем, две скромно одетые, похожие на наших сельских учительниц женщины, пожилой мужчина с тяжелыми руками на коленях, видать, рабочий. За столом с телефонами сидел старшина Шитиков, командир сабельного взвода первого эскадрона, а сейчас командир комендантского взвода и одновременно адъютант коменданта. Он надел ордена и медали, словно собрался на парад. На массивной дубовой двери висела табличка о приемных часах. Приемный час еще не наступил.

— Комендант города занят?

— Вас примет, — старшина звякнул шпорами.

Кабинет у коменданта был просторный. За огромным столом Николай Александрович Сапунов выглядел как одинокий пенек на лесной поляне. Нашему приходу он обрадовался. Сразу же принялся рассказывать о своей комендантской деятельности.

— Понимаете, друзья, идя сюда, думал: работенка так себе, не бей лежачего. А тут продыху нет. Ни днем, ни ночью. Голова кругом идет. Надо решать десятки вопросов. А как решать — один всевышний знает. Начал с управления, с властей. Приходит один важный господин и предлагает назначить его бургомистром. Видите ли, у него заслуги перед Хорти и перед Салаши. И депутат какой-то. А на поверку выходит: отъявленный фашист. В тюрьму отправил. Является другой с тем же предложением. Не лучше первого. Спасибо, коммунисты вышли из подполья. Они и помогли найти на должность бургомистра старого подпольщика, коммуниста. Взяли под охрану сохранившиеся склады. Взамен разбежавшейся полиции создаем народную милицию. Открыли лавки, магазины, парикмахерские, зрелищные предприятия. Но главная забота — о распределении продовольствия, о пуске предприятий, электростанции, хлебозаводов, о водоснабжении. Вчера является врач из военного госпиталя: так, мол, и так, в госпитале лежат раненые солдаты и офицеры германской и венгерской армий. Эвакуировать не успели. На-

чальник госпиталя удрал. Но весь обслуживающий медперсонал на месте. Плохо с продовольствием. Поехал в госпиталь. Прошелся по палатам. Раненых больше сотни человек. Начальником назначил того, что приходил ко мне — Дъердя Яноша. Здесь произнес нечто вроде речи: «Мы, русские, пришли сюда не как оккупанты, а как освободители от фашизма. Всем раненым и больным нечего опасаться за свою жизнь. Продолжайте спокойно лечиться. Продовольствием и медикаментами поможем». Речь мою перевели на мадьярский и немецкий языки. Оваций не было. Но люди вроде перестали дрожать.

Сапунов помолчал, а потом, что-то вспомнив, рассмеялся:

— В этом капиталистическом мире не сразу разберешься, что к чему. Торгуют все и всем. Иной раз просто в тупик становишься, как поступить. Вот вчерашний случай. Является на прием одна расфуфыренная особа. Так это вежливенько и несколько смущенно испрашивает разрешения открыть, точнее, продолжить работу ее предприятия. «Какого предприятия?» — спрашиваю. Мнется, улыбается, строит глазки. Мужчинам, говорит, надо где-то поразвлечься, провести время в обществе дам. Ваши казаки тоже, полагаю, не откажутся. Дошло. Напрямую, по-русски, по-казачьи рубаю: «Вы об открытии бардака хлопочете? Не в моей компетенции. Пусть решают городские власти, бургомистр». Вроде обиделась, надула губы, но поблагодарила и приглашение сделала, персональное. Такая язва.

Сапунов снова рассмеялся и поглядел на часы. Наступило время приема посетителей. Провожая нас, вздохнул:

— Скучаю по эскадрону. Передай, Миша, мой привет ребятам.

Миша — это гвардии старший лейтенант Михаил Строганов. Он стал преемником Сапунова, командиром первого эскадрона. Такой же малорослый, как и Николай Сапунов, подвижный, весельчак и балагур, гармонист и

к тому же человек отчаянной храбрости, он был принят в эскадронную семью. Даже прозвище Колобок перешло к нему от Сапунова. На лошадь его подсаживали.

В Дебрецене мы долго не задержались. 41-й полк кинули на город Ньиредьхазу, наш 37-й — на Кишварду. Города эти севернее Дебрецена, в предгорьях Карпат. После занятия этих городов и передачи их стрелковым частям мы должны присоединиться к своему корпусу, уходящему в рейд к Дунаю. Но получилось не так, как было задумано. Противник внес свои коррективы.

Сначала все шло хорошо. Серьезного сопротивления противник не оказывал. Без особого труда наши полки овладели названными городами. В Кишварде мы захватили большие трофеи, в том числе три сотни лошадей под седлами и запряженных в повозки. Их оставила бежавшая венгерская кавалерийская часть.

Второй и третий эскадроны, усиленные тремя танками и батареей пушек из 182-го артминполка, остались в Кишварде поджидать подхода войск, а четвертый и первый эскадроны, не передохнув, форсированным маршем пошли к селу Беркес. Эскадронам придали две батареи ИПТАП, батарею из 182-го артминполка и один взвод моих минометчиков. Село Беркес стоит на перекрестке важнейших шоссейных дорог, соединяющих Будапешт с Моравской Остравой и Дебрецен с городом Мишкольц. Надо было оседлать этот перекресток и блокировать всякое движение противника по этим дорогам. Было ясно: кто владеет селом Беркес и перекрестком дорог, тот и хозяин положения, тот держит под контролем выход на Прикарпатскую низменность вплоть до Дуная и Будапешта.

Эскадроны успешно выполнили задачу.

Но далее обстановка резко изменилась. Для нас она стала, мало сказать, трудной, а просто катастрофической. Войска 4-го Украинского фронта не подошли, а нашего, 2-го Украинского, бои вели южнее. Дивизия оказалась в разрыве между флангами фронтов. Кроме того,

сама дивизия была не единым кулаком, а растопыренными пальцами, мелкими частями раскидана на большой территории.

Немцы и мадьяры, как потом нам стало известно, собрав большие танковые и пехотные силы, нанесли удар по Дебрецену и начали наступление на Ньиредьхазу и Кишварду. Мы оказались отрезанными от своих войск. Рейдовать и драться в тылу противника нам не впервые. Особого беспокойства это не вызывало. Тем более что стало известно: движение других дивизий корпуса к Дунаю приостановлено, они повернуты назад и идут к нам на выручку.

После короткого боя по приказу нами был оставлен город Кишварда. Мы отошли к селу Беркес. Теперь наш полк был в сборе. Противник же следовал за нами. В тот же день, к вечеру, на батареи ИПТАП, огневые позиции которых располагались севернее села, возле перекрестка шоссейных дорог выскочили три вражеских разведывательных бронетранспортера. Их в упор расстреляли. В живых остался лишь один офицер, которого пленили. От него мы узнали, что завтра противник большими силами начнет наступление, южнее села перехватит дорогу на Ньиредьхазу, затем, окружив село, уничтожит обороняющийся полк. Пленный офицер, отъявленный гитлеровец, предложил нам... сдаться.

В показаниях гитлеровца, как и в его предложении о сдаче в плен, ничего нового для нас не было. Самолеты дважды уже разбрасывали листовки с тем же предложением. Смешная, дремучая тупоголовость! Мы на Кавказе, в Кизлярских бурунах не сдавались, а теперь здесь, в Венгрии, в конце войны, они уговаривают казаков сдаваться в плен.

Бой начался ранним утром. В обход села с юга противник бросил до полка пехоты. Здесь его зажали в крепкие клещи два эскадрона нашего полка и эскадроны 41-го, подошедшие из Ньиредьхазы. Противник не только не

смог перерезать дорогу, но, получив хорошую трепку, вынужден был отойти.

Тяжелее складывалась обстановка севернее села, у перекрестка шоссейных дорог. На оборону, занимаемую артиллеристами, минометчиками и двумя эскадронами, навалились полтора десятка танков и большая группа пехоты. Бой длился целый день. Атаки противника, а им мы счет потеряли, были отбиты. Все поле боя устилали трупы вражеских солдат и офицеров, и на нем догорали восемь танков. Но пострадали и мы. Было разбито три пушки и батарея тяжелых минометов, убит командир минометной батареи 182-го артминполка капитан Журавлев и тяжело ранен командир противотанковой батареи 150-го ИПТАП Герой Советского Союза капитан Спиридон Белый.

Было ясно: с утра противник полезет с новой силой, а держать оборону нечем — боеприпасы на исходе. Командир полка принимает решение об отводе эскадронов и батарей в село. Отходящие под покровом ночи тихо снялись и ушли, забрав с собой разбитые пушки и минометы. Мы не ошиблись. На рассвете немцы обрушили сильнейший огонь артиллерийских и минометных батарей и танковых пушек на вчерашние наши позиции. Молотили часа два. А потом пошли в атаку. Можно себе представить, каково было их удивление, когда они ворвались в пустые, перепаханные своими снарядами и минами окопы. Ни одного казака! Ни живого, ни мертвого. Зато среди атакующих потери оказались немалые: издалека, с закрытых позиций, по ним била наша артиллерия. Бой завязался южнее села. На этот раз пехота противника была поддержана танками. Гитлеровцам удалось перерезать дорогу, связывающую нас с городом Ньиредьхазой. Затем они стали обтекать село и, наконец, замкнули кольцо.

Говорят, героизм — это озарение, которое требует крайнего напряжения сил. Поступки героя — это такое состояние человека, что далеко выходит за рамки обычного долга. Герой, совершая поступки, рискует всем,

вплоть до жизни. Здесь, за село Беркес, героически дрались все.

На окопы, занимаемые вторым эскадроном, ринулось шесть танков и до батальона пехоты. Эскадрон был смят, силы слишком неравные. Командир эскадрона старший лейтенант Фурсин погиб. Противник ворвался в село. Начался кровопролитный бой. В драку вступили все, кто мог держать оружие: штабные писаря, коневоды, кладовщики, кузнецы, повара, каптенармусы, повозочные и даже медики из санэскадрона и их раненые. Пошло в ход оружие вплоть до топоров и лопат.

...Разгорелся жаркий бой. Боеприпасы уже все вышли, даже трофейные, остался лишь НЗ. А противник предпринимает атаки одну за другой. Их ярость возрастает, бьются до последнего солдата. Пулеметчик второго эскадрона Сергей Мезенцев, со своим расчетом, пустив в действие кроме пулемета и автоматы, втроем, за какие-то 2—3 часа уничтожили более 100 фрицев. На участок обороны первого и четвертого эскадронов противник бросил восемь танков и более десяти бронетранспортеров, а с ними до батальона пехоты. Танки встретили казаки гранатами и бутылками с горючей смесью, остановили и подожгли семь машин. Отсечь и положить пехоту не удалось. В окопах началась рукопашная схватка, которая закончилась бегством противника восвояси. И гитлеровцев выгнали из села.

День, жаркий и тяжелый, подходил к концу. Стало темнеть. Спадал и затихал бой. Эскадроны, а в них оставалось по 30—50 казаков, подбирали убитых и раненых и стягивались к селу. Наступила ночь, тревожная, бессонная, занятая похоронами убитых и сборами в трудную дальнюю дорогу. На выход из окружения. В приказе о выходе из окружения особо подчеркивалось: прорыв должен быть стремительным и безостановочным при любом огне противника. Ни один убитый или раненый не может быть оставлен в пути.

Двигались мы плотной колонной на переменном аллюре — шаг, рысь, галоп — при полном молчании. С самого начала строго-настрого было запрещено разговаривать, перекликаться, громко отдавать команды, курить. Слышался лишь топот и храп лошадей, натужное гудение немногих автомашин, скрип и тарахтение повозок. Мирный крестьянский обоз — да и только. Путь полку прокладывал усиленный передовой отряд из полковых разведчиков и из первого, наиболее боеспособного, эскадрона. Возглавляли отряд Ниделевич и Ковальчук. Вскоре к нашей колонне присоединился 41-й полк, оставивший город Ньиредьхазу. Присоединялись другие части, как и мы оказавшиеся в окружении: авиадесантники, стрелки, какие-то штабы. Колонна разрасталась.

Шоссейную дорогу избегали. Шли полевыми дорогами, проселками. Больше — без всяких дорог, через поля, перелески, балки, овраги. Обходили имения, хутора, где могли быть засады. А когда на них напарывались, давили стремительностью своего движения, расправлялись преимущественно холодным оружием. Убитых и раненых — их было немного — укладывали в повозки, на автомашины или брали в седла. Случались задержки. Но не всей колонны, а отдельных подразделений. У кого-то сломалось колесо или ось повозки. Повозку оставляли, перегружая из нее имущество в другие. В колдобине, в канаве застревала машина. Ее выносили на руках. Задержавшиеся сразу догоняли колонну.

Позднее, после выхода из окружения, многие участники этого ночного марша утверждали, что в обычное время такая колонна, состоящая из верховых коней, машин, орудий, повозок, по бездорожью не смогла бы пройти за ночь и двух десятков километров, а тут отмахали шесть десятков! Удивлялись: откуда взялись силы у людей, до невозможности уставших в последних боях, как и что двигало ими, вызывало душевный порыв? Смертельная опасность, висевшая над головой каждого? Да. Но опасность на разных людей действует по-разному. У одних

она вызывает решимость и даже азарт. Других она ввергает в уныние, растерянность и лишает какой-либо воли. Организованность? Да. В этом марше она была особой. Михаил Федорович и Антон Яковлевич, используя весь свой военный опыт, проявили себя талантливыми руководителями, обладающими волей, выдержкой и чутьем. Мы ни разу не столкнулись с крупными вражескими силами, не топтались на месте, не плутали. Стояла глухая и темная осенняя ночь. Местность незнакомая. Проводников не было. Карта и компас в такой обстановке не очень надежные помощники. Шли не по прямой, не по заданному азимуту, а зигзагами. Иной раз повороты были чуть ли не под прямым углом. Выставленные маяки из людей показывали нам правильное направление движения.

И было еще одно обстоятельство, которое прибавляло сил и помогло выйти, — вера в авторитет. Есть старый казачий обычай, родившийся еще в Отечественную войну 1812 года в полках генерала Платова, а возможно, и раньше, обычай, который широко использовался в Первой Конной. Его вспомнил Антон Яковлевич Ковальчук. Где-то в середине пути по колонне пронеслось, словно свежий ветер прошелестел:

— Походную колонну ведет генерал Горшков!

И казачьи сердца приободрились, смертельно уставшие люди подтянулись. Если сам командующий с нами, то непременно выйдем! Не было в походной колонне Сергея Ильича Горшкова, но имя его, авторитет его прибавили силы, вселили веру в успех марша. На исходе ночи к нашей колонне примкнули еще две колонны выходившей из окружения стрелковой части.

Уже начинался рассвет, когда колонна натолкнулась еще на один заслон противника. Но он был смят так же, как сминались другие, — в короткой схватке с передовым отрядом. Мы считали чудом, что нашей почти уполовиненной дивизии удалось пройти 60 километров без боеприпасов, с большим обозом, сохранив всю технику, с ничтожно малыми потерями. Пройти и выйти из окруже-

ния. Надо было видеть и пережить ту огромную радость, когда полки встретились с частями родного корпуса.

К сожалению, автору этих строк и большой группе казаков еще целые сутки не довелось испытать радость встречи. А случилось вот что. Переезжая глубокую канаву, застряли сразу три повозки с минометами второго взвода моей батареи. Я, естественно, не мог оставить старшину Рыбалкина со взводом в этой канаве. Пока возились с повозками, мимо нас, обтекая справа и слева, двигались конные и пешие подразделения или просто группы бойцов. С работой мы, наконец, управились и на галопе стали догонять полк. Но встретилась развилка дорог. Куда ехать? Прямо или круто повернуть в сторону? Свежие следы подков и колес вели туда и сюда. Здесь, на развилке, должен стоять маяк-регулировщик, но его почему-то не оказалось. Как позднее выяснилось, командир взвода лейтенант Тарасенко маяка здесь оставлял. Но тот, пропустив батарею, подождал немного, но никого на дороге не было, и он посчитал, что все прошли. Самовольно снялся и стал догонять взвод. Своеволие казака, его недисциплинированность могли привести к беде сотни людей. Впрочем, и привели.

Пока я разгадывал загадку о направлении движения, впереди послышалась частая перестрелка. Решил, что колонна напоролась на засаду. Вместе со взводом я поскакал туда. Нет, то была не колонна, а хвост ее — те подразделения и группы, что обтекали нас, когда мы возились с застрявшими повозками. Они не заметили отворота — серенькое утро только еще пробивалось — и вышли на гитлеровцев. Начался неорганизованный бой. Было похоже, что казаками и солдатами никто не руководил. Полная неразбериха. В кучу смешались, сбились конные и пешие. В такой вот неорганизованной толпе — я по опыту знал — всегда найдутся крикуны и паникеры. Нашлись они и здесь.

От растерянности до паники — один шаг. Паника же в такой обстановке — верная гибель. Надо что-то пред-

принимать. Вглядываюсь в толпу, ищу командиров. Сержанты, старшины, лейтенанты. Я по званию старший. Возможно, что принимают меня за более старшего. Я на отличном скакуне и в бурке. Знаков различия не видно. Значит, мне брать командование на себя.

— Спокойно, казаки! Я гвардии капитан Поникаровский из тридцать седьмого гвардейского кавалерийского полка. Беру командование всей группой, — и оглядываюсь по сторонам. В полукилометре вижу рощу. Она на взгорье. Отличное место для обороны, если она не занята противником. Но раздумывать некогда. Показываю рукой в ту сторону. — Сбор в роще. За мной!

Скачу через поле неубранной кукурузы. За мной скачут мои минометчики, казаки из других подразделений, бегут пехотинцы. Голову сверлит все та же тревожная мысль: а что, если в роще противник? Нет, роща свободна. Командиру взвода старшине Рыбалкину указываю место для огневой позиции. Мин немного, по пятку на ствол. Неприкосновенный запас. Но теперь и он пригодится. Сам скачу вокруг рощи. Она невелика. Площадь ее квадратных километра полтора-два, не более. Границы ее окаймлены глубокой канавой, заросшей кустарником вяза и бересклета. Для обороны места лучше не придумаешь. День продержимся. А ночью попытаемся выйти.

Возвращаюсь к минометчикам. Здесь уже собралось свыше трехсот человек. Целое войско! Займем круговую оборону. Созываю командиров подразделений и групп, указываю места. Лошадей и повозки укрываем в глубине рощи. Люди расходятся по своим местам, начинают окапываться. Пехотинцы и десантники по-братски делятся патронами и гранатами с казаками. Теперь нам сам черт не брат. Отобьемся.

Противник не заставил себя долго ждать. Появились пять танков. Едва они приблизились к роще, как в них полетели гранаты. Два танка запылали. Остальные, круто развернувшись, ушли. В моем войске поднялось настроение. Через два часа гитлеровцы предприняли новую

атаку. Теперь за танками и бронетранспортерами шла пехота. Пехоту отсекли и положили на поле. Подожгли еще два танка и два бронетранспортера. Три новые попытки покончить с нами в лесу также были отбиты. На исходе дня противник обрушил на рощу шквал артиллерийского и минометного огня. Молотил около часа. Красивейшая роща из пирамидальных тополей была вся побита. У нас погибло много лошадей. Атаки после артналета не последовало. Мы стали готовиться к прорыву.

И тут, к моей радости, появился лейтенант Тарасенко со взводом полковых разведчиков. Его, оказывается, послал командир полка, жестко предупредив: «Утерял — ищи. Не найдешь живыми — отдам под трибунал». На поиск дал сутки. Лейтенант радовался, пожалуй, не меньше, чем я.

...Но здесь происходит нечто непонятное. Ко мне подходит незнакомый солдат и говорит:

— Товарищ гвардии капитан, разрешите к вам обратиться?

— Я вас слушаю

— Вас вызывает к себе полковник!

— Какой полковник? Откуда он взялся? Проверяя оборону рощи, я что-то не видел его!..

— Не могу знать, товарищ гвардии капитан...

— Где он сейчас, этот полковник?

— В сотне метров отсюда. С группой автоматчиков сидит в окопе.

— Ну хорошо, ведите меня к нему.

Нет, не выполняя переданный мне приказ, а ради интереса и любопытства, иду за солдатом. Подхожу и вижу, что на пеньке срезанного снарядом дерева действительно сидит полковник. Рядом с ним лежит не офицерская, а солдатская шинель. Под этой шинелью, думаю, ты скрывал свое звание и должность. Шкура хорошая, а не офицер. За весь день боя по обороне рощи не объявился и лежал, выжидая, что будет? Меня разбирает злость. Но сдерживаюсь, представляюсь и требую у него докумен-

ты. Он без разговора предъявил свое служебное удостоверение. Внимательно рассмотрел их — да, действительно, полковник Н., начальник отдела не нашей дивизии. Он не обиделся на меня за проявление бдительности. Даже хвалит за проявленную инициативу и умелое руководство разношерстным воинством при обороне рощи. Заявил, что, как старший по званию, руководство выходом из окружения берет на себя. Меня назначает своим заместителем. Как будто бы мы не справились с этим и без его «руководства». Хотел было я в ответ на его решение послать его ко всем чертям с матерями и назвать его своим именем — трусом. Но у меня сейчас, в этот критический момент, не хватило дерзости и бойцовского характера. Не время и не место сейчас делить с ним власть. А вот, думаю, когда выйдем из окружения и если я останусь жив и цел, то тогда я ему все напомню, если он нашего корпуса. А если нет, то особисты найдут его, где бы он ни был.

А сейчас надо не разбираться, кто чего стоит, а, не теряя времени, действовать. Снимать оборону рощи и собирать в кучу людей, лошадей, орудия, минометы и уцелевший обоз. Установить порядок в движении и, не задерживаясь, двигаться. Особенно бережно вынести всех раненых и контуженых. Знаю, что все убитые уже похоронены в траншеях обороны.

Я даю команду о свертывании обороны. Собравшись на южной окраине рощи, мы колонной двинулись в путь. В голове колонны шли разведчики. К нашей удаче, взвод разведчиков, возглавляемый старшим лейтенантом Ефремовым и лейтенантом Тарасенко, нашел брешь в кольце и вывел нас без единого выстрела.

Командир полка, выслушав доклад, сгоряча выругал меня как надо и пообещал наказать за то, что отстал от полковой колонны и потерял разбитыми три миномета. Но за проявленную инициативу в организации боя в роще и вывод из второго окружения трехсот бойцов заместитель командира дивизии полковник Терентьев объявил

мне благодарность и приказал представить к награждению орденом.

Так закончился кишвардинский рейд. За десять дней рейда мы пережили столько, сколько не пришлось пережить за всю войну. Он остался памятным не только для меня, но и для всех, кто был его участником.

Я храню письмо моего друга старшего сержанта Никифора Петровича Комарова, которому из этого рейда пришлось выходить в одиночку. Вот как он вспоминает о пережитом:

«В моем военном билете написано: «Ранений не имеет». Справок о ранениях у меня не было и нет. Это потому, что из госпиталей я убегал и долечивался в своей санчасти. Вот и тогда, когда Ромадина и Марченко убило, а меня ранило осколками от снаряда (это было 16 октября 1944 года в бою за село Почай), я оказался в госпитале. Но через три дня оттуда сбежал. Ранен был в правую ногу около колена навылет, но кость была не тронута. За Дебреценом я нашел свою батарею и пристроился во взводе боепитания у Мамченко, чтобы «воевать» на бричке. Верхом я ездить не мог, а от своих отставать мне не хотелось. Так я дошел-доехал до Кишварды. Из Кишварды, а это было через неделю после моего ранения, начался наш отход. Я попал на бричку к Гусейнову. Попали под бомбежку. Лошади были убиты. Гусейнов попытался уговорить других ездовых, чтобы посадить к кому-то раненого меня, но это ему не удалось. Тогда я сказал ездовому, чтобы он пристраивался сам, а я помаленьку буду хромать, может, к кому тоже пристроюсь. Мне повезло. Идя кукурузным полем, я встретился с артиллеристами. Они из трясины вытаскивали автомашину. Под колеса бросали грузы, находящиеся в кузове. Машину вытащили. С ними я и поехал. Но ехать пришлось не очень долго. Мы попали под обстрел бронетранспортера из лесополосы, автомашина загорелась, а все находящиеся в ней кинулись кто куда. Вот здесь я и потерялся, отстал от всех и пожалел, что сбежал из госпиталя. Но близок локоть,

да не укусишь. И куда ни ткнусь — всюду немцы. Оружие мое — трофейный пистолет «вальтер», в котором шесть патронов. На всякий случай, думаю, пригодится. Живым не дамся. Но куда идти, что делать? В переплет попал хороший. Набрел на разбитую 76-мм дивизионную пушку. Расчет погиб (три человека), пушка изуродована. Здесь подобрал буханку хлеба. Ожил. Взял саперную лопату и в копне кукурузы, сложенной из снопов, вырыл окопчик и на ночь лег отдыхать. А утром двинулся в путь. Держал курс на восток, на Дебрецен. Вышел на пехотную нашу часть, попал в штаб. Там мне и сказали, где искать казачьи части... Вот так мне и запомнился этот рейд на Кишварду и из Кишварды. Не забудется он».

После выхода из окружения, во время четырехдневной передышки, я сдавал свою батарею и принимал новую — батарею тяжелых 120-мм минометов в 182-м артиллерийско-минометном полку. Причина перевода: вместо убитого перед выходом из окружения капитана Журавлева требовался опытный командир. Таким опытным посчитали меня. Тем более что в бою за село Беркес мне пришлось несколько часов командовать и журавлевской батареей, затем вести ее из окружения. Так что, рассудило начальство, я уже командую новой батареей. Это подтвердил мне и командир полка, когда я зашел к нему, чтобы попрощаться. Мол, с начальством спорить — одно и то же, что против ветра мочиться. Себя обкатишь...

Лицо командира полка сегодня было небритое, осунувшееся, усталое. В последние дни его чаще видели мрачным и раздражительным.

Мне припомнилось румынское село Григорешти, из которого мы в присутствии его и замкомдива по политчасти провожали в Москву на учебу Катю Мельникову и домой, по старости, моего коновода Николая Ивановича Чернышева. Ниделевич тогда разнервничался от рассказа Кати (рассказ А.Толстого «Русский характер») и торо-

пливо ушел, не дослушав рассказ до конца. Ковальчук тогда толкнул меня в бок и сказал: «Молчи».

Много позднее Ковальчук мне рассказал, что у комполка беда. Жена, живущая где-то в Донбассе, написала ему письмо. В нем призналась, что нашла себе более достойного партнера в жизни и просит не поминать ее лихом. Мол, прости и прощай навсегда. Хотя тогда Катя хотела своим рассказом убедить лейтенанта Михаила Тарасенко, тоже присутствовавшего на ее проводах, в своей любви к нему до конца своей жизии. А Ниделевич в ее рассказе увидел себя, в несложившейся его семейной жизни.

— Ладно, ступай к Шелесту (командир 182-го артминполка), — махнул рукой Ниделевич. — Думаю, что долго там не задержишься и скоро снова к нам явишься. Тоже, нашли топор под лавкой.

С тяжелым сердцем я покидал батарейцев и родной полк. В новой батарее и в новом полку я пробыл полтора-два месяца и вернулся в свой полк. Прямо с марша меня вызвали в штаб дивизии. Являюсь в артиллерийское управление. Узнаю: примет командующий артиллерией полковник Федоров. С полчаса жду. Доложился. Полковник указал мне на стул возле стола. На столе вкусно дымилась поджаренная с тушенкой картошка и через носик шипел электрочайник. На тарелке лежали ломти нарезанного хлеба, кусочки сахара и масло. Полковник бросил на меня свой острый, орлиный взгляд. Под этим взглядом мне почему-то стало неуютно.

— Так вот ты у меня какой герой. Много, много я наслышан о твоих делах. И решил познакомиться поближе.

— Товарищ гвардии полковник, не томите мне душу, скажите прямо, что я натворил, что явилось причиной вызова?

—А ты помолчи пока, — полковник коротко хохотнул, — и послушай старшего по званию и по возрасту. Как мои земляки говорят: «Не лезь поперед батьки у пекло».

Мне предоставлено право и хвалить, и бранить моих орлят. Кто что заслуживает.

Я с нетерпением жду ответа, недоумеваю, зачем вызван.

— Для начала, капитан, давай пропустим по одной. — Полковник взял графинчик, налил мне полный стакан, а себе половину.

Я спросил, что это за жидкость,

— Конечно, не тормозная, — снова хохотнул полковник, — командующему артиллерией и спиртику дают.

— Тогда позвольте выпить, сколько могу.

— Пожалуйста.

Я выпил треть стакана и налег на жареную картошку.

— Ну что ж, молодец, капитан, — снова заговорил мой начальник. — Наслышан я и об этом, что пьешь в меру и знаешь время и место. Да, кстати, что у тебя с Шелестом произошло?

— Ничего особенного.

— Расскажи.

Пришлось рассказать, как на одном из совещаний у командира полка я высказал мысль о том, что мощные силы полка нами используются не всегда грамотно. Где надо и не надо мы раздергиваем полк побатарейно, повзводно и даем на усиление другим полкам или эскадронам. Бьем противника растопыренной пятерней, а надо бы бить туго сжатым кулаком, как это бывало в Кизлярских бурунах, в Северной Таврии, под Корсунь-Шевченковским, что окажись с нами весь артиллерийско-минометный полк в кишвардинском рейде, мы показали бы фрицам кузькину мать.

— А ты, оказывается, думающий... орленок.

(Гвардии полковник Федоров всех артиллеристов дивизии часто называл «орлятами», «орлами».)

— Гвардии майор Шелест почему-то обиделся.

— Пожалуй, напрасно.

Я грешным делом подумал, что не жалоба ли Шелеста послужила причиной моего прихода к командующему. Но

отмел эту мысль. Разбирая жалобу, полковник не приглашал бы к столу.

— Так вот, капитан, — наконец заговорил полковник о деле, — я пригласил тебя не затем, чтобы вместе позавтракать. Комдиву и мне надоело выслушивать просьбы Ниделевича и читать рапорты твоих бывших батарейцев, требующих вернуть им ихнего Поникаровского! Со своими просьбами дошли до самого Сергея Ильича. Вот и пригласил я тебя, чтобы сказать об этом, а заодно и познакомиться. Мне в общем-то приятно. А ты рад?

— Рад, товарищ гвардии полковник! — откровенно ответил я и поблагодарил полковника. — Только место-то, насколько я знаю, занято.

— Это не твоя забота. У капитана Животова дело там не пошло. Не ко двору он пришелся.

И вот я снова в родной батарее. Капитана Животова уже не застал. Его вызвали в штадив и оттуда передали, что он получил другое назначение.

Мне почему-то стало жалко этого офицера. «Не ко двору пришелся». Как потом стало известно, его гонор, самонадеянность, подчеркивание своего «Я» помешали капитану войти в коллектив и он не был принят батарейцами к себе в семью как хозяин, отец и воспитатель.

У моих минометчиков что-то произошло. Это мне, появившемуся снова в батарее, так показалось. А в самом-то деле и ничего — я, видимо, как-то по-новому, острее, что ли, взглянул на свою семью.

У командира третьего взвода, лейтенанта Мостового, я заметил кое-какие непростительные вольности. На марше, дважды уже, отставал от колонны. Причины? В одном случае, видите ли, подпруга у седла лопнула и он был, видите ли, вынужден задержаться. В другом случае снова какая-то неисправность в амуниции лошади. И в обоих случаях от него попахивало вином. В третий раз лейтенанта привел в батарею замполит командира полка гвардии майор Ковальчук.

— Полюбуйтесь, комбат, на своего соколика. Да послушай мой о нем интересный рассказ. Ехал я замыкающим в колонне полка. Проходим как раз одну деревеньку. Смотрю: какой-то офицер с коноводом в переулок метнулся. Решил проверить. Долго искать мне их не пришлось. Возле одного дома, не спешившись, стоит казак, а офицерского коня держит под узцы мадьяр. Уж не родню ли нашел офицер и забежал проведать родственников? А он и в самом деле — как дома, сидит за столом этак развалившись, потягивает винцо и закуска на вилке. А перед ним, чуть ли не по стойке смирно, трепещет испуганная до смерти хозяйка. Время-то уже далеко за полночь, и они крепко спали, когда появился этот нежданный гостенек.

— Ну, хозяюшка, — говорю, — забираю вашего дорогого гостя, извините уж нас за беспокойство ночью.

Только вот не знаю, поняла ли хозяйка что-либо из моих слов, или не поняла ничего. Выйдя из дома, я извинился так же и перед мадьяром. Сели на коней и поехали догонять полк. Ну вот и всё. Игра в гости у вашего лейтенанта на этот раз сорвалась, и я в этом виноватый.

У майора Ковальчука была добрая душа и сердце родителя. Он что-то еще по-стариковски проворчал про молодо-зелено и передал лейтенанта Мостового мне, как бы сказали теперь, на поруки. Одновременно Антон Яковлевич напомнил Мостовому расстрел из миномета колхозного сена на Кубани и предупредил Мостового, что если он «выкинет какой-либо номерок» еще раз, ему несдобровать.

Если бы Ковальчук доложил об этом командиру полка, не избежать бы Мостовому военного трибунала. Это как пить дать.

Глава четырнадцатая
КАЗАКИ ЗА ДУНАЕМ

Ну вот, мы и пришли к тебе, песенный Дунай! Через огонь, через пушечный грохот, через смерти — пришли!

Мне хотелось увидеть Дунай глазами композитора Штрауса, музыку которого очень люблю, — голубым. Но Дунай не был голубым. Он, родной брат Волги и Днепра, как назвал его один французский географ, был мутным. Дунай готовился к ледоставу, и по его широкой спине шла шуга. Но все равно, окаймленный кустами ивы и краснотала, обрывами, широкими отмелями с чисто промытым песком, он тек плавно и величаво. Над ним висели серые декабрьские тучи, битком набитые дождем и снегом. Когда начинал дуть резкий ветер, Дунай хмурился, волновался и мрачнел.

Мы вышли к Дунаю и переправились на правый берег между городами Пекч и Колоча по понтонному мосту, наведенному накануне нашими саперами. Переправились спокойно, в дневное время, не опасаясь авиации противника. Над переправой, охраняя нас, несли бессменную патрульную службу краснозвездные ястребки.

Снова начались бои, теперь уже в составе 3-го Украинского фронта, куда нас передали из 2-го Украинского. В эти зимние дни и ночи мы почти не слезали с седла. По дорогам, покрытым гололедом, а часто без дорог, в коридоре между озерами Балатон и Веленце на юге и го-

родом Эстергом на севере мы челноком сновали туда и сюда, внезапно появляясь перед противником. Гитлеровцы долго не могли понять, что происходит: куда ни ткнутся — всюду казаки.

Гитлеровское командование прилагало все силы, чтобы прорваться через внешний фронт к Будапешту и высвободить свои окруженные войска. Но их яростные танковые контрудары успешно отражались нашими войсками. Свой вклад в победу над врагом внесли и мы, конники, в частности, наш 37-й гвардейский кавалерийский полк. В «Истории Великой Отечественной войны Советского Союза» сказано:

«В районе восточнее и северно-восточнее озера Веленце, где занимали оборону 1-й механизированный и 5-й кавалерийский гвардейские корпуса, разгорелись бои. В этих боях особенно отличился 37-й гвардейский полк 11-й кавалерийской дивизии, нанесший врагу большой урон. Полком командовал майор М.Ф. Ниделевич. Героизм в части был поистине массовым, 220 солдат и офицеров полка были удостоены правительственных наград». (История Великой Отечественной войны Советского Союза, т. 4, с. 401.)

Сначала был горнорудный городок Татабанья. Его мы заняли без особого труда. Гарнизон гитлеровцев был невелик. Не оказывая сильного сопротивления, он отошел в горы, что вплотную примыкали к городу с северо-запада.

В Татабанье гитлеровцы пытались устроить нам ловушку. Уходя, они всем владельцам торговых предприятий и увеселительных заведений под угрозой смерти приказали: с приходом русских открыть все магазины и магазинчики, рестораны, бары и пивнушки. Гитлеровское командование рассчитывало: казаки клюнут на приманку, начнут тащить, грабить, бражничать. А оно тем временем подтянет силы, и казачий полк будет прихлопнут, казаков они возьмут тепленькими. Мерили на свой аршин. Не вышло. Мы не поддались на провокацию. Ни один казак не

позарился на чужое добро, хоть каждый видел: магазины и магазинчики открыты и без продавцов, рестораны, бары и пивнушки без обслуги. Приходи, бери, пей, гуляй. Мы только удивлялись попервоначалу, не понимая, что замышляет враг. Однако вскоре все разъяснилось. И мы не стали ждать, когда гитлеровцы прихлопнут нас в Татабанье, а вышли навстречу им. Встреча состоялась возле села Фельшегалла, которое мы проходили два дня тому назад. Здесь начались тяжелые и кровопролитные бои. И шли они целую неделю. Особенно тяжелым был день 5 января 1945 года. Накануне вечером гитлеровцы обошли высоты перед селом, занимаемые нашим полком, утром ударили по полковым тылам, по коням и коноводам подразделений. Тылам пришлось срочно сниматься и через линию нашей обороны перебираться в село.

В военной терминологии есть понятие: бой перевернутым фронтом. Вот и нам пришлось «перевернуться»: сделать поворот на 180 градусов. Наш тыл стал фронтом. Скалистый грунт на высотах не позволил зарыться в землю. Люди гибли не только от осколков снарядов и мин, но и от камней. Гитлеровцы лезли на нашу оборону как очумелые, не считаясь с потерями.

Редели и казачьи силы. В первом эскадроне погиб весь первый взвод вместе со своим командиром лейтенантом Власовым. Второй эскадрон, когда на его позиции ворвались гитлеровцы, запросил артиллерийско-минометный огонь на себя. Дрогнул четвертый эскадрон и стал отходить к селу. Батарея 76-мм пушек оказалась впереди боевых порядков, без прикрытия. Она била картечью, расстреливая гитлеровцев в упор. Но таяли силы батарейцев. Выведена из строя одна пушка вместе с расчетом. Батарею достает пулеметный и автоматный огонь противника. Из строя выходит расчет второго орудия. И тогда к нему становится сам командир батареи старший лейтенант Чехов. Он работает за весь расчет — подносит снаряды, наводит орудие и стреляет. В самые критические минуты боя, когда казалось, что противника не

сдержать, приходит помощь. Дивизион «катюш». Он ударил по гребню высоты, где гитлеровцев скопилось, что саранчи. Немногим фрицам удалось спастись бегством. Большинство их полегло здесь, на высотах. Наша оборона была восстановлена. Ни назавтра, ни в последующие дни немцы не предприняли ни одной атаки. Крепко побитый зверь зализывал раны.

По автостраде Комарно — Будапешт, проходящей через село Фельшегалла, немцы не прошли.

Запасы боеприпасов в батарее всегда были у меня под особым вниманием. На одном из привалов нашего бесконечного и всегда с боями пути я вызвал к себе старшину батареи Михаила Чернышева и попросил доложить о наличии у нас мин. В докладе старшины улавливаю, что взвод боепитания имеет запасов в бричках не два боекомплекта, а только полтора. Почему? Старшина замялся. Сослался на ездовых, что те, мол, не хотят брать, мол, лошади истощились и больше им не под силу. Наша скорость передвижения, почти все время на рысях, требует облегчения и на повозках.

— И ты им поверил? Лошади у нас, старшина, исправные и могут на любых скоростях везти не два, а три боекомплекта мин. Только бы колеса и оси повозок выдержали, разве не так?

— Так-то оно так...

— А что не так? Давай-ка, старшина, начистоту. Сам знаешь, что от наличия у нас в запасе боеприпасов зависит наша жизнь и боеспособность.

— Знаю, товарищ гвардии капитан. Да вот поделать ничего не могу. Буржуйчики драпают и барахло свое бросают. Вот некоторые из наших и подбирают это барахло. Видимо, поняли, что война идет к концу, и кое-кто начинает думать о доме, чтобы явиться домой из заграничного похода не с пустыми руками, а с подарками.

— И много таких... барахольщиков?

— С полдесятка, я думаю, наберется, если не больше.

— А как на это смотрит командир взвода боепитания, наш уважаемый Ефим Кожушко? Или и сам прибарахляется?

— За самим не замечал. После Мамченко он еще не взял взвод в руки и на многое закрывает глаза.

— Вот что, старшина. Сегодня, да вот прямо сейчас, давай устроим проверку использования и техническую готовность повозок в батарее, а?

— Очень хорошо и вовремя такая проверка, товарищ гвардии капитан.

— Так дай команду быстро подготовить к осмотру повозки.

Начали проверку повозок у огневых взводов и как будто ничего лишнего не обнаружили, кроме беспорядка в укладке и что боеприпасов маловато. Тут же приказал немедленно эти недостатки устранить. Еще раз подтвердил свой приказ о том, что боеприпасов иметь неснижающиеся запасы не менее чем два боекомплекта.

При проверке же повозок взвода боепитания увидели, что почти в каждой повозке под ящиками боеприпасов лежат далеко не армейские и не нужные для боя вещи — дамские туфли, куски тканей, костюмы, пальто и даже ковры. А в повозке казака Ляшенко нашли мешок с советскими деньгами, да только они были немецкого производства — фальшивые. Ляшенко подобрал их под Корсунем. Там мы ими мостили дороги, подкладывали их под колеса пушек и повозок, застрявших в грязи. И надо же, целых десять месяцев таскал Ляшенко этот мешок макулатуры.

Все найденные в повозках вещи не военного характера выгрузили и сложили на полянке. Рядом с этими кучками барахла поставили теперешних их хозяев. И здесь же, перед этой «выставкой» построили всю батарею. Обращаясь к батарее, я прежде всего оцениваю эту картину и называю ее и действия стоящих около вещей людей своим именем — мародерством. Сообщаю, что за такие действия в военное время людям полагается суровая ка-

ра. А что же мне, дорогие мои товарищи, сделать с ними за этот позор, который они наложили на всех нас? Доложить об этом командиру полка? Тогда они, все шесть человек, предстанут перед судом военного трибунала. Хотя знаю, что они это делали не сознательно, прошли с нами тысячи огненных верст и все имеют боевые заслуги. Но трибунал ничего этого не примет во внимание. Откровенно говоря, мне жалко их. Но и оправдывать такое поведение я не имею права.

Строй батареи замер, опустив вниз глаза, как будто виноватые были все. И вдруг нарушил это молчание командир второго взвода, парторг батареи Рыбалкин: «Товарищ гвардии капитан, не докладывайте командованию полка об этом некрасивом явлении. А накажите их своей властью».

Я мысленно роюсь в дисциплинарном уставе. Четверым объявляю по выговору. Походной же гауптвахты в полку нет. Двое же — казаки Ляженко и Гусейнов заслуживают большего наказания. У ног Ляшенко лежат ковер, мешок с фальшивыми деньгами, кожаное пальто, кусок шелка, лакированные сапоги и румынская смушковая шапка — целый магазин. Немного поменьше товаров в «магазине» казака Гусейнова. Придумал им наказание — явно не уставное, но не из легких.

— А вот этим двум казакам приказываю: надеть на себя все эти вещи, а на плечи взять по минометной плите и постоять по стойке смирно хотя бы час. Исполнение этого наказания будет наблюдаться командиром взвода боепитания гвардии старшим сержантом Кожушко.

По строю батареи прокатился тихий смешок и вздох облегчения, на лицах всего строя появились улыбки, в том числе и у виновников. Облегченно вздохнул и я, будучи уверенным в том, что жалоб на мое неуставное наказание от провинившихся не будет. Иначе и они и я могли угодить под суд военного трибунала.

Вечером, на марше, перебирая в памяти события истекшего дня, я вспомнил слова старшины батареи:

«Война идет к концу». И вдруг в душе поднялось жгучее желание не только дойти до конца войны, но и выжить, обязательно вернуться домой. Да и только ли у меня такое желание? Осторожность в бою у казаков заметно стала больше, лихость и отвага менее выразительными и яркими. А у меня, комбата, возросла забота о сбережении людей. Я, отдавая приказ, как-то больше стал думать над тем, как выполнить боевую задачу без потерь жизней и меньшей кровью. Каждого из нас ждут, и мы должны вернуться к семье, в родной дом, к любимому делу. В этом была тоже своего рода стратегия.

Сдав оборону стрелковым частям, мы получили приказ двигаться на Эстергом. Оборону заняли в селе Моор. Задача та же, что и перед Фельшегаллой: не дать гитлеровцам прорваться к Будапешту, но теперь уже с Эстергомского направления. Противника долго ждать не пришлось. Вскоре на нас навалились до двух пехотных батальонов. С ними мы управились бы легко. Но их поддерживали пятнадцать танков. Командование полка сочло благоразумным отойти и занять оборону по высотам, полукружьем охватывающим село. Гитлеровцы ворвались в село и сами себе устроили ловушку. Мы ударили по селу из всех имеющихся пушек и минометов. Над селом поднялись столбы дыма, пыли, огня. В довершение всего дал залп дивизион «катюш», и села как такового не стало. Из пятнадцати немецких танков двенадцать превратились в груды искореженного металла. Еще час назад было красивое село с добротными домами и усадьбами. Теперь были развалины. Жалко на них глядеть. Ударить же по селу заставила военная необходимость. Но не та «военная необходимость», о которой до сих пор разглагольствуют высокопоставленные фашистские недобитки, пытаясь оправдать злодеяния, которые творили немецкие войска на нашей земле.

Город Эстергом прикрывала высота 583,0, похожая на курган. Она, как чирей на мягком месте, торчала над всей округой. Здесь уже несколько дней вела бои стрелковая

часть, но сбить этот «чирей» не могла. Подошла наша 11-я гвардейская, и нашему полку вместе со стрелками приказано готовиться к лобовому штурму. Полку придали всю артиллерию и минометы дивизии, да еще дивизион «катюш». В едином кулаке набралось свыше сотни стволов.

Сотня стволов ударила по «чирью». Боеприпасов не жалели. Казаки огневых расчетов работали, скинув телогрейки и шинели, засучив рукава. От спин шел пар. За два с половиной часа на головы фашистов было выброшено более пяти тысяч снарядов и мин. Перепахали всю вершину горы так, что, наверное, высотную отметку понизили. В самом начале артминподготовки фашисты еще огрызались. Но скоро умолкли. А после того как мы закончили молотить, ни стрелковым ротам и батальонам, ни нашим эскадронам зачищать оказалось нечего: ни одна огневая точка противника не ожила. До конца войны мне уже не довелось видеть такой работы артиллерии и минометов.

Здесь я хочу оговориться. Ни в малейшую заслугу себе считаю, что ударную силу артминполка дивизии, пушечные и минометные батареи сабельных полков необходимо использовать в едином кулаке, а не раздавать их повзводно эскадронам, о чем я неоднократно говорил командиру 182-го артминполка гвардии майору Ф.С.Шелесту и даже командующему артиллерией дивизии гвардии полковнику Федорову. Открывал ли я этими высказываниями что-либо в науке войны — не знаю, но опыт в боях подсказывал эту необходимость. А все-таки ею во многих случаях пренебрегали и нужных результатов от огня артиллерии не имели.

Еще не закончилось сражение за Эстергом, как нас вывели из боя. Снова последовала команда: «По коням!» За сутки полк совершил 120-километровый бросок на юг, в район города Домбовар, с боевой задачей оседлать шоссейную дорогу Секешфехервар — Дунафельдвар — Будапешт. К указанному месту мы вышли на рассвете. Им

оказалось маленькое, в два десятка дворов, сельцо Гебельяроши, стоящее в одном километре севернее шоссе. Вместе с нами прибыли приданные полку подразделения: батарея пушек ИПТАП, батарея тяжелых минометов 182-го артминполка, три танка Т-34, радисты штаба дивизии.

По всей округе стояли тыловые части и подразделения фронта, именуемые: «хозяйство Иванова», «хозяйство Петрова», «хозяйство Туманяна». Встреченные нами солдаты и офицеры из этих хозяйств говорили, что ни о каком противнике где-то поблизости нет ни слуху ни духу.

Что ж, будем отдыхать и набираться сил для завершающих ударов по врагу. Стало смешным заявление самонадеянного юного офицерика, взятого в плен на том «чирье»: «Жукову отдадим Берлин, но Толбухина утопим в Дунае. Из Венгрии мы не уйдем!»

Отдыхать нам не пришлось.

Через два часа после прибытия в Гебельяроши командиров подразделений вызвали в штаб на совещание. Командир полка был необычно взволнован. Он даже не стал выслушивать наши доклады о марше. Нетерпеливо глянув на часы, сказал:

— Время дорого, побережем его. На внешнем фронте обстановка осложнилась. Противник по-прежнему рвется к Будапешту. Танковыми дивизиями из района Секешфехервар он нанес удар на узком участке фронта, пытаясь прорваться к окруженным вдоль Дуная с юга. Частью сил ему удалось выйти к городам Дунапентелеку и Дунафельдвару.

Ниделевич говорил отрывисто, как бы рубил фразы.

— Об отдыхе забудьте. Его не будет. 12-я и 63-я дивизии корпуса уже ведут тяжелые бои. В районе обороны нашей дивизии пока тихо. Но не сегодня-завтра, а может, через несколько часов гитлеровцы появятся здесь. Тактика их известна: дадут по зубам в одном месте, они лезут в другое.

Командир полка медленно обвел глазами командиров подразделений, останавливая взгляд на каждом. Он как бы спрашивал взглядом: «Готов ли ты выдержать, выстоять?»

— Готовность всей обороны — три часа. Закапываться глубже. Не новички, знаете: лопата поможет нам выстоять.

Столь же кратким был и замполит. Антон Яковлевич познакомил нас с воззванием Военного совета фронта к личному составу корпуса. В воззвании отмечалось высокое мужество и стойкость в обороне, высказывалась уверенность, что казаки с честью выполнят новую трудную боевую задачу. Военный совет требовал: «Стоять насмерть и не допустить прорыва немецких танков в Будапешт!»

— Во всех подразделениях, — глухим голосом говорил Антон Яковлевич, — сегодня, сразу же по прибытии отсюда, провести партийно-комсомольские собрания и напомнить всем коммунистам и комсомольцам, что у них есть лишь одна привилегия — в бою быть впереди всех.

Позднее оказалось, что эту «привилегию» он ровно через сутки начнет с себя.

Что и говорить, на душе стало тревожно. В батарее меня ждали командиры взводов и минометных расчетов. Они немало удивились, когда я стал рассказывать об обстановке.

На марше я основательно простыл. Чувствовал себя скверно. Шумело в голове. Поднялась температура. Во всем теле — недомогание и слабость. Вот уж не ко времени. Говорил с частыми остановками, перемогая боль, много курил. Мое столь необычное состояние, наверное, заметили офицеры и сержанты и приняли его за трудносдерживаемое волнение. А я искал слова, которыми можно было вселить всем уверенность в нашем успехе.

— Друзья, — говорил я, — настал час последнего тяжелого испытания. Военный совет фронта, командование корпуса и дивизии надеются, что мы, казаки-гвардейцы,

на пути гитлеровцев встанем непробиваемой стеной. И если придет такая нужда, то будем готовы лечь костьми на этом рубеже. Если мы не выстоим, то все прошлые заслуги не спасут нас от позора...

Расстегнув воротник гимнастерки — трудно было дышать — и затянувшись самокруткой в палец толщиной, я отвернулся и долго смотрел куда-то за горизонт. Вокруг стояла напряженная тишина. Слышно было дыхание подчиненных. О моем состоянии, видать, догадался старшина батареи Чернышев.

— Товарищ гвардии капитан, полстакана спирту — и полный порядок, — услужливо предложил он, — верное средство, я сейчас...

— Отставить! Спирт побереги, старшина, для других целей.

— Для каких?

— Им будем отмечать разгром фашистов.

Напряжение как-то само по себе спало. Заговорили буднично и просто о том, что боеприпасы из бричек взвода боепитания надо распределить по взводам и развести на огневые позиции, а брички послать в дивизию за новым запасом, что всем казакам выдать не менее как по пятку противотанковых гранат и по возможности больше патронов, что на огневых позициях установить дополнительно пулеметы и продолжать земляные работы.

Часа через два я принял доклады командиров взводов о готовности к бою. Готовность эту я и сам видел, побывав на огневых позициях. Казаки хорошо окопались, замаскировали минометы, приготовили боеприпасы и както сами подтянулись.

На огневой позиции второго взвода созвали партийно-комсомольское собрание. Коммунисты и комсомольцы в батарее составляли 90 процентов. Собрание было коротким, 20—30 минут, не более. Все уже знали, о чем пойдет речь. Постановление приняли предельно лаконичное:

«Слушали: Задачи дня. Информация парторга т. Рыбалкина.

Постановили: 1. На занятых рубежах стоять насмерть. 2. Коммунистам и комсомольцам примерной работой в бою увлекать всех казаков».

Был еще второй вопрос — прием в партию. Заявления подали четверо: командир минометного расчета из первого взвода сержант Федор Дмитриевич Терещенко, минометчики из второго взвода Мизгари Туктымышев, Абдул Курбанов и Гулялий Гулялиев. Все они решили в этот, может быть, смертельный бой пойти коммунистами.

Федор Терещенко, щупленький и тоненький, с удлиненным смуглым лицом украинец, в свои двадцать лет выглядел подростком. Был он по-деревенски стеснительным и робким. Любил слушать, что говорят другие, сам же разговор никогда не начинал. Военную службу «Хведор» — так называл себя казак — начал в расчете Никифора Комарова, у которого он был в «минометной команде» во время оккупации. Комаров знал, на что способен этот робкий парень. Он сразу определил его первым номером — наводчиком. Помню, я тогда усомнился в физических возможностях хлопчика и сказал Комарову, что ваш Хведор едва ли справится с обязанностями наводчика, которому ко всему прочему надлежит таскать ствол миномета, а он, милый, весит ни много ни мало почти два пуда.

— Ничего, — ответил рассудительный Комаров, — Федя на вид только дохленький, а жилы у него крепкие.

Федор оказался расторопным и упрямым казаком. За глубокое знание материальной части и умелую боевую работу после первой же учебной стрельбы, когда цель была точно накрыта, он удостоился ефрейторского звания. Однако повышение свое он воспринял без каких-либо взволнованно радостных эмоций, словно так оно и должно быть. В первых боях наводчик был награжден медалью «За отвагу». Работу свою он делал с выдержкой и спокойствием, как делал бы любую крестьянскую. За виртуозную и точную стрельбу при отражении яростных атак гитлеровцев под селами Новая Каракуба и Капито-

новка Терещенко был награжден орденом Славы III степени. Награды он принимал как само собой разумеющееся: «Заработал — получи».

В бою под Орлянском был тяжело ранен командир расчета Николай Евдокимов. Командир взвода решил заменить его ефрейтором Терещенко. Тот лишь пожал плечами и пошел принимать расчет. Там по-хозяйски огляделся и сказал:

— Хлопцы, слухайте мою команду...

И хлопцы «послухали», сразу признав в нем командира.

В бою за Дебрецен сержант Терещенко был ранен. Его мы хотели отправить в госпиталь, но он отмахнулся, некогда, мол, да и незачем медиков занимать «какой-то царапиной». И вот он подал заявление в партию. Алексей Елизарович Рыбалкин сказал о нем:

— Давно я приглядываюсь к Терещенко. И скажу без утайки: зрелый и надежный воин.

Впрочем, Алексей Елизарович такие же слова сказал и еще о трех вступающих в партию: Мизгари Туктымышеве, Абдуле Курбанове и Гулялии Гулялиеве. Татары по национальности, все трое родились в башкирском городе Стерлитамаке. В одной школе учились. Из девятого класса, сговорившись, убежали на фронт. Хотели добраться до Сталинграда, там шли ожесточенные бои. В дороге где пристраивались к воинским эшелонам, где топали пешком. В Балашове парней задержала комендатура. По выяснении комендант хотел вернуть их, несовершеннолетних, домой, но они решительно воспротивились.

— Упрямые, как татары, — говорил нам комендант.

— А мы татары и есть, — отвечали ему.

— А что же мне с вами делать, милые и славные мои татары?

— Отправьте в Сталинград. Все равно туда убежим.

Комендант отправил смелых ребят в запасной полк, вручив им призывное предписание. А из запасного полка весной сорок третьего года — мы стояли в Тамбовке на

Кубани — все трое попали к нам и оказались прилежными казаками. Коней они знали и любили с детства, миномет же освоить им, людям грамотным, большого труда не составило. Из всех троих боевитостью особо выделялся Мизгари Туктымышев, невысокий ростом, смуглый, круглолицый, с приплюснутым носом, с корявинами по всему лицу — следом перенесенной в детстве оспы. Однако корявость нисколько не угнетала парня. «С лица воду не пить». Был он живым и общительным.

Командир взвода Юрий Ромадин был доволен ребятами из Башкирии, старательными в работе, смелыми в бою. Мизгари Туктымышева он взял своим коноводом-ординарцем. И никакой заботы не знал. Туктымышев успевал всюду: и коней содержать в порядке, и обедом, ужином накормить своего командира, и подменить в бою выбывшего из строя минометчика, и отрыть землянку или оборудовать блиндаж для командира и себя. Туктымышев тяжело переживал гибель лейтенанта Ромадина, при похоронах плакал навзрыд. А потом, когда командиром взвода стал Рыбалкин, коновод-ординарец Туктымышев всю свою любовь перенес на Алексея Елизаровича.

У всех этих казаков, принимаемых на собрании в партию, была счастливая судьба. Солдату нелегко пройти с боями от одного города до другого, а то и до ближайшей деревни. А тут за полтора года пройдены тысячи километров, были многие десятки боев — живы пока и здоровы, если не считать «царапин». Забегая вперед, скажу: судьба сохранила всех. Все они пришли к победе и вернулись домой, отмеченные за ратные подвиги орденами и медалями. Федор Терещенко, к примеру, был награжден десятью орденами и медалями, в их числе орденами Славы II и III степени. Мизгари Туктымышев — восемью наградами, из которых — четыре медали «За отвагу».

И вот — бой. Его начало для нас было странным. Километрах в полутора-двух появились танки. Но к селу не пошли, а направились вдоль обороны, занимаемой полком. Мы терялись в догадках: то ли гитлеровцы не замети-

ли нас, то ли давили на нашу психику, демонстрируя свою силу, то ли, наконец, нашли прореху в обороне дивизии. Но прорехи не должно быть. Мы знали: в той стороне, куда направлялись фашистские танки, окапывались 39-й полк и 182-й артминометный. Почему же они молчат?

И тут загрохотала канонада. На поле боя сразу запылало около десятка танков и несколько автомашин. Наши соседи встретили непрошеных гостей как полагается. Другие танки и машины заметались по полю, затем поспешно стали отходить. Сейчас пожалуют к нам. Так и есть. Развертываются в боевой порядок, идут на наши позиции. Но не бросаются как оглашенные. Осторожничают. Обжегшись на молоке — дуют на воду.

У нас приказ: боеприпасов впустую не тратить, их маловато, бить в упор, наверняка, встречать по-казачьи, «с музыкой». Примерно с дистанции в километр гитлеровцы открывают стрельбу. Бьют по деревне, по нашим позициям. Мы не отвечаем, словно нас и нет здесь. Постреляв, гитлеровцы уходят. Наступает ночь, тревожная и бессонная. С вечера ее разорвала автоматная очередь. Эскадронцы привели в штаб полка четырех фрицев-разведчиков, схваченных на околице села. Пленные показали: завтра у деревни Гебельяроши их танковый полк и полк пехоты начнут прорыв. Сегодня была лишь разведка. Но весь день 22 января немцы молчали. Пленные ввели в заблуждение? Танки противника появились на исходе дня. Я насчитал их 23, да несколько бронетранспортеров. Приближались они, как и вчера, осторожно, медленно, с частыми остановками. Видать, не раз битые. С дальней дистанции начали обстрел села. В селе вспыхнули пожары. Мы не отвечали. Постреляв, немцы ушли на исходные позиции, к фольварку из нескольких дворов Альшебешенье. Но эта гитлеровская вылазка молчавшему полку обошлась дорого: 17 казаков убито, около 30 ранено, потеряна одна пушка и пять лошадей. Не повезло и моей минометной батарее: один из снарядов угодил на огневую позицию второго взвода. Были ранены командир взвода

Алексей Елизарович Рыбалкин и мой ординарец Семен Коломиец. Убиты казаки Водинов и Дирецкий.

Едва я сообщил о потерях в штаб полка, на батарею прибыл замполит Ковальчук. Антон Яковлевич глубоко уважал Алексея Елизаровича. Он и вину за гибель Пети Рыбалкина брал на себя. Впрочем, он многое брал на себя, Антон Яковлевич Ковальчук, которого по старой привычке мы звали гордым словом «комиссар» и еще — батей. Парторгом батареи замполит назначил старшину батареи Михаила Терентьевича Чернышева.

Прошла еще одна беспокойная и тревожная ночь. А утром началось. Три десятка танков, охватив деревню полудугой, медленно, но без остановок, приближались к нашим позициям. Моторным гудом и грохотом наполнялся сырой утренний воздух. И ни одного выстрела ни с той, ни с другой стороны. Шло испытание нервов. Расстояние до танков сокращалось. 700 метров, 600... По цепи эскадронов, по телефонным проводам на батарею полетела команда: «Огонь открывать по сигналу красной ракеты». До танков — 500 метров. Напряжение растет. Ожидание ракеты невыносимо. 400 метров. Ну кто там медлит? Сомнут — пикнуть не успеешь.

Серое небо крутой дугой чертит красный огонек. И тотчас же вздрагивает земля и сотрясается воздух. По танкам бьют две пушечные батареи, минометная, все противотанковые ружья и крупнокалиберные пулеметы эскадронов. Над полем волной катится свист, грохот, стелется дым.

Я на огневой позиции первого эскадрона. Лейтенант Михаил Тарасенко собран, команды его четки, грамотны. Вмешиваться не следует. Работа минометных расчетов горячая, торопливая, но не суетная. Знаю: в ком-то из казаков сидит страх. Но он зажат, запрятан глубоко. А вот злость — она на лицах. И в голосах: нет-нет да и сорвется ядреный матерок.

Миномет и танк. Что может сделать невзрачная и негрозная на вид труба против машины, одетой в крепкую

броню, вооруженной пушкой и пулеметом? Кажется, ничего. Но мы стреляем и видим результаты стрельбы. Мина рвет гусеницу и останавливает танк. А попадая на броню, или, как любил говорить Рыбалкин, ударяя по кумполу, мина глушит экипаж, контузит его. Если танкисты не теряют сознание, то часто остаются без всякого соображения, без памяти. Вот и сейчас. В бинокль ясно видится все поле боя. На нем — шесть факелов. Это работа артиллеристов. Четыре танка, виляя из стороны в сторону, змейками ползут одни вперед, другие куда-то вбок. Этим дали «по кумполу» минометчики. Далеко теперь они не уйдут. Их прикончат артиллеристы. Прорыв гитлеровцам не удался. Оставшиеся танки начинают отходить. Но радоваться и торжествовать рано. День еще впереди, день долгий и трудный. Трудный в своей ярости и упорстве.

Передышка короткая. Гитлеровцы идут в новую атаку. Танки построены клином. Острие клина направлено в стык между нашим и 41-м полком. Метят выйти на шоссе. За танками идет пехота. Командир полка вызывает меня на свой КП: «Будь под рукой». Батарея моя разбросана. Огневые взводы приданы эскадронам. Управлять и маневрировать огнем в такой ситуации лучше с полкового командного пункта. Бой разгорается с новой силой. Казаки стоят прочно и зло. Мелькает мысль: кончится ли когда этот день, до предела насыщенный грохотом разрывов, огнем, дымом, скрежетом металла, стонами раненых, смертью?

Наши пушкари — их огневые позиции располагаются в боевых порядках эскадронов — и танкисты из укрытий бьют по танкам противника. Огонь всех минометных взводов я переношу на пехоту, чтобы отсечь ее от танков и положить. Огонь, как никогда, точный. Разрывы вырастают густым кустарником. Они вырубают целые звенья из цепи гитлеровцев. Но гитлеровцы не останавливаются. Не останавливаются даже тогда, когда танки начинают поворачивать назад. Лезут, неумолимо надвигаясь на

нас. Какое-то безрассудство, безумие! До гитлеровцев, вырвавшихся вперед, остается какая-то сотня метров. И тогда над позициями эскадронов и батарей звучит команда-призыв:

— В атаку ведет комиссар!

Он поднялся на бруствер в окружении богатырей полка, у которых разбиты пушки, и, тяжело ступая, пошел вперед. В одной руке автомат, в другой — граната. Хрипло бросил единственную фразу, которая сразу облетела весь полк:

— Гвардия — всегда гвардия!

Казаков эскадронов словно сильным порывом ветра подняло и выкинуло из окопов.

Немного прошел комиссар. Фашистская пуля сбила его с ног. Он упал. Потом приподнялся на руках. Мимо него бежали казаки, полные гнева, ярости, мести.

Не знаю, сам ли увидел Михаил Федорович Ниделевич с КП, как упал Антон Яковлевич, подняв эскадроны в атаку, по телефону ли ему сообщили, только он весь сжался, словно от удара, потом схватил автомат и крикнул:

— Все — за мной!

Не дело командиру полка оставлять командный пункт и, как рядовому казаку, кидаться в рукопашную схватку. Он должен руководить боем. Но, видно, бывают моменты, такие особые обстоятельства, когда командир полка должен быть вместе со всеми казаками — в атаке, в рукопашной схватке, среди дерущихся. Штабные офицеры, телефонисты, радисты, писари — все, кто был на КП, кинулись врукопашную. В ход пошло все, что было под рукой: автоматы, карабины, штыки, пистолеты, лопаты, ножи.

Участвовал в этой схватке и я. Израсходовав две пистолетные обоймы и две гранаты, висевшие на поясе, не знаю, не помню, как в моих руках оказался немецкий «шмайссер». И этому оружию нашлось применение. Гитлеровцы оказались изрядно пьяными. То там, то здесь слышался голос командира полка:

— Бей фашистскую сволочь! Круши!

Мы били и крушили. Стреляли, раскалывали головы прикладами, кололи штыками, душили. Мы гнали их более километра. Мы были полны ярости, азарта, лихости и никогда невиданного упоения. А началось с комиссара, с его первого шага, с той фразы, что подняла полк.

...Много лет прошло с тех пор, много воды утекло, а все видится та наша казачья лихая контратака. И видится комиссар, наш полковой батя Антон Яковлевич Ковальчук.

Комиссар! Звучное, сильное, светлое слово. Люди, носящие звание комиссара, представители Коммунистической партии в Красной Армии, пришли к нам, как легенда из огненных лет Гражданской войны. Антон Ковальчук — из плеяды тех комиссаров. Он, молодой рабочий Сестрорецкого оружейного завода в Питере, впервые взял в руки винтовку 24 февраля 1917 года, став в этот день бойцом пулеметной команды в рабочем отряде Сестрорецкого района. Как дорогую реликвию Ковальчук берег справку, выданную ему Ленинградским областным архивным бюро. Она, та справка, напоминала Антону Яковлевичу о его боевой молодости.

«В имеющемся архивно-справочном материале Военного комиссариата Петроградского уезда за 1918 год в деле «Именные списки красноармейцев»... числится Ковальчук Антон Яковлевич, — адрес: Литейный, 28, рабочий № 1197, от организации большевиков, винтовка № 92641».

Первый выстрел из винтовки с указанным номером Ковальчук сделал в ночь на 25 октября в составе отряда сестрорецких рабочих, который охранял штаб Октябрьского восстания — Смольный. Стоял он тогда в наружной охране Смольного. И в тот час, когда рабочие-гвардейцы, революционные солдаты и матросы шли на приступ Зимнего дворца, последнего оплота Временного правитель-

ства, по площади перед Смольным промчался подозрительный автомобиль. По нему часовой революции Антон Ковальчук и жахнул.

В книге американского писателя и журналиста Джона Рида «Десять дней, которые потрясли мир» есть фотография, на которой снят отряд красногвардейцев, охраняющий Смольный. В центре снимка — Ковальчук. На нем высокая папаха, черное пальто нараспашку, открытая грудь, перетянутая пулеметной лентой. Таким он был — восемнадцатилетний часовой революции.

Молодая Советская страна в огне Гражданской войны. Ковальчук — в седле. Он комиссар 34-го полка в шестой кавалерийской дивизии Первой конной армии. Бои на Дону, бои в Причерноморье, рейд под Варшаву... Невысокого роста, крепко сбитый, он, казалось, рожден для седла, для шашки. Но кончилась Гражданская война. Страна приступила к мирному строительству. И Ковальчук занялся мирным трудом на Дону.

Началась Великая Отечественная война. В ее первый день, 22 июня 1941 года, в Москву, в Главное управление политической пропаганды РККА, от Ковальчука ушли две — одна за другой — телеграммы с просьбой отправить его на фронт. Бывший комиссар-первоконник, старый коммунист не мог, не хотел ждать, когда принесут из военкомата призывную повестку. Да и принесут ли? Как-никак, а на пятом десятке лет можно не дождаться.

Его вызвали в Москву. Из столицы он вернулся в звании батальонного комиссара. Но вернулся через несколько месяцев, успев побывать в действующей армии и пройти курсы переподготовки политсостава.

Главным оружием Ковальчука было убедительное слово. Слово правды, даже если она была и горькою. Нам, командирам подразделений, он не уставал говорить и напоминать о том, что во всякой войне победа обусловливается состоянием духа масс, которые, героически отстаивая свое дело, проливают на поле брани свою кровь, в борьбе с врагом не жалеют самой жизни.

Постоянно находясь среди казаков, комиссар прежде всего заботился о боевом настроении воинов, о высоком состоянии их духа. Ковальчук решительно отказывался понимать тех командиров и политработников, которые жаловались или объясняли свои промахи отсутствием соответствующих условий и времени для политической и воспитательной работы.

— Помилуйте, — насмешливо переспрашивал он иного командира подразделения или парторга, — о каких «соответствующих условиях», о какой нехватке времени идет речь? Верно, у нас нет тихих кабинетов и трибун, но у нас есть кони и седла, которые могут заменить все. А времени — все двадцать четыре часа в сутки в нашем распоряжении. Пошевеливать мозгами надо, други.

Сам же он постоянно «пошевеливал» ими. Часто бывало, когда ночью на марше по колонне передают:

— Командиров подразделений, парторгов и комсоргов к комиссару в голову колонны!

— Все в сборе? Добре. Пристраивайтесь поближе.

И, покачиваясь в седле, начинал неторопливый разговор о цели марша, о месте коммунистов в бою, о внимательном отношении к людям, о бережливости оружия, о пополнении партийных рядов да и просто о жизни.

Когда необходимость требовала, он вместе с казаками, чаще впереди, шел в атаку — в конную, пешую, в рукопашную ли. Молодых воинов, недавно призванных и не умеющих еще прятать робость и страх в бою, он умел ободрить в самый нужный момент.

— Ничего, хлопче, — говорил он молодому казаку, — не такое видали... Ну и что из того, что у немца танков много? Сила, конечно. Но поглядишь, что от их хваленых и несокрушимых танков останется, когда покрепче ударим. Патроны зря не жги, не пуляй в белый свет, как в копеечку. Врага треском не испугаешь. Его повалить надо.

А прытких, сорвиголовушек, любителей погеройствовать умел остановить вовремя, остепенить.

— Вот что, хлопче, не красуйся-ка ты своей удалью и лихостью, а то ненароком схлопочешь пулю в лоб. Ты нам нужен не мертвым, а живым героем.

Еще одно качество отличало Антона Яковлевича: доброта и душевная открытость. К людям он относился с отцовской строгостью, был к ним справедлив и заботлив. Его касалось буквально все: и что ел сегодня казак, и давно ли получал письма из дому, и что казаку пишут матери и жены, будет ли баня в следующую передышку, во что и как обуты и довольны ли концертом приезжих артистов. «Мелочи» фронтового быта воинов для него не были мелочами. От них, мелочей, в конечном счете зависело настроение, а значит, и боеспособность. Недаром же «комиссара» Ковальчука и за возраст, и за революционные и боевые заслуги в двух войнах, за его душевность и теплоту звали «наш батя». Он для всех нас был отцом родным. Эта война на его теле оставила такие же знаки, какими были отмечены казаки и офицеры его полка. Под Туапсе он был ранен осколком мины, на Нижнем Буге пулею, и вот под Гебельяроши снова.

Предзакатное красное солнце, вынырнувшее из-за багровых туч, косыми лучами осветило поле боя. В разных местах поля стояли обгоревшие и мертвые восемнадцать танков и бронетранспортеров с белыми крестами. Хорошо поработали пушкари и бронебойщики! И всюду валялись трупы гитлеровцев. Сколько их осталось на этом поле — никто не считал. Пожалуй, не одна сотня. Но и полку дорого обошелся этот долгий день. В окопах, на поле рукопашной битвы мы подобрали более ста убитых казаков. Раненых было еще больше. В полковой батарее 76-мм пушек целым и невредимым осталось лишь одно орудие, в батарее «сорокапяток» — два орудия. В моей минометной батарее сильнее других пострадал второй взвод. Из строя выбыло больше половины взвода и два миномета. Командовал вторым взводом все еще старши-

на Рыбалкин, после ранения он отказался уйти в госпиталь. В этом бою он руководил огнем взвода, хотя силы его час от часу таяли. В конце боя Алексей Елизарович потерял сознание.

...Я обходил огневые позиции взводов. Люди смертельно устали. Но подавленности духа не было.

— Выдержим, если завтра немцы пойдут в такую же атаку? — спрашивал я.

— Будут мины — выдержим.

Мин у нас почти не осталось, как и у пушкарей снарядов.

Еще в первый день нашего появления в Гебельяроши я послал в ДОП (дивизионный обменный пункт) все повозки взвода боепитания за минами. Две повозки, сопровождаемые тремя казаками, возвращаясь с боеприпасами, нарвались на вражеский танк и были обстреляны им, а затем захвачены немцами. Лишь одна повозка с ездовым Петровым сумела прорваться. Но и этот скудный запас теперь был израсходован. В эскадронах же совсем мало осталось патронов и гранат.

Нас, командиров подразделений, вызвали в штаб полка. Майор Ниделевич сидел у рации. Телефонная связь с дивизией была прервана. Доложив о ходе боя, он попросил подбросить на танках и бронетранспортерах побольше «огурцов» и «семечек», так мы называли снаряды и патроны. Из штаба дивизии на запрос ответили приказом: с наступлением темноты оставить Гебельяроши и отходить в район села Шимонторнья. Выводить полк будут дивизионные разведчики. Командир полка отдал распоряжение готовить подразделения к маршу, а через два часа доложить о готовности. Из дивизии скоро появился взвод разведчиков. С ними пришли четыре танка и три бронетранспортера. На душе стало веселее.

Командир полка отдавал последние распоряжения, как из соседней штабной комнаты донесся крик, шум, грохот. Михаил Федорович побежал туда. Следом за ним — мы. И все застыли в каком-то непонятном шоке. Начальник

штаба майор Вдовин стоял, покачиваясь, у стола и торопливо дохлебывал из кружки водку. Антон Яковлевич Ковальчук лежал на носилках, прикрыв голову руками. Из-под руки стекала струйка крови. Рядом с носилками на боку лежал стул с отломанной ножкой.

Неужели драка?

— Все по местам! — жестко скомандовал Ниделевич. — Разберусь! Готовность к маршу — двадцать минут.

Шила в мешке не утаишь. Когда я явился в батарею, казаки уже знали: в штабе произошло нечто невероятное, дикое, ужасное. Подобного не только в полку не бывало, но, пожалуй, и во всей нашей армии. После контратаки Вдовин явился в штаб. Его трясло как в лихорадке. Чтобы унять предательскую дрожь и успокоить расходившиеся нервы, он налил и одним махом выпил кружку водки. Дрожь не проходила. Он налил вторую. Но, видно, пережитый страх был настолько велик, что водка не успокаивала и не брала. Он пил еще. И в какое-то время разом сник, тормоза сдали. Отлючился полностью. Его оставили в покое.

Когда штаб свертывался, из санчасти принесли на носилках Антона Яковлевича Ковальчука. Вдовин сидел за столом и снова глушил водку. Возмущенный Ковальчук приподнялся:

— Слушай, майор, что ты делаешь? Как ты пьяным поведешь полк?

— Не твое дело, комиссар. Ты лежи и молчи, не суйся, куда тебя не просят. Погеройствовать захотел — геройствуй. Вишь, полк поднял.

— Прекрати болтовню, Вдовин!

— Понимаю: очередной орденок зашибить захотелось. А пуля поцеловала. Небось не хотел?

Насмешливая язвительность пьяного Вдовина, несправедливость, боль в простреленной груди, опасность, которая грозит полку при выходе из мешка, а может, из окружения, и полная безответственность третьего лица в

полку, считай, второго после выбытия из строя замполита — все это подняло бурю гнева в душе Антона Яковлевича, и он, обычно сдержанный, здесь не сдержался. Он назвал Вдовина молокососом, человеком без руля и без ветрил, недостойным носить ни офицерское звание, ни тем более партийный билет. И что он, замполит, теперь разглядел мелкую и ничтожную душонку карьериста, завистника и труса и что он не оставит без внимания позорного поведения начальника штаба в этот трудный час.

Не успел договорить Антон Яковлевич, как в него полетел стул.

Раненый Антон Яковлевич отказался от санитарной повозки и штабной брички. Он только попросил помочь ему сесть в седло. Превозмогая боль, с туго забинтованной грудью и головой, в окружении казаков комендантского взвода он совершил этот марш. Марш прошел тихо, спокойно, без стычек с врагом. На рассвете мы вышли к селу Шимонторнья и соединились с 39-м и 41-м полками своей дивизии.

И здесь, на канале, мы встали намертво. Бои с танками и пехотой противника продолжались с неослабевающим напряжением. Но как ни пытался враг протаранить нашу оборону и открыть себе путь на Будапешт, этого ему не удалось. Он метался по фронту. Но всюду натыкался на казаков нашего корпуса и получал отпор. 28 января, измотанный упорной обороной, потеряв много танков и живой силы, противник окончательно выдохся и прекратил наступление.

Полк отвели в резерв в село Алчут.

В ночь на 12 февраля полк подняли по тревоге. Нам сообщили немногое: большая, в несколько тысяч человек, группа немецких солдат и офицеров прорвалась из крепости Буда в северо-западном направлении и вышла в район Перболы. Ее надо во что бы то ни стало остановить и уничтожить.

Форсированным маршем к рассвету мы вышли в заданный район и на восточной окраине села заняли обо-

рону. В помощь к нам прибыл дивизион «катюш». Здесь стало известно, что основная часть прорвавшихся уже ликвидирована. Но что-то осталось от этой группы и на нашу долю. Гитлеровцы укрылись в лесу, что находился в трех километрах от Перболы. Было ясно: зимний лес не очень надежное укрытие, и долго отсиживаться в нем гитлеровцы не будут. Не затем они прорывались из крепости, чтобы принять смерть на вольном воздухе.

Они появились во второй половине дня. Развернувшись в более чем километровую по ширине цепь, со стрельбой и воплями гитлеровцы рванулись к селу, к шоссейной дороге Будапешт—Комарно—Вена, проходящей через село. Это был рывок отчаявшихся, обезумевших, изможденных от голода смертников. Подпустив до четырехсот метров эту бегущую и орущую цепь, мы открыли огонь ураганной силы. Он сразу же, как разлив вешних вод, затопил все поле. В нем горели, рвались на куски, сжигались человеческие тела. И даже такой огонь их не останавливал. Не разорванные, не сгоревшие, не продырявленные осколками и пулями гитлеровцы бежали, шли, ползли к селу, словно их ждало спасение. Но здесь их тоже встречала смерть.

Село Пербола — необычное. Оно построено в узкой балке. И все дома своей задней частью врезаны в гору. Жители, идя с поля, прежде всего попадали на крышу своего дома, а затем по лесенке спускались во дворы. Не знавшие этих особенностей гитлеровцы, попадая на крыши, сваливались с них — с двух с половиной-трехметровой высоты, — ломали себе руки, ноги, головы. К тому же и тут казаки их встречали автоматными очередями, клинками, лопатами, а то и просто дубинами. К вечеру все было кончено. На поле перед селом и во дворах мы насчитывали около шестисот трупов. В живых, сдавшихся в плен, в том числе раненых, оказалось не более девяноста солдат и офицеров.

В этот вечер к нам пришло радостное известие: в Будапеште прозвучал последний выстрел, столица Венгрии

очищена от врага. Нам же предстояло еще очищать лес. От пленных узнали, что там осталась еще группа солдат и офицеров. К счастью, боя вести с ними не пришлось. Оставшиеся проявили благоразумие и 14 февраля сложили оружие.

Приказом Верховного Главнокомандующего за мужество, проявленное в боях за Будапешт, нашему 5-му гвардейскому кавалерийскому корпусу объявлялась благодарность и присваивалось почетное наименование «Будапештского». По этому случаю прислал приветственное письмо Маршал Советского Союза Семен Михайлович Буденный. Прославленный полководец не забывал нас, казаков.

Бои, бои... Даже вот теперь, спустя четыре десятилетия, берет оторопь и удивление, когда думаешь о том, как наши люди выдерживали невероятные тяготы беспрерывных, днем и ночью, боев и переходов. Венгерская зима 1944/45 года не баловала. Марши совершались в обжигающий ледяной дождь, мокрый снег, под пронизывающим ветром. Порой казалось, что на всей земле нет ни одного сухого метра. Невероятная распутица — в грязи тонула вся техника. Шли только воины и лошади, а из техники лишь та, которая была на гусеничном ходу — остальная вся стояла. Это сковывало и действия противника, и, наверное, даже больше, чем нас. И это, в свою очередь, нас даже бодрило и радовало. В ходу была поговорка: «Что русскому здорово, то немцу — смерть!»

Глава пятнадцатая
ПОСЛЕДНИЙ РЕЙД

Мы в Балатонкилити — курортном городке на южном берегу живописного озера Балатон. На отдыхе. Расположились в самых что ни на есть комфортабельных и роскошных виллах и пансионатах. До войны на этом чудесном берегу проводили свой досуг и развлекались венгерские магнаты и аристократия других стран. В войну здесь поправляли здоровье высшие армейские чины Третьего рейха.

Казаки не остыли еще от боев. В памяти все свежо. Жалели, поражаясь мужеству и силе воли бати, гвардии майора Ковальчука. Из мешка он так и выехал на коне. Но с коня сойти уже не смог. Его сняли, положили в бронетранспортер и увезли в госпиталь, а там — сразу на операционный стол. Майора Вдовина пьяная дурь привела на скамью подсудимых, к разжалованию в рядовые и отправке в штрафную роту.

Новым начальником штаба к нам пришел майор Дмитрий Тихонович Петренко, опытный и толковый офицер, умелый организатор. До прихода в полк он работал помощником начальника оперативного отдела в штабе дивизии.

После ликвидации немецко-фашистской группировки в Будапеште нам снова пришлось вести тяжелые бои с танками и пехотой противника в районе села Шимонторнья, в самом селе и на берегах канала Балатон — Дунай.

Но все атаки в течение шестисуточного сражения были успешно отбиты. Гитлеровцы, боясь окружения, вынуждены были улизнуть через узкий коридор между озерами Балатон и Веленце. На берегах канала остались десятки их танков и многие сотни трупов. В этих боях и мы понесли потери. В моей минометной батарее восемь казаков получили ранения. Тяжело ранили командира первого взвода лейтенанта Михаила Тарасенко.

К Михаилу Алексеевичу, к Мише, я был привязан, как к младшему брату. И вот он выбыл. В батарее теперь всегда будет его недоставать. Косая не схватила его своими костлявыми руками. Но только через полтора года, избавившись от осколка в легких, Михаил встал с госпитальной койки, но остался инвалидом. Это в свои-то двадцать с небольшим лет...

В Балатонкилити мы пополнились вооружением, подремонтировали неисправное, привели в божеский вид колесную технику — повозки, брички, тачанки. Здесь нас заново одели, обули. В связи с этим не могу не рассказать историю, которая произошла с нами в Татабанье, смешную и грустную. Там мы попали на удочку одному дельцу, назвавшемуся... «красным капиталистом». Он, владелец обувной фабрики, явился в штаб полка и предложил обуть всех солдат и офицеров в новые сапоги.

— Я презентую, дарю! — заявил он и стал распинаться о том, что Советская Россия и Венгрия теперь союзники, вместе воюют против общего врага и ради победы над Гитлером он не пожалеет ничего.

Широкий жест фабриканта, тем более «красного», был принят командованием полка. В эскадроны и батареи из штаба пошло указание: направить на фабричный склад старшин за сапогами. Старшина моей батареи Чернышев быстро снарядил повозку и поскакал на склад. Там собрались уже старшины всех эскадронов. Их мило встретил невысокий, в шляпе и плаще, господин с холеной мордой. Поклоны, улыбка до ушей, рукопожатия. Потом погрузка. Никакого обмана. Чернышева мы встретили на

батарее как бога. Целый воз сапог, шутка сказать! А сапоги — чудо! Головки, задники, голенища из черной прокатанной кожи, подметки на металлических шпильках, каблуки с подковками. На голенищах с исподней стороны — крепкие ушки. Все рады. Долой рванье и драные кирзухи! В новых сапогах-скороходах теперь до Берлина дотопаем и, пожалуй, домой в них явимся. Иссиня-черные, словно вороненые, с громким скрипом, заграничные — ах как звонкие казачьи шпоры ловко на них легли! В таких чудо-сапогах только бы на смотрины к невестам являться...

Ночью идем на Фельшегаллу под проливным дождем. Не переставал он и утром. Начали месить грязь во встречном бою. Счастливчики, обладатели чудо-сапог, с тревогой стали поглядывать на свои ноги. Сапоги от сырости набухли, у них отставали каблуки и подошвы, и ровно через двое суток полк оказался разутым. Старшине своей батареи, мужичку запасливому и бережливому, мы сказали великое спасибо за то, что он не выбросил, как сделали многие другие старшины, нашей старой и драной, но мало-мальски еще пригодной к носке обуви.

Ну и поматюгали же казаки того прохвоста, дельца и «красного капиталиста», за его презент. Попадись бы он тогда под горячую казачью руку — узнал бы, почем стоят семечки. Гнилье подсунул, гад! Теперь вот, когда обулись в родные кирзухи, некрасивые, но прочные, история с чудо-сапогами смешила. Но тогда, под Фельшегаллой, было не до смеху.

Удивительное свойство человеческой натуры — на отдыхе расслабляться, забывать об опасности. Но нашей вольготной жизни пришел конец, когда однажды ночью немецкие разведчики, приплывшие на лодке с северного берега, украли у нас командира первого взвода эскадрона лейтенанта Егорова. Тому в одиночку захотелось погулять по берегу. После этого усилили охрану. И за десять дней трижды схватывали «гостей» с того берега.

Но отдыху скоро пришел конец. 28 марта вместе с другими командирами подразделений я был вызван в штаб.

Командир полка сказал, что наши «курортные путевки» сегодня кончаются, хватит, понежились под теплым мартовским солнцем, теперь пора за работу приниматься.

— А работа нам предстоит такая. — Ниделевич погасил шутливо-веселое настроение, велел достать карты и, не торопясь, стал рассказывать о новом рейде, теперь уже в Австрийские Альпы, о прорыве через них в Австрию.

Вечером полк выступил. Двигались переменным аллюром: шаг — рысь, шаг — рысь. Лошади шли легко и ходко: в курортном Балатонкилити они тоже хорошо отдохнули и подкормились. На дневку остановились в селе Балатонкерочтур. После марша я осматривал лошадей, повозки, оружие, как все это укрыто от воздушного наблюдения. Беспокоился, как бы в походе не сказалась «курортная» беспечность. Потом ходил в штаб. В батарею вернулся чуть ли не в полдень. Старшина доложил, что люди накормлены, размещены и сейчас отдыхают и что в буржуйском особняке «уступили» комнату какие-то американцы.

— Какие такие американцы? Откуда они тут взялись?

— А кто их знает. Сказали, что мы американцы, вот и все.

Сначала я не придал значения сказанному о каких-то американцах, пропустил мимо ушей. Но не успел привести себя в порядок, как снова был вызван в штаб к майору Петренко. В штабе майор Петренко, извинившись за повторное беспокойство, сообщил мне, что в расположении батареи живут американцы — концессионеры нефтепровода Надьканижа — Будапешт. Так что надо быть осторожнее. Этот народ хитрый и щепетильный. Нашу малейшую нетактичность могут истолковать по-своему, и об этом тотчас же будет знать командование, вплоть до фронта. Так что вы там имейте все это в виду, разъясните это и своим батарейцам.

Все понятно. Будьте спокойны, все будет в порядке. Успокоил начальника штаба, тоже, видимо, порядком уставшего. Скачу снова к себе. Значит, у меня рядом в

одном доме живут вот эти господа американцы, о которых сообщил мне старшина. Иду домой и думаю, как я должен вести себя, если они навяжут «знакомство»?

Не успел я еще закончить очистку себя от дорожной пыли и грязи и побриться, как ко мне пожаловал человек. Он заискивающе и раболепно переложился в поклоне и сказал на смеси русско-венгерского языка о том, что господа американские бизнесмены приглашают господина русского офицера отобедать вместе с ними. Час от часу не легче!.. Все обстоит так, как я и думал. Думаю: отказаться — значит проявить неуважение к союзной стране и прослыть в их глазах невоспитанным, высокомерным и невежливым. Принять их предложение, то есть приглашение — а о чем я буду с ними говорить? Не об уставе же караульной службы. Как бы тут не попасть впросак?.. Дипломатических же миссий исполнять мне не приходилось отроду, а все-таки человеку, застывшему в полупоклоне у дверей, я сказал:

— Передайте, товарищ, там, этим, что я через несколько минут буду.

Человек же ничего, видимо, не понял и ошалело глядел на меня.

— Вы поняли, товарищ?

Я уже знал такого рода людей в буржуазном обществе, и наше обычное и повседневное слово «товарищ» их шокирует. Насмотрелся я на эти рабские, согбенные спины в хваленой заграницe — и в Румынии, и здесь, в Венгрии. И каждый раз, видя такого холуя, хотелось ему сказать, крикнуть прямо по-нашему: «Да разогни ты, дубина, спину! Хватит тебе пресмыкаться и ползать перед кем-то. Стань человеком!» Но махом, одним словом или фразой этакое холуйство и рабство, видимо, не вышибешь. Да и привычка считать себя ниже своих господ у них стала второй натурою.

Человек же, приползший ко мне, еще потоптался и выстрелил скороговоркой: «Будет исполнено, господин ка-

питан!» И задом выпятился в дверь. Я же усмехнулся: вот и я стал «господином».

И передо мной стала новая задача и, наверное, самая тяжелая: я не знаю «господского» застольного этикета. Родился и рос в глухой вятской деревне. У нас с едою все просто. Поставит мать на стол большую миску со щами или супом, в руку ложку — и хлебай, сколько влезет. Или картошку в мундирах. Сыпанет из чугунка на стол и бери, которая на тебя смотрит. Чаще же ломоть хлеба в руку, кружку молока в другую — и ты сыт. Вот и наш этикет. А в армии, на фронте и того проще. Ложка у тебя, как личное оружие, всегда с тобою, за голенищем. Котелок для первого и второго блюда служит. Откуда же мне знать всякие там застольные штучки-дрючки вроде того, в какой руке ложку и ножик держать, что брать вилкой, а что руками, как и когда пользоваться ножом. Наука, которую ни в школе, ни в армии не проходят. Домашняя же наука единственная: если ты не левша, то ложку и вилку надо держать в правой руке.

Минут через десять я уже был готов следовать на званый обед. Даже свежий подворотничок пришил и пуговицы зубным порошком почистил. И, конечно, свои награды, которые успел уже получить, почистил. Ну, а насчет застолья решил: хотя и не знаю всех этих «господских» тонкостей — не велика беда, разберусь. А кое-что, при нужде, и собезьянничаю. Главное — никакого заискивания. Не пристало советскому офицеру-победителю перед кем-то сгибать спину. Да и неизвестно еще, что за птицы эти американцы. Словом, сказал себе, что буду держать хвост пистолетом.

В гостиной хозяина дома их оказалось пятеро. Один из них был, видимо, переводчик и сносно владел русским языком. Наклоном головы я поздоровался сразу со всеми, поблагодарил за приглашение и от имени всей Советской Армии поприветствовал за союзничество и помощь Соединенных Штатов Америки моей стране в этой тяжелой войне против немецко-фашистских захватчиков.

Упомянул о втором фронте и успехах англо-американских войск. Переводчик быстро переводил мою «дипломатическую», как мне казалось, речь на английский язык. Все кивали головами, улыбались и неотрывно смотрели на мою грудь — их привели в восторг мои ордена и медали.

По многу раз они произносили: «О-о-о! О-о!» Когда я закончил свою приветственную речь и сел на указанное мне место, они минут пять еще окали и огокали и, как малые дети, пальцами тыкали мне в грудь, засыпая вопросами — где, когда и за что получены награды. И когда я отвечал — «Это за Кавказ», «За Кубань», «За Таврию», «За Корсунь-Шевченковский», «За Румынию», они изумлялись еще больше. Наконец, переводчик догадался представить мне присутствующих. Хозяин особняка — инженер-нефтяник. Его сын — студент какого-то технического вуза. Трое граждан из Соединенных Штатов Америки — представители нефтяной кампании «Петролиум ойль компани».

Стол, за который мы чинно уселись, был сервирован не по военному времени. На нем тесно было от блюд — ломтиками сыр, жареная индейка, осетрина, зажаренный поросенок, фрукты и разные другие яства, впервые мною увиденные. На средине стола одиноко стоял кувшинчик, видимо, с вином. По правде сказать, есть мне хотелось здорово. Но в чопорной компании надо и самому быть таким же. В волчьей стае надо и самому выть. А вернее, в гостях не дома, что заставят, то и делай!

Из хрустальных фужеров — нет, не пили — маленькими глотками отхлебывали кисловатое, сухое виноградное вино и произносили тосты. Говорили о войне и послевоенном устройстве мира. И, наверное, так чинно и гладко закончился бы наш обед, если бы не мой коновод Миша Перегудов. Он нашел какой-то пустячный предлог, чтобы зайти ко мне. А точнее, не ко мне, а вот к этим буржуям-американцам. Посмотреть, какие они.

Детина двухметрового роста, в плечах косая сажень и силач — моего Казака он легко подымал на своей могу-

чей спине, Миша был по-детски любознательный. Зная эту его слабость, я решил продлить ему «поглядение». Спросив разрешения у хозяина, я пригласил казака к столу. Лица американцев вытянулись. Они залопотали между собою. Переводить их разговор не надо было. Смысл их разговора я понял по их лицам: «Возможно ли, чтобы офицер ел или пил за одним столом с рядовым солдатом?» Пришлось пояснить, что советские офицеры больших и малых рангов и в бою и на отдыхе всегда находятся со своими солдатами. Равенство и братство — это великое завоевание нашей революции.

Хозяин особняка налил из кувшина еще один фужер и подвинул его к моему Михаилу. Михаил же, будь он неладен — на фужере и глаз не остановил, а зачем-то заглянул в кувшинчик и тихо спросил меня: «Не дополнить ли?» Я кивнул. Захватив кувшин, казак исчез. Хозяин и его гости недоуменно переглянулись — они ничего не поняли. А я почувствовал неловкость от своего самоуправства за столом. Гостю неприлично подменять хозяина. Но и в долгу оставаться негоже.

Через минуту мой Перегудов вернулся. Он сбегал к старшине, находившемуся в нашем же дворе, и наполнил кувшин, вмещающий не менее литра, вином. Я думал, что Михаил поставит его на стол или разольет по фужерам. Он же, стоя у стола, поднял его и произнес тост:

— Господа американские граждане! Поскольку вы наши союзнички и, видать, не плохие мужики, то давайте выпьем за русского солдата-победителя! Будьте здоровы и не кашляйте!

Господа американские граждане отхлебнули по глотку из фужеров. Миша — еще раз будь он неладен — приложился к кувшину и одним духом опорожнил его. Крякнул, тыльной стороной ладони обтер губы, занюхал ломтиком белого хлеба и, осторожно поставив кувшин, приложил руку к груди и поклонился со словами: «Благодарствую!» А затем выпрямился, щелкнул каблуками и покинул гостиную.

Американцы и хозяин несколько минут сидели молча и с открытыми ртами — так их поразило происшедшее. Потом все закрутили головами и, смеясь, наперебой бойко заговорили, восторгаясь русским богатырем.

— Богатыри по-богатырски не только пьют, но и воюют по-богатырски, — сказал я, отвечая на восторги и как-то спасая престиж казака. Наш затянувшийся обед был прерван сигналом боевой тревоги.

...Может ли человек предчувствовать свою гибель? Думаю, что может. Я знаю много случаев, которые убеждали меня в этом.

...Майор Ниделевич выходил из себя: бой за село Балатон-Собати складывался неудачно. Попытка взять его с ходу двумя эскадронами успеха не принесла. Полку пришлось вступить в затяжной бой, который никакими планами не предусматривался. Новые броски эскадронов ни к чему не приводили: они с потерями откатывались на исходные позиции, а потом осатаневшие гитлеровцы вообще казаков положили, открыв такой огонь, что головы не поднять. На КП полка приполз капитан Ковтуненко. Он был в первом эскадроне, где обстановка сложилась тяжелейшая: эскадрону угрожало окружение. Доложить ли хотел Ковтуненко о положении эскадрона, высказать ли какое предложение об организации боя — он это часто делал, и к нему командир полка прислушивался — осталось неизвестным. Командир полка встретил Ковтуненко гневным вопросом: почему лежит эскадрон? И, не выслушав ответа помощника начальника штаба, приказал немедленно возвращаться в эскадрон и, чего бы это ни стоило, поднять его в атаку. Корней Ковтуненко никогда, ни при каких обстоятельствах не отказывался от выполнения заданий, какими бы трудными и опасными они ни были. Да что не отказывался, он напрашивался на них, потому что любил риск. В полку Ковтуненко звали счастливым забайкальцем. Счастливым потому, что за все три

фронтовых года он не имел ни ушиба, ни царапины, ни мало-мальской контузии, что было редкостью. Одни говорили: «Бог милует», другие — «В рубашке родился», третьи считали просто везучим человеком. Ковтуненко выслушивал товарищей и широко улыбался.

Этот всегда веселый, сильный духом и красивый офицер, казалось, рожден для военной службы. Храбрость, смелость и мужество — качества, необходимые офицеру, — казалось, тоже были у него врожденные.

Но на этот раз Ковтуненко был неузнаваемым. Его словно бы подменили.

— Товарищ гвардии майор, — голос ПНШ дрогнул, — если вы хотите моей крови, моей смерти... Я пойду и подниму эскадрон...

Остановить бы командиру полка помощника начальника штаба, своего близкого друга, спросить, что с ним, с чем и зачем он появился на КП. Но командиру полка в эту минуту было не до душевного состояния своего подчиненного, хотя и друга. Раздраженный тем, что бой не складывается, до предела взвинченный, Ниделевич совсем не слышал, о чем говорил Корней. До него дошла лишь фраза-просьба: «Разрешите выполнять?», в ответ на которую он махнул рукой и сразу же, забыв о Ковтуненко и обо всем другом, приник к стереотрубе, приблизив к себе сильной оптикой поле боя.

— Лежат, ну ведь лежат сукины сыны!

Через двадцать минут первый эскадрон рванулся в атаку. Велика сила примера на войне. Она подняла и бросила в атаку другие эскадроны. И настолько стремительно, что теперь никакая сила сдержать казаков не могла. И, к радости всех, враг показал спину. Через двадцать минут, да, ровно через двадцать минут не стало и Корнея Ковтуненко. Он упал за окопным бруствером, не сделав и десятка шагов. А по полку в тот же час быстрокрылым, но печальным скакуном пронеслась весть: «Ковтуненко убит». Не у одного меня от этой вести перехватило ды-

хание. «Что? Не может быть!» К сожалению, на войне все может быть.

Похоронили мы Корнея Ковтуненко на окраине пограничного югославского городка Субботица. Это было его единственное желание, которое он, упав, успел сказать подскочившему командиру эскадрона Мише Строганову. Командир полка попытался произнести прощальную речь. Не смог. После первых слов спазмы сдавили горло, и он, махнув рукой, отошел в сторону, привалился к мощному каштану. Плечи его сотряслись от глухих рыданий. А у меня перед глазами, как кадры старого, хорошо знакомого фильма, проскакивали эпизоды из большого пути, пройденного нами вместе. Я вспомнил кубанскую станцию Ярославскую, когда из госпиталя пришел в казачий полк. Первый, кто «оказачивал» меня, был Корней. На Кавказе, в боях за ущелье Пшехо, особенно в ночном рейде на гору Утюг, а затем в Кизлярских бурунах у Каспия я не раз видел Ковтуненко в деле, и меня всегда поражала его дерзкая отвага. Я видел Ковтуненко в горе. Это когда в освобожденном совхозе Моздокском он не нашел ни своей хаты, ни своей семьи. Я видел Корнея в радости. Два дня назад в Балатонкилити он получил письмо от жены, первое письмо за всю войну. Нашлась семья, вернулась в родные места из эвакуации. Корней, может быть, в десятый раз перечитывал коротенькое письмо, и из его сияющих глаз текли слезы. «Понимаешь, Евлампий, сыны мои, казаки мои, Виталька и Арнольд, жена Тамара, все живы и здоровы».

«Да только вот отца своего сынки никогда больше не увидят, — подумал я, и тут острой болью резанула другая мысль: — А тебя увидят твои дочери? Война не кончилась, смерть не перестала гулять...» На похоронах, в кладбищенской тишине почему-то всегда думается о суетности жизни и о смерти. Ковтуненко мы по-мужски, без слез оплакали. И только теперь со всей глубиной поняли, какая это тяжелая утрата для полка.

Нам почти все время не везло с начальником штаба. И вдруг вот сейчас подумалось: а почему на эту должность не был выдвинут капитан Ковтуненко или капитан Никифоров? Опытные, умные и смелые офицеры. Какое замечательное было бы дополнение Ниделевичу и Ковальчуку любого из них. Но нет! Их все время в полку и в его штабе держали на вторых ролях. Где-то кому-то в дивизии или корпусе они, видимо, не нравились. Возможно, виною тому была их прямота. В полк каждый раз при вакансии должности начальника штаба присылали «варягов», и почти всегда неудачных. После И.Н. Поддубного на этой должности нужного офицера так и не было. Както позднее я сказал об этом Ниделевичу. Он выслушал и неожиданно со смехом сказал:

— Ты, гвардии капитан Поникаровский, мои мысли читал. Телепатия, как есть телепатия.

Война не кончилась. Мы пробивались к городу Надьканижа. Командование дивизии нас торопило. Но ускорить движение не удавалось. Враг отчаянно огрызался, цепляясь за каждый населенный пункт, высоту, речушку. Однако дело было не только в фанатичном сопротивлении врага. Виделась Победа, виделся конец войны. Наши войска были на подступах к Берлину. И рисковать жизнью мог далеко не каждый. Казаки не кидались в атаки, как прежде, очертя голову. Зато стал кидаться командир полка. Все знали: майор Ниделевич очень храбрый офицер. В этих же боях его обычная разумная храбрость частенько граничила с безрассудством. Ну разве не безрассудство командира полка, когда он, бросив КП, появляется в наступающей цепи спешенных эскадронов и в открытом поле, насквозь простреливаемом пулеметным и ружейным огнем противника, во весь рост неторопливо идет от подразделения к подразделению, постегивает, постукивает стеком по голенищу сапога и раздраженно покрикивает:

— Вперед... мать вашу, быстрее!

В другом случае на своей машине он вырывается вперед боевых порядков эскадронов и на лесной дороге нарывается на вражескую самоходку и сталкивается с нею. Самоходка в упор расстреливает машину. Шофер гибнет. Машина горит. А Ниделевичу и разведчику Халкотяну каким-то чудом удается вывалиться из машины в кювет и, скрываясь за деревьями, где ползком, где перебежками, вернуться в боевые порядки эскадронов. На нем оказываются пробитыми пулями кубанка и куртка. Молодые офицеры и казаки, недавно пришедшие на пополнение, были в восторге от храбрости командира полка, готовы были легенды складывать о нем. А мы, ветераны полка, глубоко уважая Михаила Федоровича, осуждали его за непутную храбрость. И жалели, что в этом, по всей видимости, последнем рейде с нами нет Антона Яковлевича Ковальчука. Только он мог сдерживать Ниделевича от поступков, совсем не вызываемых необходимостью. Только он, Антон Яковлевич, силой своего авторитета и военных знаний мог удерживать командира от дачи необдуманных боевых приказов.

Бой за село Галаш. Предпринятые эскадронами две атаки захлебнулись в самом начале. Возможности обойти село нет: оно как пуп торчало на открытом месте. Командир полка нервничал. Топтаться перед селом не входило ни в какие расчеты. Вызывает меня.

— Слушай, Поникаровский, наши сабельники, стало быть, лежат и загорают. Сажай-ка, голубчик, своих орловминометчиков на брички и на галопе прорывайся к селу. Там дави огнем точки. Словом, покажи, как надо ходить в атаку.

Я молчу, раздумывая над тем, что не идти бы на брички в атаку, а сначала разведать и засечь огневые точки, потом, заняв огневую позицию на опушке леса, накрыть их массированным огнем. Получилось бы лучше. Но я не успеваю додумать, тем более что-либо сказать.

— Ты меня понял? — нетерпеливо спрашивает Ниделевич.

— Понял, товарищ гвардии майор, но...

— Обойдемся без «но». — Голос Ниделевича звучит резко и повелительно. Он уже принял решение, и никакие советы ему не нужны.

— Это... приказ?

— Да, приказ! — Ниделевич глянул мне в глаза и, сбавив тон, уже мягче добавил: — И просьба. Рискую вами. Но надо, понимаешь, надо!

Батарея стояла в глубине леса в походном положении. Быстро вывожу ее к закрайку леса. Командирам взводов старшему сержанту Комарову (Комаров принял взвод после ранения лейтенанта Тарасенко) и лейтенанту Мостовому ставлю задачу: развернуть по фронту по две брички впереди и по две сзади на дистанции друг от друга в двадцать-тридцать метров и на галопе рвануть к селу. При потерях, какими бы они ни были, не останавливаться. Если будут убиты или ранены лошади, минометы и ящики с минами на свои плечи — и к селу. Достигнув села, за стенами домов привести минометы в боевое положение и начать стрельбу, чтобы в первую очередь подавить вражеские огневые точки. Лейтенанту Зайцеву (лейтенант пришел к нам на пополнение в селе Алчуг и заменил Рыбалкина) занять огневую позицию на опушке леса и огнем поддержать прорыв.

Поставив задачу, спрашиваю почти так же, как спрашивал меня командир полка:

— Задачу поняли?

— Понять-то поняли, да только не по правилам...

— Обсуждению не подлежит. Это приказ и личная просьба командира полка. Готовность через пятнадцать минут.

Взвод Зайцева открывает интенсивный огонь по окраине села. Загорается дом. Дым ползает по земле. Я подхожу к бричкам.

— Ну, с богом, сынки!

Всхрапывающие лошади с места берут в карьер.

...Тут я снова обращаюсь к письму старшего сержанта Никифора Петровича Комарова. Вот как он вспоминает тот бой:

«3 апреля 1945 года мы подошли лесом к селу Галаш. На краю его стоял сарай, до него было примерно пятьсот метров. Вы приказали прорваться к тому сараю на бричках и оттуда поддержать огнем наступавшие эскадроны.

Первым я послал второй расчет Терещенко, сам же перебежками начал преодолевать открытую местность до сарая. На второй бричке пошел галопом расчет третьего взвода, потом следующие. По бричкам откуда-то слева от села била самоходка. Брички с расчетами благополучно проскочили и стали в укрытие за кирпичным сараем. Я и Мостовой проскочили тоже благополучно. Ездовому Семену Кологривому пуля прошла от виска до виска. Но лошади уже с мертвым ездовым, не выпустившим из рук вожжей, дотянули до сарая.

Когда брички укрылись за сараем и минометы были приведены к бою, мы начали вести огонь по противнику, который от сарая был всего в двухстах метрах. Мне хотелось выдвинуться на угол сарая, чтобы оттуда корректировать огонь по самоходке. Но только я приподнялся, чтобы перебежать, ударил снаряд, и мне в правую руку пониже плеча влезло два осколка, один царапнул возле правого уха и еще один маленький, примерно с просяное зерно, угодил в левую ногу выше колена. Его мне оставил хирург «на память». Осколок этот и сейчас у меня в ноге.

Мостовой взял тогда команду на себя, а меня отправил в батарею. Мне сделали перевязку. Я пошел в медсанбат, оттуда в госпиталь. В госпитале мне вытащили осколки из руки, и на третий день я оттуда бежал. Вас, то есть батарею, нашел уже в Австрии.

Здесь, под селом Галашем, у нас, по-моему, получилось точно так же, как это было под Малой Токмачкой. Наша минометная батарея наступала там впереди эскадронов...»

В бою за село Галаш батарея потеряла пять казаков, шесть лошадей и одну бричку с минометом.

Но могло быть и хуже. Этот случай кто-то из доморощенных стратегов пытался выдать чуть ли не за новое в военной науке. Что, мол, артиллеристы вполне способны самостоятельно, в одиночку решать боевые задачи. А дело-то состояло лишь в том, чтобы оправдать опрометчивое решение командира полка, и, пожалуй, только в этом. Ничего нового для военной науки мы здесь не открыли.

Нервозность командира полка, скоропалительность его некоторых решений в последних боях, неоправданный риск на поле боя мы, командиры эскадронов и батарей, связывали с уходом от него жены, которую он горячо любил. Именно с того предательского, иного определения мы не находили, ее письма, полученного Михаилом Федоровичем, стали проявляться его отрицательные качества. Изменнице мы послали попавшую на глаза газетную вырезку со стихотворным симоновским «Открытым письмом женщине из города Вичуга». Уж очень была сходная ситуация. Поэт нашел слова, полные горечи и гнева, которые владели и нашими чувствами.

Мы уважали Михаила Федоровича Ниделевича, больше — любили его. Любили за трезвость и ясность мысли, за прямоту и честность, за решительность и справедливость, за умение не таить на кого-либо зла. Он прошел с нами почти весь путь сначала комиссаром, затем командиром полка. Он знал нас как облупленных, мы знали его. И прощали ему человеческие слабости, которых он, как и всякий другой, не был лишен: излишнюю горячность и несдержанность в выражениях. Мы боялись, чтобы он, взвинченный и выбитый из колеи изменой женщины, не совершил какой-нибудь необдуманный шаг и по-глупому не погиб.

Однажды, еще в Румынии, после обычного совещания в штабе мы зашли к Корнею Ковтуненко.

— Что-то надо делать, мужики, как-то спасать Михаила Федоровича, — сказал опечаленный Корней, — а то из-за блудливой бабенки можем потерять командира.

Скорый на выдумку и решения командир первого эскадрона Николай Сапунов тут же предложил:

— А что ломать голову? Клин вышибать надо клином. Женить его, и все станет на свое место. Невестке в отместку. Тем более, как я замечаю, к штабной медсестре Вале он, кажется, неравнодушен. Правда, она не по его комплекции, сильно худющая. Горсть костей, завернутых в тряпку. И при его натуре и горячем характере не выдержит его, косточки ее захрустят. Смертоубийство может случиться. Но я полагаю, что ничего. Как говорят хорошие люди, были бы кости, а мясо нарастет, и мышь копною сена тоже не задавить, — продолжал балагурить наш Колобок.

Мысль, поданная Сапуновым, нам всем понравилась. И, не откладывая дела, мы тут же пригласили «на переговоры» Валентину.

— А что же, Валя, замуж вам не пора? — пошел в лобовую атаку Сапунов.

— Конечно, пора, да вот жениха еще не нашла, — шутливо ответила девушка.

— Мы не шутим, Валя, — сказал я, — за женихом дело не станет.

— Может, назовете его хотя бы по секрету? — Видим, что Валентина все еще не может понять, разыгрываем ее мы или всерьез ведем разговор.

— А вот сейчас и назовем. Секретов в этом деле у нас нет.

— Интересно! А все-таки скажите, кто же он, мой жених?

— Гвардии майор Ниделевич Михаил Федорович, — выпалил я.

Услышав это, наша невеста вспыхнула огнем, догадавшись о ее с майором чистых, но много говорящих

взглядах. Потом прищурилась и, покачав головой, хмуро так обвела нас взглядом и произнесла:

— Что же, станичники, господа офицеры, собранием, вот так, решаете мою судьбу? Может, прения откроете и голосование устроите? А? Постыдились бы... А вот вам, гвардии капитан Поникаровский, сватом быть не пристало. Не умеете вы это делать. Серьезный как будто офицер, седина уже на висках, а ведете себя, как...

Мы поняли, что переборщили со своей атакою со сватовством. И Валя почему-то остановила свой взгляд на мне. Она не сказала, как я себя веду, но нам всем был ясен ее упрек за нетактичность. Неловко как-то у нас все это получилось, некрасиво. Ни за что ни про что обидели девушку. Пришлось быстро давать отбой и отходить на исходные позиции. Мы, перебивая друг друга, начали объяснять Вале сложившуюся ситуацию — что майор ведет себя в последнее время бесшабашно и, кажется, ищет смерти. А мы обязаны его сберечь. Он очень нужен полку, и заменить его сейчас никто не может. Что сделать это и лучше всех нас можете только вы, Валя, и поэтому просим вас как женщину, как дочь, как доброго друга, окружить командира полка своим вниманием и заботой и, наконец, своим обаянием. Мы знаем, что вы ему по душе.

Валя же молча нас выслушала и, не сказав ни слова, быстро ушла.

К нашему изумлению, наша дипломатия в чувствах, как мы скоро убедились, не прошла бесследно. Наша Валентина действительно — не знаем, жертвуя ли собой или выполняя нашу просьбу — но и в самом деле прониклась к майору сердечностью и так, как нужно, окружила его вниманием и заботой. А кое в чем даже преуспела. Достигла большего, чем мы от нее хотели. Теперь мы часто на марше, приезжая в голову колонны по вызову и без вызова с докладом, видели, что наша Валя сидит этакой королевой в командирской бурке и кубанке с красным верхом и таким же башлыком за спиною, в фаэтоне. А хо-

зяин его — командир полка, как молодой гусар в легком казакине, опушенном серым каракулем, гарцует верхом на коне в строю, беспрерывно проверяя колонну полка. А чаще всего — за фаэтоном, как бы охраняя свое «сокровище». Возвращаясь к себе после доклада, многие из озорства задают вопрос: «Кто ведет сегодня полк?» И так же в шутку отвечают: «Сегодня полк ведет медсестра Валя!»

О нашей «спасительной» операции командира полка узнал Антон Яковлевич и отнесся к этому неодобрительно, считая ее ненужной и даже вредной. В положительное влияние Вали на командира полка он не верил. Потому что был убежден: когда мужчины поддаются чарам женщины, то теряют голову, а командиры любых рангов теряют власть над людьми, меньше уделяют внимания своим обязанностям. И в боевой обстановке это приводит к большим неприятностям, и даже к гибели. Уважая Ниделевича, он вот этого-то и боялся. А нас, «сватов», как следует отругал — заботы замполиту, оказалось, мы прибавили.

Кое-кто из офицеров начал пользоваться и даже злоупотреблять Валиным влиянием на командира полка. Провинившийся в чем-то при помощи Вали уходил от гнева командира полка и от заслуженного наказания. Простая дружба переросла во взаимную, по-настоящему крепкую фронтовую любовь.

Вскоре после войны Михаил Федорович сыграл свадьбу со своей бывшей однополчанкой. Сложилась семья.

До города Надьканиже мы не дошли. Его брали другие дивизии корпуса совместно с войсками 3-го Украинского фронта. Нашу 11-ю командование повернуло на север, в Австрийские Альпы. Задачу поставили трудную: пробиться и занять австрийский городок Фишбах, перерезать автостраду Белград — Вена, закрыть пути отхода

фашистским войскам из Югославии и Венгрии в Австрию и Южную Германию.

Командование знало, что выполнение этой задачи потребует от нас большого напряжения сил и боевого мастерства. Видимо, поэтому было объявлено, что при выполнении этой задачи все участники этой операции будут награждены орденами и медалями. А отличившимся офицерам, сержантам и старшинам будет присвоено очередное воинское звание.

Венгерская весна в самом разгаре, солнечно и тепло. Леса оделись в зеленый наряд, а сады зацвели в кипени цветов и аромате запахов. Казаки, землеробы, затосковали. Пахать бы землю сейчас и сеять хлеб, усердно работать в саду, а не играть в прятки со смертью, не воевать. Но надо в первую очередь, да поскорее, кончать с врагом и с самой войной.

И вот мы на марше. Снова кручи, скалы, ущелья с бурными речками, узкие дороги и мало нахоженные тропы. Командование трудностей не скрывало. Наоборот, предупреждало как о рейде наиболее тяжелом. Движение полка с самого начала осложнилось. На двое суток подряд зарядил дождь. Мутные дождевые потоки ревущими водопадами низвергались со скал, текли по дорогам и тропам, грохотали в ущельях. Речки вздулись и тащили огромные каменные глыбы. Но несмотря ни на что, мы пробивались вперед. И нежданные-негаданные, словно с неба, свалились на горное селение Минихвальд. Дождь перестал. Но от этого легче не стало. Теперь немцы всполошились повсюду. Жди засад и всяких других каверз. Так и случилось. Отходя, гитлеровцы рвали скалы, делали завалы на дорогах, подрывали и сжигали мосты через ущелья и речки, создавали минные поля, оставляли на скалах «кукушек». Для нас в этом не было ничего нового.

Все это мы видели в Карпатах. А когда знаешь все уловки противника, воевать легче. Никакая неожиданность не может застать врасплох. Действовали привычно и слаженно. Больших задержек не было. Впрочем,

встречалось и новое. Гитлеровцы создали фольксштурм. По замыслу, это должно быть нечто подобное нашему народному ополчению. Но нельзя сравнивать несравнимое. Наше ополчение создавал сам народ. В него пришли добровольцы, до конца убежденные в правоте своего дела. Пришли люди, которые лично завоевали, а затем строили и укрепляли советскую власть. Они снова взялись за оружие, чтобы отстоять и защитить от врага свою Родину и отчизну, советскую власть. Примером этому может служить наш полк, наша дивизия, родившаяся из народного ополчения — казаков Хопра и Дона. Их костяк состоял из бойцов Первой конной армии, красных партизан, партийных и советских работников, ставших на защиту Родины по зову сердца.

А фольксштурм? Какие идеи их вдохновляли? Ненависть к коммунизму. Создавая воинские формирования из старых и дряхлых бауэров, чиновников и торгашей, гитлеровцы пытались оттянуть свой конец, который неумолимо приближался. В Альпах мы встретились с этим воинством. Ни жалости к нему не было, ни сострадания.

Встретились мы и с другим воинством — с формированиями «Гитлерюгенда». Гитлеровцы поставили под ружье четырнадцати-шестнадцатилетних мальчишек. Возьмешь таких вояк в плен, посмотришь на них, и сердце разрывается от боли и гнева. Нет, не на мальчишек, а на тех, кто их вооружил и погнал в бой. «Что делают, сволочи! Будущее нации губят!» А мальчишки как мальчишки: одни словно звереныши на тебя смотрят — пропаганда сделала свое дело, вдолбила им в голову ненависть, другие же трясутся от страха и горькими слезами плачут и просятся к мамам. Думаешь: надрать бы уши, дать хорошую трепку, спустить штаны да всыпать солдатским ремешком по мягкому месту — ступай-ка домой. Да больше не смей браться ни за «шмайссер», ни за гранату, ни за фаустпатрон. Эти игрушки не для тебя.

И еще новое. Отступая, гитлеровцы после себя обычно оставляли «выжженную землю». А тут оставалось все

целое, теплое, обжитое. Но все заминированное: двери, детские коляски, настенные часы, стулья, книги, дрова, даже трупы людей. Куда ни сунься — в дом ли, в сарай ли, в подвал ли, до чего ни дотронься — всюду взрывы, всюду смерть. Я на минуту представил: вернулась домой семья, угнанная гитлеровцами в горы, австрийская, немецкая ли. Пошел хозяин за дровишками, взял полено — взрыв. Подняла дочка чайник — взрыв. Потянулся ребенок к игрушке — взрыв. Старуха присела на диван — взрыв. И мне стало страшно. Фашизм и смерть, смерть и фашизм, понятия эти, как братья-близнецы.

На рассвете 16 апреля, на сутки раньше назначенного срока, мы достигли городка Фишбаха и оседлали автостраду: наш 37-й полк — с юга, 39-й с севера. Городок еще спал. Войск никаких в нем не было. Проснулись жители, глазам своим не верят: вокруг их городка советские солдаты, казаки!

По утреннему холодку, когда двигатели тянут в полную силу и солнце не печет голову, они, шесть вражеских мотоциклистов, спешили в Вену. Но перед Фишбахом им пришлось остановиться. Мы «гостеприимно» их встретили и угостили чем «бог послал». Соседи наши из 39-го тоже вскоре принимали ранних гостей. Те, наоборот, из Вены спешили. Только не все захотели «угощаться», некоторым удалось улизнуть. После этих визитов более суток на автостраде было спокойно. Опыт нам подсказывал: затишье перед грозой. Однако гроза разразилась не сразу. Сначала пожаловала разведка: к нам — с юга, к соседям — с севера. Не теряя времени, мы готовились к встрече с большими силами противника. Хорошо еще, что к нам успели подойти полковые и дивизионные тылы и артиллерийские батареи. И прибыл еще отряд пограничников.

Гитлеровцы навалились на нас с обеих сторон городка. Атаки их, поддержанные артиллерией, тяжелыми минометами и танками, следовали одна за другой и со все нарастающей силой. Сначала мы их легко отбивали.

Но они, несмотря на большие потери, лезли с упрямым остервенением и фанатизмом. Теперь мы уже дрались не с двух сторон, а в полном окружении. И уже пятые сутки. Наше положение ухудшалось. А напряжение боев росло. Чтобы представить его, я приведу лишь один пример. За эти пять суток один только пулеметный расчет старшего сержанта Михаила Субботина из второго эскадрона сделал по противнику 21 тысячу выстрелов. 84 пулеметные ленты израсходовал! На исходе пятых суток из штаба корпуса поступила радиограмма: Фишбах оставить, отходить по той же дороге, по которой шли.

Мы стали готовиться к выходу из окружения.

Противника обманула наша сильнейшая артиллерийско-минометная подготовка. Он ждал контратаки, а полки, быстро свернувшись, под покровом ночи выскользнули из Фишбаха. Но нашу дорогу оседлали альпийские егеря, спустившиеся с гор. Они закрепились в селе Виницхель. Нам надо пробивать, проламывать этот крепкий заслон. И без промедления. Очухаются гитлеровцы в Фишбахе, кинутся следом, и мы окажемся между молотом и наковальней.

Удивительная это была атака, проведенная, как потом говорили пленные, не по «военным правилам». На село, вражеские оборонительные позиции, мы кинулись сразу всем полком — сабельники, пулеметчики на тачанках, танки (их у нас было три), артиллерийские упряжки, автомашины, кухни. Со стрельбой, грохотом, свистом, улюлюканьем, гиками. Со стороны поглядеть — дикая орда неслась, неудержимая и страшная. Брички и тачанки, как лодки в шторм, кидало из стороны в сторону, они ныряли и прыгали на выбоинах и кочках. Ездовые, поднявшись на ноги, нахлестывали коней. Помню: я скакал на своем Казаке, не видя ничего, кроме летевшей впереди тачанки командира полка и прижатых ушей Казака. Вокруг меня все тонуло в поднявшейся туче пыли, в грохоте, скрежете, стуке и пронзительном реве.

Горные егеря побежали. А полк, проскочив горящее село, остановился. Здесь он пропустил вперед штаб дивизии, 39-й полк и отряд пограничников, а сам перешел в арьергард, чтобы охранять дорогу с тыла. Двинулись дальше. Прошли село Вольдбах, в лесу устроили привал. Сюда вернулась посланная вперед разведка. Дорога впереди снова оказалась перекрытой противником, и силы его значительно большие, чем в Виницхеле. Есть тяжелое вооружение: самоходные артиллерийские установки и бронетранспортеры. Привальный отдых пришлось закруглять. Снова бой. Теперь оборонительный. Он продолжался в течение трех суток, пока не подошли к нам стрелковые части. 27 апреля дивизия окончательно вышла из боев и расположилась в городке Чайдегендорф.

Тяжел для нас был этот, последний, рейд. Обещанных наград и повышений в звании никто из нас не получил. Мы с большим трудом дошли до Фишбаха, перерезали и оседлали автостраду Белград — Вена, но удержать ее до подхода других частей фронта не смогли, хотя и не по нашей вине. Но так или иначе, поставленную перед нами задачу выполнили не полностью и не до конца.

Здесь, в Чайдегендорфе, к нам и пришла весть, которую ждал весь мир: о капитуляции Германии, о нашей великой Победе. В те самые первые счастливые минуты мне почему-то вдруг вспомнился старый воин, мой коновод Николай Иванович Чернышев. Он непременно сказал бы: «Ну вот и окончена военная работа. Теперь, немножко передохнув, надо браться за мирную работу».

На всех фронтах смолкли пушки, а в Австрийских Альпах все еще шли бои и умирали солдаты. На что еще надеялись гитлеровские выкормыши, чего еще ждали, не складывая оружия, понять было трудно. Только 16 мая последняя их группа поняла, что дальнейшее их сопротивление бесполезно, и сложила оружие.

Домой мы шли своим ходом. Шли через всю Венгрию и Румынию. В конном строю. Шли через места недавно отгремевших боев. Как-то трудно, непри-

вычно было представить, что в летнем синем небе не появятся теперь самолеты со зловещими крестами на крыльях, а из вон той недальней рощи не хлестнут смертельным свинцом пулеметы. Этот марш длиною около двух тысяч километров мы назвали маршем Победы.

На марше Победы по Румынии в нашем полку произошел курьезный случай.

Лихие и отчаянные головушки из первого эскадрона привели и подарили своему командиру отлично выезженного, серого в яблоках, картинно красивого жеребца. Был негласный приказ по всей дивизии забирать с собой всех обнаруженных в пути следования по территории Венгрии и Румынии лошадей и ставить их в строй, так как конское поголовье в нашей стране война почти полностью «съела». Гвардии капитан Строганов — командир эскадрона от такого подарка, конечно, не отказался. А потом... горько сожалел. А дело все состояло лишь в том, что этот картинный жеребец был «найден» казаками эскадрона в королевской загородной вилле около города Темишиоры и принадлежал лично королю Румынии, Михаю. С большим сожалением жеребца пришлось возвратить владельцу. Командир же эскадрона Михаил Строганов, как это было объявлено в приказе по полку, был понижен в звании (правда, только до границы нашей страны) на одну ступень, то есть стал старшим лейтенантом. Королю Румынии Михаю об этом было тотчас сообщено, и конфликт был улажен.

До войны в нашей стране лишь немногие ездили за границу. О туризме, путешествиях и разных там круизах я и мои сверстники понятия не имели. Нам, советским людям, в те годы было не до загрантуризма и путешествий. Мы считали это уделом бездельников, исключая, конечно, поездки по служебным делам и официальных лиц. А вот сейчас, в эту войну, в силу необходимости, мы все поголовно стали туристами, только военными.

Когда мы перешли, преследуя противника, рубеж своей Родины, каждого из нас интересовало: а какая она, за-

граница? Пришли, увидели и... разочаровались. «Народ здесь не тот, — говорили между собою казаки, — единоличный, собственники».

Первой страной была Румыния. Вот я и хочу рассказать читателю, какой она предстала перед нашим взором периода тех лет.

Румынский город поразил нас широко развитым кустарным промыслом и торгашеством, а деревня нищетой и патриархальщиною. С нашим приходом городские кустари и ремесленники очень быстро приспособились даже к нашим военным нуждам: стали изготовлять крючки и пуговицы, звездочки для головных уборов и погон, подворотнички, погоны для любого звания и ранга вплоть до генеральских. Ковали шпоры, стремена, подковы и ухнали, шили фуражки, пилотки и шапки военного образца по заказу и оптом. Дошло до того, что начали отливать и штамповать ордена и медали, только не ставили на них порядковых номеров. В общем, держали нос по ветру. Торгаши развернули большую сеть различных питейных и увеселительных заведений. В маленьком городке Фокшаны, с населением около 30 тысяч, кто-то насчитал более десяти таких заведений.

Румынская деревня с ее мелкотоварным хозяйством напоминала нашу дореволюционную. На маленьких клочках земли румынский крестьянин выращивал кукурузу (основная культура), коноплю, подсолнух, картофель, овощи и фрукты, предпочтительно виноград. Благо, позволяла все это выращивать их благодатная природа. Зерно кукурузы румынский крестьянин размалывал и варил мамалыгу, которая заменяла им хлеб. Семена подсолнуха и конопли давили на масло, а жмых шел на корм скоту, стебли этих культур шли на кровлю всех построек и на топливо. Виноград и другие фрукты перерабатывались на соки и вино. Мне не раз удавалось видеть, как это делается. Мешок, наполненный виноградными гроздьями, кладут в деревянное корыто или кадку и босыми ногами на нем топчутся. Топчутся до тех пор, когда все

ягоды будут раздавлены. Затем сок сливают в бочки, пропуская его через ткань или сито. Сок перебродит — и готово сухое вино. В торговле крестьянин покупал лишь самое необходимое — спички, мыло, керосин... Да и это не всем было доступно. Многие хаты освещались лучиной, когда-то печально воспетой на Руси, и жирниками. Огонь добывали огнивом-кресалом. Одежда и обувь крестьянина тоже домашнего изготовления. Из конопли и шерсти овец на деревянных ткацких станках (у нас называли их кроснами) ткались холсты и шерстяные полотна, из них шили одежду. Из шкур домашнего скота сами же делали кожу, из которой шили обувь. Жилые дома в деревне, как правило, деревянные и реже саманные с глухими, темными сенями. Окна в домах узкие, маленькие и обязательно зарешеченные железными прутьями. Дверь на массивных железных полосах, закрепленных болтами и гайками, замки огромные, амбарного типа. Вот это-то нас больше всего и забавляло. «Что это? — спрашивали мы. — Домашняя тюрьма?» «Нет, — нам отвечали, — это мой дом, а мой дом — это ж моя крепость». — «А какие же богатства вы укрываете в своей крепости?» Люди, не лишенные юмора, отвечали: «Нищету».

Усадьбы, на которых стояли «дома-крепости», огорожены тыном из лозы, реже заборами из камня-плитняка. Скот — козы и овцы, коровы и лошади содержатся в плетеных стайках и хлевах.

Венгрию же мы увидели в полном контрасте с Румынией. Первое, что запомнилось, это всюду прекрасные дороги. Все города связаны с Будапештом, а многие и между собою асфальтовыми или асфальтобетонными автодорогами с разделительной полосой для двухстороннего движения. По бокам имеются насаждения фруктовых, тутовых или декоративных деревьев. Кроны их на некоторых участках сомкнулись через дорогу. Катишь по такой дороге, словно по зеленому коридору. Свежий душистый воздух, прохлада даже при знойном солнце. Этакая красота! Проселочные дороги почти все тоже

гравийно-песчаные и тоже в густом зеленом наряде по окаемам. Какой бы слякотной в ту зиму сорок пятого года погода ни была, дороги хорошо нам помогали делать стремительные 100-километровые марши за одну ночь.

Села здесь несравненно богаче румынских. Дома больше всего кирпичные или шлакоблочные и реже деревяннорубленые или саманные. Каждый дом имеет красивый вид и построен как бы на века. Кровли их сплошь из жести, красной черепицы или из асбестоцементных плиток, редко из рубероида. У каждого дома имеется остекленная веранда или открытая терраса. Оконные проемы, двери и даже стены домов покрашены в теплые, веселые тона. Усадьбы со стороны улицы обнесены невысокими каменными заборами, с воротами и калитками из металла. На усадьбах у всех домов сад из фруктовых деревьев, ягодников и цветников. Живи, радуйся и отдыхай!

Обстановка в венгерских домах тоже не та, что в Румынии. Там — скамейки, табуретки, шкафы и полки для посуды, кровати, чаще самодельной грубой работы, печи глинобитные, посуда деревянная, глиняная и стеклянная. Здесь же, в Венгрии, вся мебель заводская, полированная, посуда фаянсовая, фарфоровая и даже хрустальная, металлическая из алюминия, луженая и никелированная. Печи кирпичные, многие облицованы изразцовой плиткой. На металлических кроватях не домотканые дерюжки, а пуховики и атласные покрывала. Освещение ламповое и электрическое. Примечательно и то, что каждое венгерское село имеет как бы свою копию, полевой рабочий выселок, расположенный на огородах и виноградниках. Выселок этот тоже с добротными, из камня или кирпича, постройками. Главная постройка — производственное помещение, в котором размещается оборудование для переработки урожая — мельницы-крупорушки, дробилки, прессы для давления винограда и других фруктов, различные инструменты. Один угол или комната отведена под жилье. Под этим производственным помещением находится просторный подвал, в нем хранятся вино,

соки, соленья и варенья, мясные и молочные продукты. Венгерский крестьянин выращивает в поле все зерновые культуры, нужные для хлеба, кукурузу, коноплю, подсолнечник и в больших размерах красный перец — паприку.

Многие жители села слушают радио, румыны же об этом и понятия не имеют.

Города Венгрии по своему развитию экономики и культуры нисколько не уступают нашим городам и городам других стран.

В Австрии же, куда мы пришли в конце войны, уклад жизни и экономика отличаются и от Венгрии, и от Румынии. Проходя через Альпы, мы побывали в более десятка населенных пунктов, — фольварков, разбросанных по горным долинам и плато. И не встретили ни одного жителя. Немцы, отступая, угоняли всех их в горы.

Здесь мы увидели настоящие крепости — крестьянские дома, стоящие в одиночку на живописном плато или на горной круче, обнесенные трехметровой высоты заборами из толстых бревен-стояков, заостренных вверху и плотно прижатых друг к другу. Попасть в такой глухой двор невозможно. Даже снаряды и мины не всегда их проламывали.

В таких «крепостях» дома обыкновенно деревянные, с крутоскатными крышами, над ними мансарды. Окна в доме прорублены с трех сторон и не одинаковые. Одни обычные прямоугольные, другие продольные окна-щели, в одно, в два бревна, которые могли служить и, видимо, служили бойницами, а мансарды — наблюдательными пунктами. Внутри дома обыкновенно две комнаты с общей глинобитной печью. Одна комната с полатями и полками по стенам, ядреной и массивной мебелью. Вторая — горница с городской обстановкой.

В большом дворе есть все необходимое как бы для долгой осады — колодец или родник, гумно-ток, погреб, мельница-крупорушка и баня. Одна половина усадьбы занята садом и огородом. В австрийском городе нам побывать не удалось. Не успели.

Но мы, военные туристы-солдаты, были уже по горло сыты заграницею. Всех нас грызла тоска по родине. Тяжкая это болезнь, ностальгия. И когда пришел час возвращаться домой, с каким же великим удовольствием, страстью, подъемом и радостью пелось:

«Много верст в походах пройдено...»

В знаменитом румынском городке Фокшаны мы погрузились в вагоны-теплушки. И помчались на восток. С красных вагонных боков большими белыми буквами запели гордые слова: «ВСТРЕЧАЙ, РОДИНА, СВОИХ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!»

Ах, как хорошо на душе!

Глава шестнадцатая
ДАВНЫМ-ДАВНО ОКОНЧЕН БОЙ

Прошло уже четыре десятилетия, как закончилась Великая Отечественная война. Но сколько бы лет ни прошло — война не забудется. А для тех, кто ее прошел как исполнитель, она будет в сердцах до последнего вздоха. Война является к нам в тревожных снах. Она отдается болью старых ран. А то напомнит о себе песней тех далеких лет, то обелиском или памятником на площади или где-то у дороги...

Я переписываюсь со многими еще живыми однополчанами и родственниками тех, кто уже ушел в небытие. Сегодняшние письма, как и треугольнички военных лет, несут на своих страницах радость, волнение, тревогу и боль. Воспоминания... Без конца воспоминания. В одних рассказы о запомнившихся эпизодах фронтовой жизни, в других — раздумья о товарищах, дошедших и не дошедших до края войны, о пережитом и об ушедших из жизни в последние годы.

Но как бы тяжко ни сложилась их жизнь в послевоенный период, фронтовики не пали духом. Подтянув ремни и не редко стиснув зубы, все они принялись за восстановление народного хозяйства, порушенного войной. Да и как не радоваться тому, что мои друзья, однополчане, нашли свое место в жизни и изо всех сил трудились, а многие трудятся и сейчас на благо нашей Родины. Что все они были и есть уважаемые и достойные люди.

Прежде чем поставить точку в повествовании о ратных делах и суровых днях войны, нужно ответить на один вопрос, который непременно задают мне читатели в своих письмах или при встрече где-либо на вечере — о послевоенных судьбах героев книги и их месте в жизни.

Ответ этот начну с себя. Из рядов Советской Армии я был уволен в марте 1946 года. К тому времени в город на юге России, в котором размещалась наша воинская часть, ко мне приехала из Вологды жена с двумя дочками. Откровенно говоря, уходить мне из армии на «гражданку» не хотелось. Военная служба стала моей профессией и моей жизнью. А гражданской специальности я никакой не имел. Работа же секретаря или заведующим хозяйством, которую я выполнял до начала войны, теперь меня уже не удовлетворяла, да и не обеспечивала нормальной жизни семье. Но приказ! Хочешь не хочешь, а ищи себе другое дело. Искать мне другое дело пришлось недолго. В Каменском горкоме партии Ростовской области, куда я обратился на второй же день после увольнения, мне порекомендовали принять должность председателя Горплана. С чем едят эту работу и должность, какой у нее вкус, я совершенно не знал и честно признался в этом. Секретарь горкома партии, выслушав, хлопнул меня по плечу и сказал: «Быть тебе плановиком!» — и тут же порекомендовал учиться в институте.

Я последовал доброму совету, подумав, что не боги же горшки обжигают. И работу в Горплане, хотя и с немалым трудом, скоро освоил. В 1951 году закончил учебу в институте и получил профессию экономиста. Госплан РСФСР направил меня на работу в Забайкалье, Читинскую область.

Забайкалье... Что я, вятский парень, знал об этом далеком для меня крае? Почти ничего. Правда, в школе по географии я кое-какие сведения об этом крае знал. В учебнике по географии было несколько строчек о городе Чите и области. Но с забайкальцами я встретился на фронте в нашем казачьем кавалерийском полку. Хотя

полк и родился из ополчения Волгоградской области, но командовали им кадровые кавалеристы. Командир полка капитан Данилевич, начальник штаба полка капитан Поддубный, его помощник лейтенант Горковенко и командир взвода полковых разведчиков лейтенант Кальмин — все они прибыли в полк из Забайкалья. Служили они там в кавалерийской дивизии в неведомой мне Даурии и, хвастаясь, считали себя коренными забайкальцами. Во всех случаях, когда у них заходил разговор о становлении человеческого характера, о воспитании мужества и храбрости у бойца, каждый из них вспоминал Забайкалье. Не могу и не хочу задним числом признаваться в любви к этому далекому краю России, но думаю, что первую искру уважения к кавалерии заронили в мою душу вот эти командиры-забайкальцы.

В читинском облисполкоме, куда я прибыл по направлению Госплана, был назначен заместителем председателя Облплана. Через два года стал председателем, а с 1967 года и до выхода в 1973 году на пенсию заведовал отделом трудовых ресурсов. Несколько раз избирался в партийные органы и депутатом областного совета. Награждался почетными грамотами и медалями.

А теперь вернусь к письмам, к письмам-исповедям моих боевых друзей.

«Пишу, и дрожат от волнения руки. Подумать только, сколько мы пережили, перестрадали, недоедая и недосыпая, промерзая до костей. И... все это в самые лучшие годы жизни. (Из письма минометчика, гвардии старшего сержанта Андрона Руденко, проживающего в Черкасской области.)

Я рад, что после излечения в госпитале попал к вам в батарею. А служил-то в Армии без перерыва с 1939 года, прошел войну и с белофиннами. В Отечественную отступал с войсками из Белоруссии до Москвы, в боях на Волоколамском шоссе ранен. Потом Сталинград, снова ранен, потом Курская дуга — ранен третий раз и вот из госпиталя попал к вам. В общем, в свои двадцать с не-

большим лет схватил я лиха под завязку. Каждое ранение я получил в жарком бою. Пришел с войны в порушенное село и приступил трудиться по-гвардейски над его восстановлением. Работал и топором и мастерком, а скоро назначили бригадиром землеробов. Женился на соседской девушке, славно зажили, построили сами для себя дом, этакие хоромы, посадили сад и развели разную живность. Потом стал работать электриком на колхозной электростанции и в больнице. А вот сейчас, хотя и на пенсии и по-прежнему работать не могу — фронтовые раны дали о себе знать, но все-таки тружусь в клубе художником. Орудую кистью и, говорят, неплохо получается.

Помню, как я приехал с войны в свое село Буду Орловецкую. Узнаю, что немцы за связь с партизанами убили отца и двух младших братьев, а дом наш сожгли. Пришлось начинать все заново. Дети мои — сын и дочь тоже около нас, на Черкасчине. Оба имеют уже свои семьи и трудом своим оправдывают наше родительское имя. А мы с бабкой рады этому».

«У меня тоже дрожат от волнения руки и спазмы перехватывают горло, а глаза застилают слезы, когда я развертываю и читаю бесконечно дорогие для меня послания о пройденном, о пережитом, — пишет бывший минометчик Станислав Музыченко. — Мог ли я думать, что через сорок лет, как мы с вами расстались, вы найдете меня и сообщите о себе. Я до глубины души тронут этим и не могу найти слов, чтобы выразить вам за это сыновье спасибо. Рад тому, что хотя бы в письме слышу слова любимого мной человека, обладавшего огромной силой воли и беспредельной любовью к нам, солдатам, силой примера требовавшего от нас подражания. Вот таким вы, гвардии капитан, остались у меня в памяти, и я благодарю судьбу за это. Вы, наверное, не знали, что меня, в числе молодежи, уже после того как вы уволились из Армии, в числе многих однополчан отправили на Восточный фронт для разгрома японцев. Попал я на остров Кунашир Курильской гряды, здесь и пробыл до 1957 года. Из деся-

ти лет службы на Востоке семь лет был сверхсрочником, там же женился и приехал с женой к моим родным в город Смелу, что на Черкасчине.

В моей памяти отложилось незабываемое зрелище, когда во время празднования 30-й годовщины Корсуньской битвы на сцену дворца культуры железнодорожников внесли знамена частей и соединений, участвовавших в этой битве, а среди них — дырявое, иссеченное осколками и пулями, знамя нашего 5-го Казачьего кавалерийского корпуса, хранящееся в музее Корсуньской битвы. Тогда во мне перевернулось все и из глаз брызнули слезы, а в душе и на лице вспыхнула неописуемая радость.

В 1976 году меня постигло несчастье. В канун своего пятидесятилетия меня ударил инсульт. И вот я уже многие годы лежу парализованным, конечности и речь вразумительно не действуют. Читать могу и свои чувства о прочитанном могу передать мимикой и глазами. Я рад тому, что все мои родные правильно меня понимают и делают для меня все, что я хочу. Горько сознавать, что вертун и не находящий себе покоя человек в прошлом, сейчас навечно прикован к постели. А жить хочется еще чертовски».

С гвардии генерал-лейтенантом в отставке, командиром нашего 5-го Казачьего кавалерийского корпуса Сергеем Ильичом Горшковым, мы регулярно обмениваемся письмами и праздничными поздравлениями. Советуемся по всем вопросам жизни и общественной деятельности, в которой он неустанно участвует и сам ее планирует для себя, с большой нагрузкой. Живет он в городе Ростове-на-Дону, возглавляет Совет ветеранов корпуса. В 1979 году под его редакцией вышла книга «Пятый Донской». Книгу эту, с автографом С.И. Горшкова, получил и я. А в письме, вложенном в книгу, он мне пишет:

«Мой дорогой друг! Посылаю тебе сборник воспоминаний ветеранов о пройденном боевом пути нашего 5-го Гвардейского Донского казачьего, кавалерийского,

Краснознаменного и Будапештского корпуса, в рядах которого в годы Великой Отечественной войны славно сражались и вы. Буду благодарен, если получу ваш отзыв о книге и сообщение о том, как она помогает в твоей военно-патриотической работе с молодежью».

Для сведения читателям сообщаю, что С.И. Горшков в рядах Вооруженных Сил страны служил непрерывно с 1920 по 1960 год. Начал службу с курсанта кавалерийской школы и ушел в отставку в звании генерал-лейтенанта, с должности командира кавалерийского корпуса. Участник Гражданской войны в войсках Первой конной армии под командованием С.М. Буденного. В Отечественную войну трижды ранен и контужен. Награжден: тремя орденами Красного Знамени, двумя орденами Ленина, Кутузова 1-й степени, Суворова 2-й степени, Богдана Хмельницкого 1-й степени и многими медалями. Член КПСС с 1920 года. На общественных началах возглавляет Научное Военное общество при Ростовском обкоме КПСС. Бессменный военный консультант в Музее Воинской славы Войска Донского. Любимец участников войны Донского и Кубанского казачества, Ростовской и Сталинградской областей, Краснодарского и Ставропольского края. Несколько лет трудился и в народном хозяйстве, возглавляя промышленные предприятия.

Нашего минометчика Василия Шабельникова за его маленький рост его друзья в шутку прозвали «оловянным солдатиком» — он и в самом деле служил, износа не зная. В минометную батарею он пришел из третьего эскадрона. С душевной теплотой он вспоминает своего командира сабельного взвода, младшего лейтенанта Савченко, не переставая удивляться его мужеству, самообладанию и выдержке. Шабельников про него пишет:

«Я часто вспоминаю этого офицера, который всегда, и в обороне, и в наступлении, и на отдыхе, жил с песней. Он был ранен под Цюрупинском, но скоро вернулся

в строй. Под Корсунем снова был ранен, на этот раз тяжело. Кто-то говорил, что мужественный песенник умер от ран в госпитале, а кто-то, что он стал калекой и уехал домой, а куда, не знаю. Как досадно, что не знаешь, где живет любимый тебе человек, и не можешь ему написать и сказать ему душевное спасибо.

Я же из молодых, — пишет мне он про себя, — и служил в армии без отпуска восемь лет и тоже, как и другие, успел побывать на Восточном фронте. Уже после войны я был комиссован по болезни — заболел бронхитом, который скоро перерос в астму. Приехал домой, а мать тоже больная. Пришлось, несмотря на заболевание, срочно жениться. Девица, на мое счастье, попалась славная. Лечила и ухаживала за мной и матерью как за малыми детьми, работала она учителем и считалась передовой. После поправки от болезни я пошел на работу в строительство, воскрешая из руин город Азов, где и проработал 17 лет. Снова заболел и досрочно вышел на пенсию. Врачи определили инвалидность 2-й группы, а мне еще не было и 50 лет. Со своей Надеждой нажили дочь, сейчас она замужем, работает, как и мать, учителем. Молодые подарили нам внука.

Недавно встретился с нашим батарейным богатырем, Васо Надашвилли, он живет на своей родине, в Грузии. Все-все вспомнили, и с душевной теплотой вас, наш дорогой комбат, спасшего нам жизнь. Хотя как будто и не баловал своей добротою.

Я стараюсь храбриться, не замечать свою болезнь, а она, коварная, часто сваливает меня в постель. Ездил лечиться в Ялту но, видимо, напрасно. А жаль, так еще хочется жить.

Администрация на бывшей моей работе в стройуправлении отметила мой 25-летний стаж работы в одном стройуправлении и наградила меня именными золотыми часами и почетной грамотой. Одновременно выдали мне и медаль «Ветеран труда». Это очень радостно. В моем военном билете, который пока храню, значится: начал

службу казаком и закончил ефрейтором. Восемь лет прослужил в одной воинской части, а в трудовой книжке две записи — принят на работу и уволен в связи с уходом на пенсию.

На фронте я был для многих сынком, а теперь вот стал уже дедушкой. Жена все еще продолжает работать, жалеет оставить школу и ребят.

Товарищ гвардии капитан, мы, как вы знаете, не поддавались в бою, не поддадимся и в работе в мирное время. Такое мое правило...»

Трудной и сложной оказалась жизнь после войны у моего коллеги по оружию и постоянного соседа в бою командира батареи 76-мм пушек гвардии капитана Чехова Николая. Вот что он пишет о своей жизни:

«После увольнения из армии четыре года я работал в Таганроге директором заготконторы райпотребсоюза, слыл передовиком. Был на хорошем счету и у областного руководства, однако нашлись люди, которые подвели под «монастырскую стену». Статья УК, по которой меня судили, грозила большим сроком. В местах не столь отдаленных я пробыл только два года, то есть половинку срока. Те, кто подстроил мне пакость, рассчитывали вызвать у меня недоверие к Советской власти, ожесточить меня отношением к партии, но эта мразь жестоко ошиблась. В нашем обществе такие отщепенцы тогда еще были. Некоторые скоро даже тогда исчезли с лица земли, как вымершие рептилии.

После выхода из заключения я попал на авиазавод и работал столяром. Затем 20 лет возглавлял бригаду строителей этого же завода, т.е. до выхода на пенсию по инвалидности. Приятно, что бригада в числе первых в управлении стала коллективом коммунистического труда, а с ним и я слыл ударником.

Могу сказать, что моя жизнь прошла не бесследно. И даже сейчас, когда я уже пенсионер, не забывают мои

ученики и производственники, получившие закалку в нашей бригаде.

Но годы испытаний свое берут. На здоровье, видимо, сказываются три ранения и контузия, да еще и два года, проведенные в заключении, — они были тоже далеко не курортными. Однако настроение еще бодрое, умирать нам, как говорится, еще рановато. Мы еще не очень старые, а к тому же гвардейцы.

Еще активно участвую в общественной жизни, являюсь председателем цехового комитета профсоюза. Перед выходом на пенсию три года был секретарем цеховой партийной организации.

Часто вспоминаю пески под Кизляром и жаркие бои в этих песках. Тогда мы стояли насмерть, отбивая атаки немцев, рвавшихся к бакинской нефти, к выходу на берег Каспия. Помнишь, друг, когда мы с вами оставались лицом к лицу с атакующими танками и выходили победителями? Помню, как орудийный расчет Присичева почти весь погиб, а он, командир орудия и наводчик Крикунов, стреляя по наседавшим танкам в упор, вдвоем подбили пять машин и отбили атаку танков. Да!.. Тяжело тогда нам было, и, видимо, не зря за эти бои под Кизляром нам присвоили звание гвардейцев».

Когда писал я эти строки, моего боевого друга, Николая Чехова — комбата 76-мм пушек, уже не было в живых. Он умер 29 апреля 1983 года от кровоизлияния в мозг. А он так страстно хотел еще жить.

«Когда я вернулась домой, вы знаете, что и не одна, а уже с дочкою, — пишет мне санинструктор батареи Панна Мазурик, — тогда в деревне, даже в Сибири, было очень трудно и жили все очень плохо. Мужчин почти не было совсем. Из нашей деревни ушли на фронт 32 человека молодежи моего возраста, а вернулись только... один мой брат, да и то без ноги. Два моих старших брата остались

на поле брани. Отца я застала очень больным и не способным ни к какому труду.

В деревне я прожила до 1949 года, потом уехала в город Томск. Здесь было очень трудно с квартирами. Мне с дочерью дали комнату в общежитии, площадь ее была 7 кв. метров. Тут мы и прожили с дочерью 14 лет, то есть до ее замужества.

А работать-то я начала в бухгалтерии городского энергокомбината, и вот здесь я тружусь уже второй десяток лет и, наверное, отсюда уйду и на пенсию. Сейчас я уже стала старшим бухгалтером, коллектив энергокомбината заметно уважает, плохо работать не умею, а за добросовестный труд у нас каждого ценят. А вот замуж, после гибели на фронте моего Ивана, так и не вышла, всю себя израсходовала на дочь, ее благополучие. Да, наверное, еще и потому, что еще на фронте я схватила бронхит и вот до сего времени не могу от него избавиться и, видимо, это не удастся никогда. Хотя, может быть, я бы и была неплохой женой и матерью. Живу я сейчас в приличной квартире, да и денег на жизнь хватает, но ухажеров своих пока, до лучшего времени, всех выпроваживаю.

Людмила моя вышла замуж. Муж ее неплохой парень. Любит ее да и трудится на совесть. Подарили мне уже двух внучек. Девочки бойкие и смышленые, любят меня не менее матери, я им плачу тем же. Дочка на работе тоже не на плохом счету. Всё это меня радует.

Часто вспоминаю своих батарейцев. Полюбила я их всех юношескою любовью, а вас как отца родного. Хочется всех вас часто видеть, но это, видимо, не получится. Хотя уже виделась с Комаровым, Поляковым, Куликовым и Терещенко — славные они сейчас мужики, трудяги, настоящие гвардейцы».

...При встрече с нею в 1977 году и ее дочерью Людмилой, знавшей своего отца только по фотографии, погибшего в боях за город Будапешт в Венгрии, она мне и рассказала про свою нелегкую жизнь после войны. Теперь все это у нее далеко позади. Живут они в хорошей,

благоустроенной квартире, есть и достаток. Только вот нет у нее былого здоровья. Постарела, жалуется на боли в раненой руке и голове. А так все хорошо, только жить и радоваться, рада за семью дочери. Только вот хлопотно с внучками — они не дают ей покоя, все что-нибудь баба им сделай. Ездила отдыхать в санаторий на юг и заезжала к нашим батарейцам, гостила по два дня у каждого.

От командира взвода лейтенанта Мостового я узнал о жизни командира полка гвардии подполковника М.Ф. Ниделевича. Живет он в городе Сватово Ворошиловградской области. У него двое детей. Сын пошел по стопам отца — военный, закончил высшее артиллерийское училище и служит где-то на востоке. Дочь работает юристом и живет с ними.

Сам он по своей натуре не любит что-либо говорить про себя и вот даже мне — автору этой книги не написал ни одной строчки, хотя он книгу эту (в первом варианте) получил и увидел, что он по ней проходит красной строкой. Его жена Валентина тоже фронтовичка, ее знает читатель по книге. Из Совета ветеранов войны города Сватова мне сообщили, что Ниделевич очень много сделал хорошего для города и в патриотическом воспитании молодежи. Он же признан Почетным Гражданином города. Сообщили мне, что он сейчас очень болен, больше дома и лежит. И, конечно, сердит на свою беспомощность. А письма своих однополчан будто бы читает со слезами и по несколько раз. А мою книгу — о боевых делах его полка будто бы знает наизусть и держит под подушкою. Говорит, что когда я умру, то книгу положите со мною в гроб... Где он работал после увольнения из армии, я так и не узнал до сего времени.

Совсем недавно я разыскал адрес первого командира полка гвардии полковника Е.В. Данилевича. На мое пись-

мо он сразу же откликнулся. Из армии он уволен с должности командира дивизии в 1956 году.

Первое время он жил в Калинине, а с 1962 года в Ленинграде. Долгое время работал в научно-исследовательскогом институте «Внештрансмаш», в последнее время на должности заместителя директора института и был секретарем парткома.

Все фразы письма Данилевича по-военному короткие и точные. Он тепло вспоминает Забайкалье. «Моя жизнь, — пишет он о себе, — была и остается активной. И так будет до конца. Сейчас работаю секретарем парторганизации в 5-м эксплуатационном тресте, а также методистом физкультуры и спорта в Невском районе, ударник коммунистического труда. Имею семь боевых орденов и множество медалей. На войне четыре раза ранен. Но, как видите, еще в строю. Занимаюсь спортом, вожу автомашину, бываю и в театре, и в кино, много читаю. Часто выступаю перед молодежью. Мечтаю побывать в Урюпинске, оттуда получаю массу писем от ветеранов 37-го полка, и, конечно, хочется побывать в Забайкалье. Оттуда же я ушел на фронт и сражался в рядах гвардейцев казаков нашего славного 5-го корпуса».

И все это в его семьдесят уже лет. Завидно!

Счастливой оказалась судьба Якова Синебока и его земляка и друга Якова Карапыша, или, как их звали батарейцы, Яшек-артиллеристов. Ни одна пуля, ни один осколок не задели ни того, ни другого. С фронта они вернулись в родную Кнышевку, что на Полтавщине, живыми и невредимыми. Синебок сразу стал работать в колхозе механизатором, а Карапыш, окончив Харьковский строительный институт, был направлен в Читу. Работал он здесь директором строительного техникума, затем в партийных органах. А сейчас работает на инженерной должности в одной из строительных организаций. В Чите я и встретился с этим своим однополчанином.

Многие батарейцы связали свою судьбу с сельским хозяйством. Изредка я получаю их «доклады-рапорты».

Докладывает Харченко А.М., ездовой взвода боепитания нашей батареи:

«Домой, в хутор Упорники Сталинградской области, я приехал сержантом в ноябре 1945 года. Сразу пошел работать в МТС. Для проверки знаний дали мне для ремонта старенький трактор СТЗ-НАТИ. Отремонтировал я его и, соскучившись по труду хлебороба, приступил к своему делу хлебопашца. Работы хватало — хоть сутками работай, не слезая с трактора. И только через четыре года дали мне новый трактор С-80, на нем работал еще 12 лет. Потом по состоянию здоровья перешел на электростанцию совхоза, созданного на базе МТС целого куста колхозов, мотористом. Работу моториста совмещал с работой машиниста на току. С 1970 года я пенсионер, но без дела жить не могу. Все время работаю, дел и для пенсионера много.

За ударный гвардейский труд хлебопашца меня наградили орденом Ленина и малой серебряной медалью ВДНХ. Ну, и другие, юбилейные медали, благодарности, премии, которых не счесть, и путевки на курорт. Член КПСС. Избирался делегатом на районные и областную партийные конференции. Много раз избирали депутатом Совета».

А вот «доклад-рапорт» командира миномета Виктора Маяцкого:

«После разгрома фашистской Германии я воевал с японцами на востоке и после этого еще пять лет служил на Курильских островах. Как только приехал домой в Ипатовский район Ставропольского края, сразу меня послали в школу механизаторов. Закончив ее, я стал механизатором широкого профиля и проработал в поле и на ферме двадцать лет. Потом стал шофером. Но летом садился на комбайн, работал как надо. Нам, гвардейцам, плохо трудиться нельзя. Мы обязаны всем показывать пример образцового труда. За свою работу я отмечен медалью

«За доблестный труд» и тремя медалями ВДНХ, многими грамотами и премиями.

Сейчас работаю чабаном, гвардейцы нужны и в овцеводстве. Работы у чабана много, днем и ночью без перерыва. Чувствую себя хорошо. В семье моей шестеро детей, все они работящие, как и их родители».

Антон Ковальчук. Он, как уже знает читатель, всегда был и остался для всех нас комиссаром — человеком высокого мужества, кристальной чистоты и душевности. Человеком с большой буквы. Всегда при деле, всегда среди людей. Самое удивительное было то, что и в свои 78 лет продолжал трудиться — заведовал хозяйством в Ростовском гидрометеорологическом техникуме. При этом он вел широкую переписку с однополчанами, с семьями погибших гвардейцев. За кого-то хлопотал, кому-то советовал, кого-то наставлял на путь. «Настоящий, с большой душой коммунист», «Добрейшей души человек», «Любимый комиссар», «Золотой наш человек». Это фразы из писем моих товарищей.

К нашему несчастью — был. В январе 1979 года на 80-м году жизни ветеран двух войн, гвардеец высшего класса Антон Яковлевич Ковальчук скоропостижно ушел из жизни.

Кто-то сказал — у жизни есть один недостаток — она коротка. 22 февраля ушел из жизни Алексей Рыбалкин, а немного раньше Александр Мамченко. Глаза у меня не на мокром месте, но, получив известие о смерти Рыбалкина, я не смог удержать слез. Ведь только перед этим он прислал свою фотокарточку, а в письме делился радостью, что его нашел второй орден Красной Звезды, и скорбел — умерла его жена и подруга Дарья Захаровна. Не хвастая, сообщал, что и в 70 свои лет очень нужен для людей и еще очень много помогает в работе партийных органов района.

О смерти командира взвода боепитания батареи Александра Мамченко мне написала его внучка Люда. Вот строки ее письма:

«...А теперь о нас, о семье нашего милого дедушки. Нас у него много, и мы все живы и здоровы. Живем в селе Вареновка Ростовской области.

Когда дедушка был жив, он много нам рассказывал о том, как он воевал в коннице Буденного в Гражданскую войну, а также и о том, как он прошел от начала до конца и эту последнюю войну, и мы все гордимся своим дедушкой. После войны дедушка работал председателем сельского совета. Потом, будучи пенсионером, работал бригадиром садоводческой бригады. Он очень много посадил садов, любил природу и детей. Был очень чутким и отзывчивым. Вот такой хороший был наш дедушка. У него три сына. Его сын и мой отец Николай после ранений, полученных на войне, долго болел и рано умер. Бабушка наша Александра еще жива. Мы, четверо ее внуков и две правнучки, ее храним и заботимся о ней... До свидания!»

У артиллеристов и минометчиков есть такая стрельба — по площадям и по квадратам. Она применяется, когда неизвестны точные координаты цели. Стрельба не прицельная и малоэффективная. А вот сейчас по нашему квадрату ветеранов войны ударила «косая». Бьет она безошибочно, вырывая из наших рядов все новых и новых бойцов. Как ни печально, но тут ничего не сделаешь. Процесс естественный. Подумав об этом, я всякий раз вспоминаю слова Антона Ковальчука, сказанные им при урюпинской встрече ветеранов полка в 1975 году:

— Дорогие друзья, помните — мы гвардейцы. Это значит, что мы с вами должны оставаться в строю до последнего вздоха.

Наш комиссар оставался в строю до своей смерти. Только так!

Еще один «доклад-рапорт» — от командира миномета гвардии старшего сержанта Федора Терещенко. Он живет в селе Кнышевка Гадячинского района Полтавской области.

«Докладываю вам, товарищ комбат, что я живу и работаю в колхозе. Сейчас на рядовых работах, а все лето и осень в поле, в тракторной бригаде. Колхоз наш передовой в районе, а по некоторым показателям и в области. Хозяин наш — Герой Социалистического труда и заслуженный человек. В этот год мы получили рекордный урожай и зерновых, и овощных культур. Вот с уборкой дело осложнилось — идут беспрерывные дожди, и на поле с машинами заехать нельзя, они тонут в грязи.

В своем хозяйстве держим скот и птицу, всего понемногу. Семья у меня большая — четыре сына и столько же дочерей. Один сын женился и одна дочь тоже замужем, оба подарили нам внуков. Второй сын после службы в армии работает где-то на БАМе плотником. Остальные живут с нами, ну и нам с бабкой отдыхать пока некогда. А здоровье стало неважное, особенно после полученной мною травмы. Прошлый год я упал в колодец, сломал ногу и руку, больше месяца лежал в больнице. Как будто отремонтировали порядочно, но погоду чувствую и часто стону и морщусь».

А вот письмо из станицы Мелиховской Ростовской области от помощника командира взвода гвардии старшего сержанта Никифора Комарова:

«Весною 1947 года, уволенный из армии, я пришел домой. Мама сидит в хате одна. Я на порс.; а она в слезы и причитает: «Дорогой мой сынок вернулся, а чем же я угощать тебя буду? Ничего же нет, третий день ничего не ела...» Мать я успокоил, так как у меня в вещмешке кое-что было из харчей, да и в кармане небольшие деньги, полученные за награды. Вот на это мы и зажили с матерью».

К концу войны его грудь украшало шестнадцать правительственных наград, и в их числе — Орден Славы двух степеней. Он был единственным из полка участником парада в Москве, на Красной площади. Но продолжу его письмо-рассказ:

«Шла в то время весна, полевые работы в разгаре. До войны я приобрел специальность тракториста, предлагали эту работу, но я на трактор не сел, боялся, что голод заставит залезть в сеялку за зерном. Поступил работать в рыбколхоз рыбаком. Здесь можно жить на своем «подножном корму». К концу года женился. Поставили меня сначала кладовщиком на складе подсобного хозяйства, а скоро и заведующим складом всей машинно-рыболовной станции. Сейчас у меня под ответственностью находились все орудия лова и другие материалы. С объединением Мелиховского и Раздорского рыбколхозов склад МРС перевели в Раздорскую. Переезжать туда с житьем я отказался и поступил на работу в Госрыбинспекцию, участковым инспектором. Здесь главной работою была борьба с браконьерами, и совсем не безопасная. Хапуги шли на все, но я не из пугливых. Но с 1963 года у меня жизнь пошла на раскорячку, как у деда Щукаря. Из-за неосторожности моториста винтом мотора мне переломило ногу. Восемь месяцев я провалялся в больнице, да еще год дома в гипсе. Стал инвалидом. Через два года инвалидность сняли и снова та же работа. В 1970 году снова несчастье — упал в колодец. Снова больница и снова инвалидность. Но без дела сидеть не могу, не тот характер. Взялся за работу моториста на глиссере турбазы комбината Ростовуголь. На водных лыжах катал космонавта Германа Титова. Бывали у меня в гостях он с женою и чемпион мира по тяжелой атлетике Василий Алексеев.

С 1971 года и по сей день работаю в своем колхозе механизатором молочно-товарной фермы. Коллектив у нас небольшой, но дружный и крепкий. Планы по молоку и мясу даже перевыполняем. Все работы на ферме

механизированные. Только электродвигателей на ферме 6, да силовой трансформатор, ну и все электросети, все под моим наблюдением. А я один, так что работы хватает каждый день до поту.

На днях отдал в станичный Музей боевой славы все благодарности от Сталина, комсомольский билет, обмытый кровью, и личный пистолет, подаренный мне комдивом как участнику Парада Победы. Переписываюсь со многими однополчанами и батарейцами, со многими виделся. Приезжали ко мне в гости, в том числе и командир полка Ниделевич. Очень рад был вашему ко мне приезду. Не забывают нас с женой и наши дети, пишут и часто приезжают. Ваша телеграмма участникам встречи однополчан корпуса в Ростове была зачитана под гром аплодисментов всего зала и стоя. Вот так мы уважаем своих заслуженных людей, а они взаимно платят нам тем же, теплом и любовью».

Бывший секретарь партбюро полка гвардии капитан В.Я. Быков пишет мне:

«После того тяжелого ранения в боях под Корсунем я лечился в госпитале два года, выписался инвалидом. До Саратова, домой к жене и матери я ехал с сопровождающим санитаром, а по прибытии меня снова положили в госпиталь, где валялся снова полгода. В это время умерла мать. А меня после излечения партийные органы направили на самый горячий в то время участок работы — заведующим хлебопекарней железнодорожного транспорта. Здесь я работал 25 лет, то есть до выхода на пенсию уже по старости. От железнодорожного начальства получил значок отличника транспорта и шесть благодарностей, а облисполком наградил медалями «За доблестный труд» и «Ветеран труда». С 1970 года я пенсионер Министерства обороны, но все еще веду большую работу по патриотическому воспитанию молодежи. Переписываюсь со многими однополчанами, помогаю

советом и ходатайствами куда нужно, как бывший парторг. Имею двух сыновей и дочь. Все они хорошо живут и так же трудятся. И я этим счастлив».

Подносчик мин огневого расчета Васо Надашвилли пишет мне из своей Грузии:

«Получив ваше письмо, мой комбат, остаюсь до конца дней своих благодарен вам за вашу отеческую заботу о нас, солдатах, и тогда, на фронте, и сейчас, в мирное время. Как бы мы с семьей были рады увидеть вас у нас, на грузинской земле?! Сижу ли я за столом с семьей или на работе, я всегда с большой любовью и уважением вспоминаю вас, человека, который сделал все, чтобы сохранить нам жизнь.

Живу я прилично, имею свой дом, этакие хоромы. На усадьбе хороший сад, в котором есть все фрукты и ягоды, которые выращиваются в Грузии. Уважаемый соседями и колхозниками и не только потому, что я фронтовик, а и потому, что я бригадир колхозного сада. Уважая сад, я уважаю больше людей, которые трудятся в нем — этому научили меня вы на фронте. А народ мне платит тем же. И наверное, потому наш сад, благоухая постоянно, дает обилие фруктов и ягод. Ах, как бы хотелось, чтобы вы увидели сами наш благоуханный край. Вы бы были почетным гостем всего нашего села. За это я ручаюсь, приезжайте же скорей к нам. Моя Мария Сосьевна что-то вяжет вам, трудится над этим ночью и, кажется, с любовью. Надеюсь, что тепло ее рук расплавит даже вечную мерзлоту вашего сурового края.

Вспоминаю, как командир полка дал мне трое суток ареста за то, что я в соревновании с Мишей Перегудовым поднял на своих плечах вашего коня и по неосторожности уронил его на спину. И другой случай, когда при стрельбе по противнику вы меня спрашивали: «Ну, сколько фрицев убили этой миной?» Я быстро ответил: «Три!» А вы: «Мало». После же второго выстрела:

—А сейчас сколько?

— Семь!

— Ну, сейчас ничего.

А после третьего выстрела, когда я сказал, что еще шесть, вы с радостью сказали:

— Сейчас уже совсем хорошо, уже убавил противника на целый взвод, молодец! Всегда так стреляй, тогда и война скоро окончится.

Вот какой вы были».

Начальнику оружейной мастерской и заместителю начальника боепитания полка гвардии старшему лейтенанту Ивану Гудкову, проживающему в городе Новочеркасске Ростовской области, больше всего запомнилась Корсуньская битва.

«Вы сама знаете, — пишет он, — какая была тогда распутица и бездорожье. Дивизионные и корпусные склады тогда еще были за Днепром. Да и там часто не оказывалось никаких боеприпасов. Бывало, приедешь на склад, тебе отвечают: «Ничего нет, сиди и жди, когда прилетит кукурузник». А он привезет 10—15 ящиков патронов, их и делят на всю дивизию. Командир полка всегда нас напутствовал: «В бога мать... вези двадцать-тридцать тысяч патронов, триста мин и по сто пятьдесят выстрелов на батарею». У нас же их было две и всегда сидели на голодном пайке, то есть на НЗ.

Мы, работники боепитания, тогда кружились день и ночь. Из вновь пришедшего в полк пополнения организовали трофейную команду и собирали брошенные немцами боеприпасы и оружие. Вот это часто и выручало. Ожесточенные бои на Черкасчине шли ночь и день, за каждый хутор, за каждый дом. И били немцев из их же оружия и ихними же боеприпасами. Больших трудов и крови стоили каждые сто метров и нам, тыловикам. Оружие тоже часто выходило из строя. Но у нас в обозе всегда имелось отремонтированное, разного рода оружие, вплоть до пушек и минометов. За это благодарили воины наших

боевых порядков. Зато наши оружейники не знали ни минуты отдыха. Добрым словом я вспоминаю их, своих верных товарищей. Это были мастера, отлично знающие свое дело, владеющие многими специальностями, закаленные фронтовыми трудностями, смелые и верные люди. Многие из них в отцы мне годились, но отличались удивительной дисциплиной и трудолюбием.

И сейчас до слез жаль начальника боепитания полка Ивана Хандусенко, который прошел всю войну от ее начала и до конца и погиб от руки пьяного офицера уже после войны в Румынии. А он страстно хотел жить и спешил домой на Дон.

После войны я долгое время работал мастером на инструментальном заводе в Новочеркасске. Не от хорошей жизни приобрел язву желудка, перенес операцию, стал инвалидом, но трудиться не перестал. Моя профессия ремонтника механизмов была нужна везде, и я шел туда, где был наиболее нужен. Так же тружусь и сейчас, хотя я уже имею пенсионный возраст.

Имею хорошую семью. Жена работает в лаборатории земледелия уже 20 лет. На сбережения приобрел автомашину, вот она-то стала причиною прекращения трудиться. В автоаварии получил травму спины. Машину продал. Сейчас я дачник и на своем участке сада помогаю решать продовольственную программу. Имеем свой домик на окраине города, экономически живем неплохо, да и общество от нас, наверное, не в обиде. Мы ему отдали все свои силы».

Получил скорбную телеграмму из Грузии от дочери командира миномета гвардии сержанта Сандро Джишкариани. Марина сообщает, что ее любимый папа скоропостижно скончался. Приглашает на похороны.. Но я и сам очень болен, ехать не в силах, ограничился соболезнованием. Вспоминаю, как он, Сандро, взялся учить русскому языку своего земляка Васо Надашвилли, который по-русски долго ничего не понимал. И это для него, такого

любознательного и по натуре общительного, а по силе и телосложению этакого «Ильи Муромца», было большим горем. Труд Сандро на фронтовых путях, на огневой и на марше, над таким прилежным учеником, каким был Васо Надашвилли, не пропал даром. Надашвилли неплохо и скоро овладел русской речью, а вот письмом не овладел. Для этого нужны были условия, а у нас их совсем не было. Даже сейчас Васо Надашвилли письма пишет не сам, а под его диктовку пишет его верный сосед. Дети Сандро Джишкариани — дочь Марина и сын Эдишер тоже не забыли, выполняя просьбу своего отца. Постоянно мне пишут теплые письма. А тепло юга посылают мне в своих посылках.

Бывший наводчик миномета, мой сверстник Кузьма Абезин пишет:

«Я узнал от своего земляка Харченко, что вы ему регулярно пишете письма, и мне стало даже обидно, что вы вычеркнули из своей памяти меня. А я вас запомнил на всю жизнь, и память эту я унесу с собою в небытие. Слезно прошу вас, сообщите мне о себе и семье хотя бы несколько слов. О себе же докладываю вам, что я хотя и на пенсии, но пока еще в строю и очень нужен в колхозе. А до пенсии я не один десяток лет работал механизатором — был неплохим трактористом и комбайнером и шофером, так что мы, гвардейцы, всегда и везде находимся в строю правофланговыми. Пишите и мне, мой любимый человек».

Вот такое теплое письмо. За то, что я ему не писал, я извинился и объяснил ему, что тут дело не в моей забывчивости, а просто я не знал его адреса.

Очень много мне помог в данных для этой книги бывший заведующий делопроизводством штаба полка гвардии капитан Лев Поляков, живущий на своей родине в городе Урюпинске Волгоградской области. Он и сейчас

еще обладает завидной памятью, даже через сорок лет помнит фамилии и имена всех, кого бы я ни спросил. После войны и вплоть до выхода на пенсию он с такой же аккуратностью, как и в штабе полка, работал начальником первой части Урюпинского горвоенкомата.

Не так давно он сообщил мне, что скоропостижно и раньше времени ушли из жизни бывший командир комендантского взвода гвардии старшина Василий Овчинников и шофер автомашины командира полка Петр Рыбкин.

Это он рассказал во всех подробностях историю создания ополченской дивизии, что полки ее были организованы: в городе Урюпинске — 25-й, в станице Михайловской — 39-й и в хуторе Филонове — 41-й и объединились в 15-ю дивизию 23 декабря 1941 года, а боевое оружие получили перед выступлением на фронт в городе Сальске. Что самой тяжелой первой потерей в бою под Кущевской были гибель начальника штаба полка — ополченца Горкина и командира первого эскадрона Горшкова Василия.

В городе Каменске Ростовской области до сего времени живут и здравствуют и по-гвардейски трудятся по несколько десятков лет на одном месте бывший начальник артиллерии полка гвардии майор Харлампий Полуянов и бывший начальник продовольственного склада гвардии старшина Иван Тищенко. Первый беспрерывно трудится в городском обществе ОСВОД, а второй — заведующим сельхозотделом горисполкома. Оба уважаемые и авторитетные работники среди общественности города.

По-гвардейски трудился вплоть до выхода на пенсию командир взвода нашей батареи гвардии лейтенант Александр Мостовой. После увольнения из армии в 1949 году он недолго работал учителем школы, а потом переехал в Новосибирск и устроился на работу в одну из строительных организаций, сначала мастером-воспитателем,

а потом прорабом и в последние десять лет перед выходом на пенсию — руководителем этой же строительной организации. Жена его работала также в той же строительной организации, возглавляя отдел кадров. Два их сына закончили оба авиационные училища и работают в гражданской авиации Новосибирского аэропорта, оба уже имеют свои семьи и живут отдельно.

Командир взвода первого эскадрона Павел Моисеев докладывает, что он все время работал там, где больше всего был нужен. Начал работу трактористом, а скоро и заместителем председателя колхоза по животноводству. После окончания школы руководящих кадров послали на пост председателя колхоза, а затем директора совхоза объединенных 11 колхозов:

«Здесь я и работал до выхода на пенсию. К фронтовым наградам прибавился орден Трудового Красного Знамени и медали «За доблестный труд» и «Ветеран труда». Семь раз избирался депутатом совета и несколько раз в районные парторганы. Сейчас по-стариковски тружусь на пасеке совхоза, фронтовая контузия сильно дает знать о себе. Жена тоже трудится в общественном питании. Сын имеет свою семью и живет отдельно и трудится добросовестно, отца и мать не подводит».

С бывшим помощником начальника штаба полка гвардии капитаном Константином Моргуновым после увольнения из армии мы вместе ездили в поисках «хорошей» работы аж в Белоруссию. Но ничего подходящего не нашли, и я остался в городе Каменске, а он уехал к себе на родину, в станицу Ремонтную Ростовской области, и до выхода на пенсию работал там, куда посылали партийные органы района. Пишет, что его бросали туда, где нужно было поправлять дело. Трудился и в торговле, и в общепите, и на предприятиях промышленности района, в связи с чем у него в трудовой книжке восемь записей о

приеме на работу и ни одного увольнения по своему желанию. «Ушел на пенсию с работы директора вечернего ресторана. Расшатавшиеся нервы не позволяли работать не только здесь, но и вообще. И райком КПСС наконец-то оставил меня в покое. Жена продолжает трудиться в райисполкоме. Построил себе дом, посадил хороший сад, вот и ковыряюсь сейчас в нем и вспоминаю былые дни. Как бы хотелось встретиться с вами, мой друг, и обо всем-всем переговорить».

Пишу вот и думаю, не много ли я раз упомянул восхваление в свой адрес, скромно ли это? Если отвлечься от писем, то это будет явная нескромность, а я хочу, чтобы читатель увидел в этом другое. И не только как выдержки писем, идущих от глубины души, но и пример того, как нужно вести себя руководителю коллектива среди своих подчиненных, как завоевывать у них авторитет и уважение. Тогда уверен, что будет по плечу любая, даже самая трудная задача в ее выполнении.

Я очень рад, что все мои боевые друзья... Нет, остановлюсь.

Не все. Один из всех оказался не таким. Во время работы над книгой я вдруг получил письмо от бывшего ездового повозки взвода боепитания Александра Ляшенко, проживающего в Волгограде. Бывший батареец мне жалуется, что он часто болеет, что война подорвала его здоровье, что пенсии, которую он получает, ему не хватает...

Прочитав такие строки письма, меня охватил гнев. Я готов писать местным властям, в Москву, везде и куда следует, чтобы сказать о бюрократах, которые обижают фронтовика, чтобы защитить однополчанина.

Но читаю дальше. Ляшенко... требует и просит с меня долг или хотя бы часть долга из тех денег, которые я отобрал у него во время войны. Я в недоумении, более того,

я ошарашен: какой долг, когда я отбирал у казака деньги? Ничего не понимаю.

Пишу в Волгоград, в городской совет ветеранов войны, и прошу разобраться, о каком долге идет речь. Пишу об этом своим батарейцам, прошу и их помочь мне разобраться в этом. А сам уже готов помочь человеку. Скоро получаю отовсюду ответы. Волгоградцы пишут, что Ляшенко действительно неважно себя чувствует и часто болеет. Но причиною этому служат его частые запои и злоупотребление алкоголем. Что же касается долга, то он еще страдает о тех фальшивых деньгах, изготовленных немцами, которые он подобрал в грязи села Городище под Корсунем и возил с собою в повозке более восьми месяцев, пока при проверке содержимого повозок я не отобрал их и не сжег.

В семье, говорят, не без урода. Приходится согласиться и с этой мудростью народа.

В последних письмах-рапортах мои батарейцы и многие однополчане с радостью сообщают, что все они получили еще ордена «Отечественной войны» и медали «40 лет Победы в Великой Отечественной войне», многие и прибавку к пенсии. На душе радостно и хочется долго, долго жить.

Прошло уже четыре десятилетия, как закончилась Великая Отечественная. Но сколько бы лет ни прошло — война не забывается. Видно, до последнего вздоха она будет с нами и в нас — в памяти и в сердцах тех, кто ее прошел. Война является к нам в тревожных снах. Она отдается болью старых ран. Она напоминает о себе то песней тех далеких лет, то увиденным обелиском на деревенской площади или где-то у дороги, то скрипом протеза старого человека.

Я переписываюсь с более чем сорока однополчанами. Как и военные треугольнички, сегодняшние письма несут на своих страницах радость, волнения, тревоги, боль.

И воспоминания. В одних — рассказы о своей фронтовой жизни, в других — отдельные эпизоды, в третьих — раздумья о товарищах, дошедших до края войны, о пережитом.

Письма, письма, письма.

У меня дрожат от волнения руки и спазмы перехватывают горло, а слезы застилают глаза, когда я читаю эти бесконечно дорогие для меня послания о пройденном и пережитом.

Мое сердце наполняется светлой радостью, когда узнаю о славной трудовой жизни моих фронтовых друзей.

И всякий раз при этом вспоминаю слова Антона Яковлевича Ковальчука, нашего комиссара, сказанные им после урюпинской встречи:

— Дорогие друзья, помните: мы гвардейцы. А это означает, что мы должны оставаться в строю. До последнего вздоха.

Он, комиссар, оставался в строю. Мои друзья-гвардейцы остаются в строю. До последнего вздоха.

Содержание

От автора 5
Глава первая. ДВЕ ФРОНТОВЫЕ НЕДЕЛИ 10
Глава вторая. ОТ ОПОЛЧЕНИЯ — К ГВАРДИИ 34
Глава третья. В УЩЕЛЬЕ ПШЕХО 61
Глава четвертая. КИЗЛЯРСКИЕ БУРУНЫ 81
Глава пятая. И ПРИШЕЛ ЭТОТ ЧАС 101
Глава шестая. КАЛИНОВСКАЯ НЕУДАЧА 117
Глава седьмая. НА КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ 147
Глава восьмая. ОТ КАЛЬМИУСА ДО ДНЕПРА 173
Глава девятая. УКРАИНСКИЕ ВЕРСТЫ 204
Глава десятая. ВПЕРЕДИ — РОДНАЯ ГРАНИЦА 233
Глава одиннадцатая. ВЫСОКАЯ МИССИЯ 253
Глава двенадцатая. И СНОВА ПО КОНЯМ 278
Глава тринадцатая. РЫВОК В ВЕНГРИЮ 306
Глава четырнадцатая. КАЗАКИ ЗА ДУНАЕМ 330
Глава пятнадцатая. ПОСЛЕДНИЙ РЕЙД 357
Глава шестнадцатая. ДАВНЫМ-ДАВНО ОКОНЧЕН БОЙ 387

Научно-популярное издание

ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА. КРАСНАЯ АРМИЯ ВСЕХ СИЛЬНЕЙ!

Поникаровский Евлампий Степанович

С ШАШКОЙ ПРОТИВ ВЕРМАХТА

«Едут, едут по Берлину наши казаки...»

Издано в авторской редакции
Ответственный редактор *И. Петровский*
Художественный редактор *П. Волков*
Технический редактор *В. Кулагина*
Компьютерная верстка *Г. Ражикова*
Корректор *А. Васина*

ООО «Издательство «Яуза»
109507, Москва, Самаркандский б-р, д. 15

Для корреспонденции: 127299, Москва,
ул. Клары Цеткин, д. 18/5
Тел.: (495) 745-58-23

ООО «Издательство «Эксмо»
127299, Москва, ул. Клары Цеткин, д. 18/5. Тел. 411-68-86, 956-39-21.
Home page: **www.eksmo.ru** E-mail: **info@eksmo.ru**

Подписано в печать 26.10.2010.
Формат 84×108$^{1}/_{32}$. Гарнитура «Прагматика».
Печать офсетная. Усл. печ. л.21,84.

Тираж 3000 экз. Заказ 7527
Отпечатано в ООО «Северо-Западный печатный двор»
188300 г. Гатчина ул. Железнодорожная 45, л. Б

ISBN 978-5-699-45821-9



Оптовая торговля книгами «Эксмо»:
ООО «ТД «Эксмо». 142700, Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное,
Белокаменное ш., д. 1, многоканальный тел. 411-50-74.
E-mail: **reception@eksmo-sale.ru**

По вопросам приобретения книг «Эксмо» зарубежными оптовыми покупателями *обращаться в отдел зарубежных продаж ТД «Эксмо»*
E-mail: **international@eksmo-sale.ru**

International Sales: *International wholesale customers should contact Foreign Sales Department of Trading House «Eksmo» for their orders.*
international@eksmo-sale.ru

По вопросам заказа книг корпоративным клиентам, в том числе в специальном оформлении,
обращаться по тел. 411-68-59, доб. 2115, 2117, 2118.
E-mail: **vipzakaz@eksmo.ru**

Оптовая торговля бумажно-беловыми и канцелярскими товарами для школы и офиса «Канц-Эксмо»:
Компания «Канц-Эксмо»: 142702, Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное-2,
Белокаменное ш., д. 1, а/я 5. Тел./факс +7 (495) 745-28-87 (многоканальный).
e-mail: **kanc@eksmo-sale.ru**, сайт: **www.kanc-eksmo.ru**

Полный ассортимент книг издательства «Эксмо» для оптовых покупателей:
В Санкт-Петербурге: ООО СЗКО, пр-т Обуховской Обороны, д. 84Е.
Тел. (812) 365-46-03/04.
В Нижнем Новгороде: ООО ТД «Эксмо НН», ул. Маршала Воронова, д. 3.
Тел. (8312) 72-36-70.
В Казани: Филиал ООО «РДЦ-Самара», ул. Фрезерная, д. 5.
Тел. (843) 570-40-45/46.
В Ростове-на-Дону: ООО «РДЦ-Ростов», пр. Стачки, 243А.
Тел. (863) 220-19-34.
В Самаре: ООО «РДЦ-Самара», пр-т Кирова, д. 75/1, литера «Е».
Тел. (846) 269-66-70.
В Екатеринбурге: ООО «РДЦ-Екатеринбург», ул. Прибалтийская, д. 24а.
Тел. (343) 378-49-45.
В Новосибирске: ООО «РДЦ-Новосибирск», Комбинатский пер., д. 3.
Тел. +7 (383) 289-91-42. E-mail: **eksmo-nsk@yandex.ru**
В Киеве: ООО «РДЦ Эксмо-Украина», Московский пр-т, д. 9.
Тел./факс: (044) 495-79-80/81.
Во Львове: ТП ООО «Эксмо-Запад», ул. Бузкова, д. 2.
Тел./факс (032) 245-00-19.
В Симферополе: ООО «Эксмо-Крым», ул. Киевская, д. 153.
Тел./факс (0652) 22-90-03, 54-32-99.
В Казахстане: ТОО «РДЦ-Алматы», ул. Домбровского, д. 3а.
Тел./факс (727) 251-59-90/91. rdc-almaty@mail.ru

Полный ассортимент продукции издательства «Эксмо»:
В Москве в сети магазинов «Новый книжный»:
Центральный магазин — Москва, Сухаревская пл., 12. Тел. 937-85-81.
Волгоградский пр-т, д. 78. Тел. 177-22-11; ул. Братиславская, д. 12. Тел. 346-99-95.
Информация о магазинах «Новый книжный» по тел. 780-58-81.
В Санкт-Петербурге в сети магазинов «Буквоед»:
«Магазин на Невском», д. 13. Тел. (812) 310-22-44.

По вопросам размещения рекламы в книгах издательства «Эксмо» обращаться в рекламный отдел. Тел. 411-68-74.

После катастрофических потерь 1941 года, когда Красная Армия утратила прежнее превосходство в бронетехнике, командованию РККА пришлось сделать ставку на кавалерию, увеличив количество кавдивизий в семь раз. Но, что бы там ни врала антисоветская пропаганда, красная конница никогда не ходила с шашками наголо в самоубийственные атаки на танки – кавалерийские корпуса Великой Отечественной имели тяжелое вооружение и огневую мощь, несравнимую с конармиями Гражданской войны. Так, автор этой книги был командиром минометной батареи 37-го гвардейского Донского казачьего полка, который с боями прошел тысячи километров от Кавказа до австрийских Альп:

«Зеленая ракета прочертила ночное небо. Казаки с оголенными клинками на галопе устремились вперед. Лошади перемахивали траншеи и окопы. Конная атака ошеломила гитлеровцев. Их оборона была смята и прорвана на ширину в полтора километра... Вместе с батареей «сорокапяток», взводом минометчиков и танковой ротой, казаки сели на плечи в беспорядке отступающего противника. Передовой отряд с ходу занял железнодорожную станцию. В образовавшуюся брешь в обороне противника вошли все полки дивизии…

Под прикрытием огня егеря пошли в контратаку. Но эскадроны заставили их повернуть назад. В срыве немецкой контратаки большую помощь оказали мы, минометчики, заставив замолчать пушки и минометы противника и лишив контратакующих огневой поддержки…

Наступает рассвет. Ошалелые гитлеровцы мечутся в панике. В какую сторону ни толкнутся – всюду нарываются на наши автоматные очереди. Егеря, отстреливаясь, пытаются бежать назад. Но вершина уже захвачена одним из наших эскадронов. Деваться некуда. Непобедимые «эдельвейсы» тянут руки вверх…»

ISBN 978-5-699-45821-9
эксмо
ЯУЗА
9 785699 458219 >